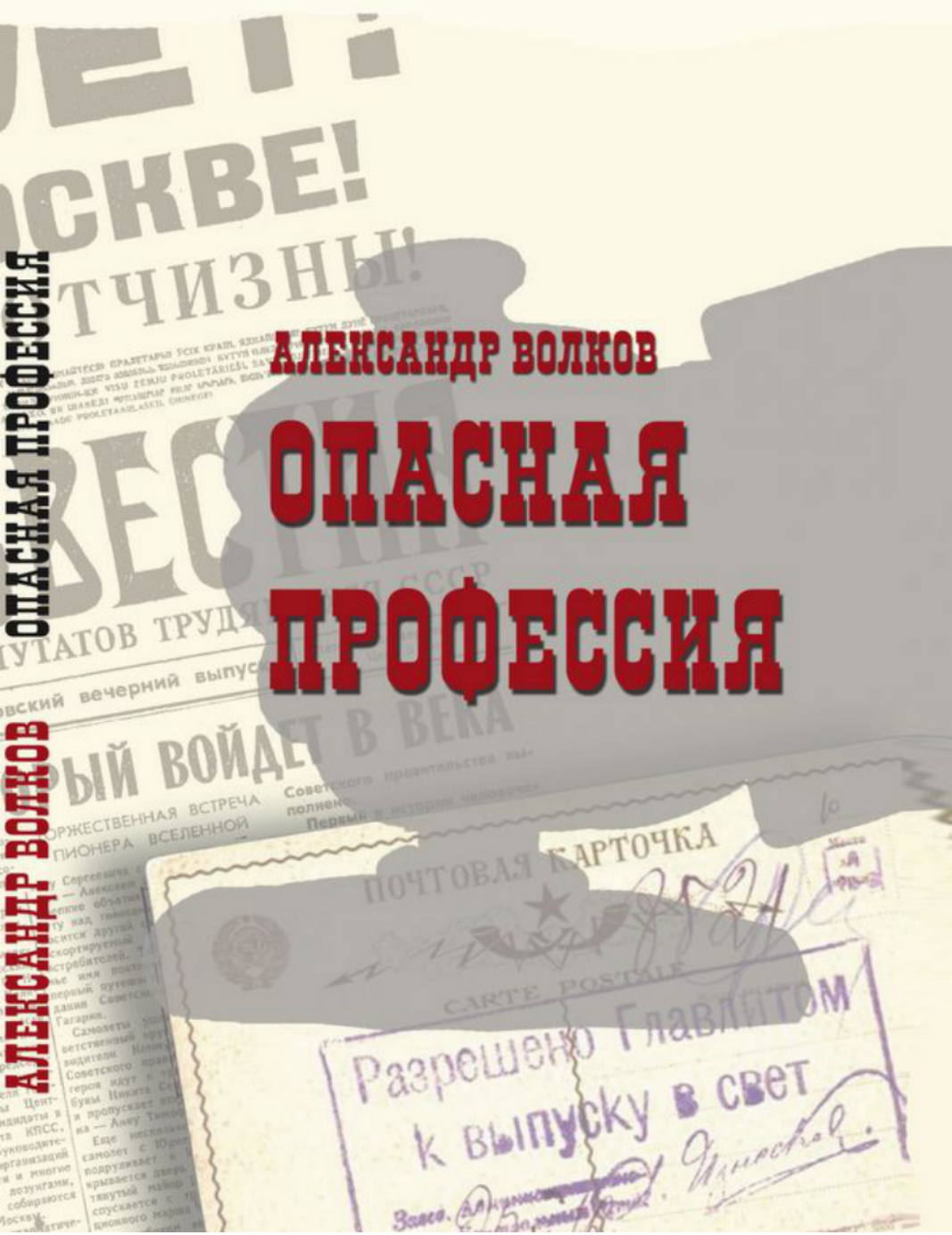
ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ
АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ
АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ
ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ
ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА
CARTE POSTALE
Разрешено Главлитом
к выпуску в свет

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Журналист, работающий за рубежом, получает предложение о высокой должности в Москве, а вскоре и решение о назначении на эту должность. Но проходит всего неделя, которой оказалось даже не¬достаточно, чтобы собраться к отъезду, и приходит новое сообщение: решение отозвано. При этом ему запрещают предпринимать что-либо для выяснения причин такого неожиданного поворота событий. Еще через некоторое время он получает вроде бы поздравительную открытку, в которой, однако, содержится только странный текст, на¬писанный печатными буквами: «Держись за сердце, Саша!». И ника¬кой подписи. Герой книги, работавший до того на Алтае в годы освоения целины, затем в ведущих центральных газетах, пытаясь понять, кто и почему мог воспрепятствовать его карьере, да еще повлиять на решение высших партийно-государственных инстанций, начинает вспоминать всю свою жизнь в журналистике. А она была полна конфликтов, в том числе с этими высшими инстанциями, высшими политическими деятелями. В ходе воспоминаний автор рассказывает о многих известных людях, о коллегах-газетчиках, о тех самых влиятельных политиках, а вместе с тем — о нравах своего времени в журналистике и обществе. Это не выдуманная история. Автор книги Александр Волков, выпускник Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) университета просто повествует о событиях, в центре которых оказывался. При этом он считает свою книгу экспериментальной в смысле ее своеобразного построения.

- Александр Волков
  -
  - Детективная завязка
  - Как мы познакомились с Марикой Рокк
  - Не ведают, что творят
  - Как братушки меня провожали
  - Вызов в пространство
  - Как мы с немцами праздновали День победы
  - Эра Аджубея
  - Как мы ограбили семью будущего космонавта-2
  - Он был страстный человек
  - Как я по Японскому морю ходил
  - Явление «гомо экономикус»
  - Как мы боролись за секретность и бдительность
  - «Новый класс» и мы

- Как я говорил по-немецки
- Писатели, новаторы и консерваторы
- Как я превратил поэта в узника
- Пирровы победы
- Как я налаживал отношения с ЦК КПСС
- Пирровы победы-2
- Как я бальное платье жены от генералов спасал
- «Невъездные»
- Как я был разведчиком
- Последние аккорды
- Как я поступал на работу в Академию при ЦК КПСС
- Держись за сердце, Саша!
- Как я стал сотрудником Горбачева

Александр Волков

Опасная профессия

Нравы моего времени в журналистике и обществе

Посвящаю эту книгу памяти моей жены Маи, неизменно разделявшей со мной все риски, связанные с моими дерзкими поступками, и расплату за них.

С глубокой благодарностью ей, А. В.

Считается и не без оснований, что журналистика — опасная профессия.

Ежегодно от рук наемных убийц, во время вооруженных конфликтов, в катастрофах погибают десятки российских журналистов. Но только ли ее служителям эта профессия несет угрозу? Нет, она в каком-то смысле опасна для всего общества. Да, пресса может быть орудием демократии, без нее демократия и немыслима, но давно ли на каждом столбе красовался лозунг: «Печать — самое острое оружие нашей партии…»? Задумывались ли мы тогда, против кого оружие? Всегда ли понимаем сейчас, особенно если речь идет о конкретном издании, — оружие чье?

Я работал в краевой газете на Алтае, в трех крупнейших центральных газетах, в международном журнале за рубежом, пробовал выпускать собственную газету. Не трудно понять, что прошел огни, воды и… нет, не медные — скорее канализационные трубы. Основываясь на этом опыте, и пытаюсь рассказать о журналистике, о нравах в ней и борьбе вокруг нее, о людях, с которыми имел дело, о том, что мне кажется актуальным и будет таковым долго.

Эта книга в некотором роде экспериментальная для автора и вот почему. Каждый человек, по крайней мере, активный,

проживает не одну жизнь. В разное время, в разных регионах, в разных обстоятельствах. Но я даже не об этом. Он одновременно живет как бы в нескольких параллельных мирах. С ним может происходить в одно и то же время нечто драматическое, даже трагическое, и ровно тогда же — что-то комическое. Да, это смешивается, сплетается, но порой существует и независимо одно от другого. Мне захотелось написать о том, как со мной, наряду с очень серьезными событиями, затрагивающими основы жизненного существования, связанными с социальными, политическими, экономическими обстоятельствами, происходили просто забавные истории. Словно для того, чтобы разбавить, разбить монотонность существования. Если одна сюжетная линия книги посвящена серьезному жизненному эпизоду, вокруг которого все строится, отражает, как это и сказано в подзаголовке, нравы моего времени в журналистике и обществе, то другая — это исключительно частные случаи, в большинстве своем смешные, происшедшие с тем же героем, но описанные в манере не очень серьезной, однако, тоже, кстати, достоверные и тоже отражающие нравы моего времени. Это, в сущности, могли бы быть просто две разные книги, но ведь жизнь-то одна, едина, и мне захотелось два этих повествования объединить в одно, демонстрируя тем самым всю сложность и многослойность жизни. Именно то, что мы живем одновременно в параллельных мирах.

Не знаю еще, что из этого получилось. Не мне судить.

Детективная завязка

На палубу вышел.
А палубы нет,
Ни неба, ни моря, ни суши.
(Поэтическая шуточка)

Мысленное мое возвращение в прошлое было спровоцировано детективным почти эпизодом, тем, что случился, когда я работал в Праге, в журнале «Проблемы мира и социализма», более того — отработал уже шесть лет и собирался возвращаться домой, в Москву.

Секретарь шеф-редактора попросила срочно прийти к ней для разговора по телефону специальной междугородней связи — звонил шеф из Москвы, из больницы, куда он во время отпуска неизменно попадал — либо из-за неважного самочувствия, как сейчас, либо на обследование, поскольку перенес уже не один инфаркт. Когда я зашел в приемную, секретарь Зоя предложила говорить из кабинета шефа, он сам так просил. Это значило, что разговор не должна слышать даже она, пользующаяся большим доверием.

— Александр Иванович, здравствуй, — услышал я в трубке голос Зародова. И сразу же, без обычных расспросов, как дела, здоровье и тому подобное, без обычных шуточек:

— Ты оставайся на месте, решение отозвано…

— Как, как? — переспросил я, и не потому, что плохо слышал, а потому, что сообщение и не могло так вот сразу дойти до сознания при всей его простоте.

— Решение отозвано, — повторил Зародов с какой-то подчеркнутой твердостью, даже с официальным оттенком в голосе, будто сообщал о непреложности этого факта не только мне. И тут же с обычной зародовской логикой, над которой мы часто добродушно посмеивались:

— Ты не расстраивайся, я сам расстроился, сердце разболелось, но ты держись. И ничего не спрашивай сейчас, не пытайся что-то разузнавать, ничего совершенно не предпринимай до моего возвращения в Прагу, уж наберись терпения…

Я чувствовал, что он действительно сильно расстроен, успокоить его казалось мне даже важнее, чем обсуждать то, что случилось, и я бормотал что-то бодряческое, мол, ничего, «перезимуем». Он же еще раз настоятельно подчеркнул:

— Только ничего не предпринимай, наберись терпения. До встречи!

Положив трубку, я продолжал сидеть в его кресле, упершись локтями в стол и поддерживая вдруг набухшую голову. Помню, в детстве я однажды тонул. От недостатка воздуха в голове что-то уже шумело, ходили какие-то волны, и была лишь одна четкая мысль — надо же такому присниться! Сейчас чувствовал нечто похожее. Вот собирался, торопился, и вдруг торопиться некуда…

События предшествующего времени развивались быстро и с неожиданными поворотами… Работать в журнале было интересно: в редсовете — представители из 65 стран мира, причем со многими сложились очень доверительные отношения. Случались любопытнейшие командировки, порой сразу по нескольким странам, да еще ездили мы нередко на машинах, сами же за рулем: так обходилось редакции дешевле всего, а нам удавалось больше и ближе, я бы сказал, увидеть. Ко всему этому я далее еще вернусь… Однако шесть лет есть шесть лет. За это время дети стали совсем взрослыми, без нас родились и вырастали внуки. Старший, Стаська, уже пошел в школу, а младшенькую Ксеньку мы даже еще не видели. К ним тянуло. И вместе с тем становилось все ощутимее, что годы идут, скоро уже пятьдесят… Каждый год, прожитый за границей, прибавлял беспокойства, что оторвался от своей страны, от реальной земной жизни, потому что тамошняя, заграничная, представлялась как бы искусственной, не совсем твоей: она идет по каким-то непривычным для тебя законам, вокруг тебя люди совсем иного закваса, и ты среди них временно… А там, дома, казалось, тебя уже забыли коллеги, друзья. Те, кто вернулись из Праги домой, рассказывали, что адаптируются с трудом, не понимая уже чего-то из того, что вокруг происходит. И каждую весну, готовясь в отпуск, я думал, что надо использовать его для устройства на работу, для возвращения. Весной ностальгия накатывалась особенно сильно.

Думал о возвращении в газету. Журналистский стаж к тому времени подходил к тридцати годам, газетный главным образом стаж — «Известия», «Советская Россия», «Правда» — так куда же еще идти? Об иной работе, кроме этой привычной, и мыслей не было. Но Зародов вдруг предложил другое.

Готовили мы в то время к печати статью К.У. Черненко, еще не Генерального секретаря, заведующего общим отделом, но уже члена Политбюро, чрезвычайно влиятельного. Статья была о работе коммунистов в массах. Черновой вариант, присланный его помощниками, не отличался ни глубиной мысли, ни яркостью фактов, попросту — сухомятина, и шеф-редактор попросил меня доработать статью, поставить какие-то интересные вопросы с учетом специфики нашего международного издания. Правда,

приговаривал при этом:

— Ты только не очень мудрено, попроще, ему надо проще.

Константин Иванович трезво оценивал возможности и уровень этого «партийного и общественного деятеля», будущего «крупного теоретика». И вот в эту статью мы на свой страх и риск включили свои предложения, но в такой форме, будто бы все уже сделано. Написали, что ЦК нашей партии создает отдел специально для работы с письмами трудящихся, а вместе с тем — и группу для изучения общественного мнения… Черненко подписал наш проект статьи с небольшими поправками, и тогда, когда она была опубликована, действительно уже было принято решение о создании отдела писем и формировании группы мониторинга общественного мнения. Я тому немало удивился, но Зародов — ничуть, видно, все просчитал или знал кое- что заранее. Он и предложил: иди в эту группу консультантом.

У меня не было ни малейшей склонности к аппаратной работе, но шеф убеждал: сейчас важно вернуться в Москву, а там осмотришься и найдешь себе место в газете или журнале. Ты же не очеркист, а редактор по складу ума и способностям, говорил Зародов. А где ты видел редакторов серьезных изданий, не прошедших цека? Это верно: в редактора попадали в основном через «Старую площадь».

Да, я не считал себя сильно пишущим, таким, скажем, ярким публицистом, какими были мои друзья и коллеги Лисичкин, Черниченко, Стреляный, Аграновский. В «Известиях», правда, будучи собственным корреспондентом, писал много, пользовался успехом. Но всегда в душе считал себя редактором, организатором. Собственная статья доставляла мне меньше удовольствия, чем, предположим, возможность развернуть в газете дискуссию, столкнуть различные мнения, сколотить вокруг своего издания интересных авторов.

Видимо, при встрече с Черненко Зародов назвал мою кандидатуру, и меня вскоре вызвали на «смотрины». Беседовал со мной заместитель заведующего отделом, чрезвычайно влиятельный в то время человек и, как выяснилось впоследствии, большой проходимец. Беседа была формальной, поскольку указание обо мне шло свыше — я сам видел на столе представление, подписанное Черненко — и закончилась тем, что мне было предложено готовиться к отъезду из Праги. Зародову сообщили, что представленный им кандидат отвечает необходимым требованиям и будет принят на работу.

21 мая 1979 года состоялось решение Секретариата ЦК, которым я был утвержден на должность консультанта общего отдела ЦК КПСС — в ту самую формировавшуюся

социологическую группу. Но уже через семь дней, 28 мая, решение было отозвано, о чем шеф и сообщил по телефону из Москвы…

Собственно, сам факт отказа в работе не так уж меня волновал. Еще до этого я задумывался, что, может быть, совершаю глупость, соглашаясь на работу, к которой, на мой взгляд, совершенно не приспособлен, даже в силу своего характера, не очень уживчивого в бюрократической среде, что берусь за дело, которое, скорее всего, окажется для меня отнюдь не самым интересным. Дважды до того я уже отказывался от цековских должностей. И стоит ли вообще тратить минимум два или три года на то, чтобы отработать авансом за нечто будущее, желаемое? Не придется ли заплатить за это слишком большую цену? Ведь ой как надо будет приспосабливаться!

И как-то однажды утром, проснувшись с тоскливым чувством в душе, я вдруг сказал вслух:

— На черта мне эта социология? — Хотя совсем не в ней было дело.

Короче говоря, сам факт, что сорвалась эта именно работа, меня не очень расстраивал, больше волновало, что на неопределенное время откладывался отъезд из Праги. И ведь уже были собраны, заколочены в двух огромных ящиках — «бедны» называют их чехи — наши вещи, а книги Мая, моя жена, старательно упаковывала в коробки из-под пива и сигарет, закручивая тугими узлами синтетический шпагат… Все это придется распаковывать, все водворять на место. Но самое главное было в загадке: что стоит за этим отказом? И что за столь серьезным срывом может последовать?

В тот же день мы обсуждали с друзьями, как объяснить происшедшее. Вспоминаются сейчас мелкие нелепицы: в комнату, где мы тогда сидели, ворвался Борис Грушин, бородатый, как положено социологу, человек, динамичный, шумливый, подскочил ко мне, стал трясти руку: поздравляю, старик, поздравляю! Я спросил, с чем же? Он говорит: ну как, тебе многие сейчас завидуют, ведь ты идешь на такую работу, на такую должность! Ты уж, мол, не скромничай, всем понятно… Поздравляю, старик! Борис просто не знал об отзыве решения.

А заведующий общим отделом редакции пришел со своим:

— Это по мне удар, я проворонил!

Он повторил это многократно, причем каким-то жалостливым голосом, даже обреченно, и, в конце концов, я рассердился, понимая, что он имел в виду:

— Перестань! Я-то ведь про себя знаю, что не продал «советского завода план», не имел «порочащих связей» и прочее.

Тебе просто нечего было «проворонить»!

Посмеялись над его опасениями, что он прозевал некие мои отклонения от предписанного поведения советского человека за рубежом, но все понимали: дело-то серьезное — отозвано решение Секретариата ЦК! Того всевластного Центрального комитета партии, который управлял всей жизнью страны. Это ведь не нынешние марионеточные организации, которые официально создаются «чтобы поддерживать Путина», под человека создаются, практически случайно выдвинувшегося или выдвинутого к власти, а не ради осуществления какой-то программы улучшения жизни людей, преобразования общества.

Один из друзей вспомнил о событии, о котором в редакции мало кто знал. Оно было связано с моим назначением на должность заведующего отделом редакции. Я начинал работать в этом журнале консультантом отдела теории, а потом Зародов предложил мне заведовать «Отделом обмена опытом партийной работы», как он несколько непривычно для нашего слуха назывался. Дело было в том, что представители партий, особенно таких серьёзных, как итальянская или французская, были очень щепетильны в отношениях журнала и своих организаций. Однажды на крупном совещании разгорелся скандал вкруг такой формулировки в подготовленном постановлении совещания: «Журнал призван освещать деятельность компартий». Мы сначала не могли понять, против чего же протестуют наши еврокоммунисты: формула вроде бы совершенно безобидная. Я подошел к Берту Рамелсону, представителю Компартии Великобритании, и мы стали вместе разбираться в тексте. Выяснилось, что всё дело в переводе: на английском и испанском слово «освещать» звучало, примерно, как анализировать, то есть в их представлении — и оценивать.

Скандал прекратился, как только сверили переводы. Поэтому и отдел, который мне предлагали, не мог называться, как в Союзе, скажем, просто «партийный». Обмена опытом — это пожалуйста.

Сначала я возражал: не моя же тематика. Константин Иванович сумел убедить, что дело не в названии, важно то, каким содержанием наполнить работу отдела. Мол, партийная деятельность охватывает все, и если, скажем, интересуешься экономикой, то вполне можно заниматься экономическими программами партий различных стран, исследованием процессов, которые происходят в развитых странах, проводить научные конференции и симпозиумы. Так, собственно, я потом и делал.

Но тогда, когда в ЦК КПСС решался вопрос о моем назначении (должность требовала решения Секретариата ЦК), процедура эта крайне затянулась. Проходили месяц за месяцем, а

нужной «бумаги» редакция не получала. Во время очередной командировки в Москву Константин Иванович разыскал мои документы. Они были списаны в архив, и на них стояла резолюция примерно такого содержания: утверждение нецелесообразно, поскольку кандидат не является специалистом в области партийной работы. Не помню уже, из чего это вытекало, но автор резолюции проявил осведомленность в том, что раньше я занимался сельским хозяйством.

Автором этим был Голиков, помощник Брежнева. К причинам того, почему он начертал такую резолюцию, вернусь позже, тут особый рассказ. Пока замечу, что шеф- редактор проявил тогда и незаурядное упорство и, я бы сказал, смелость. Он пошел к Суслову, странному теневому властителю, который занимал второе место в партийной иерархии, объяснил ему ситуацию и получил нужную подпись…

— Может, опять Голиков? — спросил мой друг.

— Едва ли, — возразил я, — ведь он бы протестовал еще до того, как документы пошли в Секретариат.

— Был, например, в отпуске, вернулся, получил бумагу, не понравилась…

— Едва ли даже веса Голикова достаточно, чтобы отменить решение Секретариата, уже состоявшееся, тем более — по представлению столь влиятельного человека, как Черненко. Едва ли Голиков…

Так начались гадания, а вместе с ними воспоминания о тех событиях, которые могли бы послужить причиной происшедшего.

Сначала я просто рассказывал друзьям свои истории, потом начал диктовать на магнитофон. Они оказались проникнутыми единым почти детективным сюжетом — попыткой ответить на вопрос, кто и почему воспрепятствовал моей служебной карьере. Но шло время, и этот эпизод стал постепенно отходить в моем сознании на второй план. Правда, первый вариант диктовки повлиял на структуру мемуаров, он и теперь проглядывает, проявляется в акценте на конфликтах с высокопоставленными партийными деятелями, и все же постепенно главным для меня становилось иное…

Почему сейчас многие из моих сверстников пишут мемуары? Казалось бы, жизнь прожита, и ничто не изменится в прошлом, сколько ни копайся в нем. И в настоящем для тебя тоже ничего не изменится, сколько ни разбирайся в событиях давних времен и как ни оценивай собственные поступки. Зачем же терзать бумагу былыми страстями, ведь они непременно присутствуют в воспоминаниях: пишешь-то не научный труд по истории? Просто оставить память о себе и своем времени? Но тогда это должны

быть своего рода «Былое и думы», то есть надо быть уверенным и в значимости описываемых событий и в значительности собственной личности. Конечно, любая жизнь, любая судьба интересны, если о них рассказано талантливо. Но ведь пишут-то чаще обыкновенные люди и пишут обыкновенно. Что же это — массовая графомания?

Думаю, здесь проявляется некая объективная потребность, нечто стимулирующее многих к мемуарному творчеству. Это становится понятно, когда обращаешь внимание на одну его особенность — выраженный акцент на «разборках» с самим собой. У одних это в большей степени рефлексия, у других то же самое принимает форму самооправдания, у третьих — агрессивной самозащиты, перенесения ответственности за собственные поступки на других людей и объективные обстоятельства. И только у авторов с очень завышенной самооценкой не проявляется чувство вины, порой неопределенной, за что-то и перед кем-то…

Заметно и тяготение к двум итоговым формулам, как бы к двум полюсам. «Жизнь прожита зря», — почти трагически заключают одни. «Нет, все было правильно», — утверждают другие, а порой и добавляют, что неправильно все как раз теперь. Не обязательно подобное говорится в воспоминаниях прямо, но просматривается всегда, и не только в письменных текстах — в публичных дискуссиях, в дружеских спорах тоже.

По-моему «разборки» со временем и с собой идут оттого, что мое поколение (или поколения?) пережило как бы несколько эпох. Кто-то из исследователей научно-технического прогресса заметил, что в прежние времена несколько поколений людей пользовались одними и теми же орудиями труда, а теперь на протяжении жизни одного поколения происходит смена нескольких типов машин, технических систем, технологий. Человеку непросто к этому приспосабливаться. Что-то похожее — и в сфере общественных отношений в России. Если сказать об этом кратко и без претензий на высокую точность, то я бы охарактеризовал положение так.

Мы пережили эпоху сталинского абсолютизма, причем восточного типа. Это была неограниченная власть одного высшего партийного и государственного иерарха, опирающаяся на беспредел «опричнины» — КГБ.

Газетчики в ту пору, подписав очередной номер и зная, что экземпляр его, как обычно, пошел на читку в обком партии и КГБ, приезжали домой и какое-то время ждали, не постучат ли в дверь. А утром снова шли на работу — прославлять этот тиранический строй…

Мы пережили хрущевскую «оттепель» — пору надежд, а по сути — «переходный период» от абсолютизма к господству «нового класса», класса советской бюрократии, который так замечательно точно охарактеризовал в своих трудах югославский теоретик и политический практик Милован Джилас.

Журналисты стали тогда робко учиться говорить своим голосом, а вместе с тем и эзоповским языком. Он постепенно становился основным средством общения прессы и общества.

Мы пережили брежневскую эпоху господства «нового класса». Это определение Джиласом правящего слоя кажется мне, при всей недостаточности эпитета «новый», более удачным, чем модное впоследствии «номенклатура». Последняя существовала и при Сталине, но была лишь техническим средством управления кадрами. Это понятие не отражает особенностей правления того комариного роя, в котором каждый комаришка мало что значит — окажись он на краю, в любую секунду может быть сдут ветром — но вместе и ничтожные комаришки — силища. Тем более не подходит понятие «бюрократия», потому что это более широкое явление, характерное для любой страны, хотя в каждой она имеет свои особенности. Это понятие не отражает особенностей бюрократического правления в странах, называвшихся социалистическими. Более точное слово пока не найдено, однако подчеркну, что именно в пору Брежнева сложилось коллективное господство партийных феодалов, которые в своих областных вотчинах были всесильны и сидели бессменно по 10–15 лет, а в Центре, будучи членами ЦК КПСС, тоже определяли в основном и состав властных структур и их политику.

Журналистика в эту пору, как всегда, конечно, разнородная, частью макрекерская, частью продажная, частью диссидентская, говорила все более сдавленным голосом и тем же эзоповским языком.

Мы пережили ослепительную вспышку надежд в эпоху Горбачева, оказавшуюся слишком кратковременной, чтобы принести самостоятельные заметные плоды, а затем — взрыв всей социальной материи, столь мощный и столь масштабный, что он едва не привел к аннигиляции всего и вся. Но распались, как известно, империя, строй, геополитическое пространство. И сейчас еще все настолько не устоялось, что подожду давать скороспелые оценки, которых и без моих достаточно. О журналистике скажу пока лишь то, что она всё же перестала быть «самым острым оружием» одной партии, начала обретать черты института гражданского общества, пережила расцвет свободы и… расцвет продажности…

Эта смена эпох ломала не только условия существования, но

и смещала внутри нас все жизненные оценки, критерии самих оценок, точки отсчета в анализе собственного поведения. То, что казалось правильным вчера, сегодня уже противоречило не только изменившимся общественным оценкам, но и собственным знаниям и связанным с ними новым взглядам на вещи. Сегодня мы живем в ином мире, чем вчера, с иными мыслями и целями, чем вчера, и люди судят о нас — прежних и нынешних — совсем с иных позиций, чем вчера. Но мы же ничего не забыли. Мы от основных своих нравственных установок не отказались в один день, и не могли отказаться, и не хотели… Потому и не просто разобраться в прожитом и пережитом, потому и берут люди в руки перо и бумагу, на ней заново осмысливают жизнь — в уме не решить уже свои нелёгкие задачки.

Так что же мы делали и что сделали за свою жизнь? Или натворили, не ведая, что творим? Или — ведая, но не имея сил и мужества противостоять бушевавшим вокруг нас жизненным потокам? А то, что произошло к концу нашей жизни, вот эта последняя смена эпох — заслуга наша или вина? Не знаю! Отвечу сразу и откровенно: не знаю! И нет уже сил и возможностей опереться в анализе прожитого на большой исторический материал, выйти на широкие исторические и философские обобщения — в таком ключе о нас и о нашем времени напишут, думается, только люди следующих поколений. Я же просто постараюсь дать им, будущим исследователям, жизненные факты, просто расскажу эпизоды из своей жизни и близких мне по делу людей.

Как только начал писать, так убедился, что и это не просто, если, говоря о прошлом, хочешь быть понятым сегодня.

— Ну, почему вы, студенты филфака, взялись судить о музыке Шостаковича? — недоумевала моя приятельница, всего-то на семь лет моложе меня.

— Потому, что партия осудила формализм в музыке, потому, что было постановление об опере Мурадели «Великая дружба», 1948 год. С этих позиций критиковали тогда Шостаковича, Прокофьева, Мясковского… Мы, комсомольцы, должны были на постановление реагировать.

— Но разве ты понимал что-нибудь в музыке, тем более — Шостаковича?

— Не только не понимал, но ничего, кроме Седьмой, Ленинградской симфонии, к тому времени и не слышал. Помню, Лева Лашевский из первой группы русистов защищал его в домашней дискуссии: великий композитор! А я, хоть не нападал сам, был на стороне тех, кто осуждал: партия права, музыка должна быть понятна народу!

Помню и то, как на собрании обсуждали «космополитов». Самые любимые профессора — Жирмунский, братья Гуковские, литератор и историк, Калистов, тоже историк… Нет, я не выступал, не поручали, не таким был заметным, чтобы поручили, но сидел, слушал и удивлялся: как это они оказались способными на что-то нехорошее?

Почти всех их посадили. Калистов, как я прочел потом, умер на Соловках. Когда их брали, и мы узнавали об этом, шептались друг с другом и, кто посмелее, тайком выражали сочувствие Наташке Гуковской, дочери нашего профессора и нашей сокурснице. Протестовать — нет, не протестовали. Из страха? Совсем не уверен. Мы же выросли в военные годы, воспитывались в атмосфере «готовности к подвигу». Это не просто слова, а «часть менталитета», как сказали бы теперь. Более того, в нашей группе было лишь трое парней, не прошедших фронт, остальные — все в орденах. Отстаивать правду и правоту, ей Богу же, мы были готовы даже ценой жизни. Это был не страх, по крайней мере, не просто страх — нечто совсем другое — это наше молчание. То ли вера, что есть все же нечто за теми арестами, какая-то чья-то вина, то ли вера в некую высшую истину и справедливость, недоступные нашему пониманию, но кому-то известные. Не скоро и не сразу избавились мы от этой страшной слепой веры во власть, кумиров, вождей. И все ли избавились?

Поди-ка объясни все это теперь. Приятельница моя — и то уже из другого поколения, из другой среды. Она вспоминает Игоря Дедкова, как он верховодил протестами студентов. Но ведь это было уже после 1956 года, после доклада Хрущева о культе личности Сталина — совсем другое время, другие люди! Может быть, были такие и в мое время, может быть, единицы на миллионы, но мне не встретилось ни одного.

Как мы познакомились с Марикой Рокк

На практике в «Калининградской правде» (в бывшем Кенигсберге) я был месяц. Со своей будущей женой Маей, работавшей секретарем в этой редакции, общался, как потом подсчитали, всего восемь дней (остальное — командировки и прочее). Однако, вернувшись в Ленинград, в университет, почти сразу написал ей письмо с приглашением приехать ко мне «насовсем». Правда, оговаривался: «Будешь вместе со мной сидеть голодной. Сейчас вот я нашел в шкафу сухарные крошки, оставшиеся от хозяев квартиры, моих родственников, поджарил и съел. Ни копейки у меня нет, и занимать уже не могу до стипендии». Ответ ее мне очень понравился: «Надеюсь, что мне удастся экономить хотя бы на чай с хлебом». И вскоре вместе со мной Маю уже встречали на Московском вокзале вся наша Вторая группа журналистики и Первая группа «русистов», с которой я дружил.

Молодая жена, конечно, старалась экономить — готовила гречку с подливкой, украинский борщ и прочее, что умела, однако доходы наши были невелики, а соблазнов в день получения стипендии появлялось слишком много. И потому всегда мы оказывались в долгах, а последняя неделя перед стипендией, когда в счет ее уже было занято слишком много, голодной.

Вот и в эту очередную голодную неделю, в последний перед стипендией день, мы сидели без куска хлеба. А поесть очень хотелось. Молодые желудки не терпят пустоты и ведут себя особенно агрессивно, урчат, бурчат и требуют хоть каких-то действий. Я не выдержал и предложил:

— Давай все же пойдем к Федору Прокопьевичу и займем десятку!

Федор Прокопьевич, наш сосед по коммуналке, внешне мрачноватый, но добрейшей души человек, никогда не отказывал дать нам в долг. Только мы и так уже ему были порядочно должны. Однако точно знали: не откажет. Не брали просто потому, что из стипендии уже предстояло отдать разным кредиторам слишком много.

Короткое обсуждение этой гениальной инициативы завершилось, как теперь сказали бы, полным консенсусом. И Федор Прокопьевич не обманул наших ожиданий.

Идем в булочную: что может быть сытнее хлеба! А по дороге, слева от нас, кинотеатр. На нем огромная красочная афиша. Нас призывают посмотреть первый цветной фильм «Девушка моей

мечты», немецкий, трофейный, с Марикой Рокк. Мы уже о нем слышали, в частности о том, какая эта актриса красивая, а главное, что там есть кадры, когда она купается в бочке и показывается почти голой. Тогда же такого ни в кино не было, ни на телевидении, ни на компьютере (почти порнухой считался очень скромный журнал мод), да и телевизора с компьютером еще не существовало.

Кошусь на рекламу и думаю, а не пойти ли нам вместо ужина в кино. Но не решаюсь сказать это молодой жене: я-то привык, ей же сидеть голодной, наверное, трудно. Обойдемся без Марики и без бочки. Но Мая вдруг этак неуверенно, осторожненько говорит:

— Саш, а, может, мы еще вечерок без хлеба посидим? Фильм, говорят, уж больно красивый. Цветной же…

И тут консенсус тоже был достигнут мгновенно. Рванули к кассе. Видели раньше, что там всегда очередь огромная. Оказалось, что не такая уж и большая, но билеты продаются только на третий ночной сеанс: второй будет в 2 часа ночи, а третий в 4.00. Ну, ничего, подождем.

Счастливые, потому что с билетами, вернулись домой. Об ужине просто старались не вспоминать, тем более, что поговорить было о чем: такой фильм впереди! Сейчас вот как-то жаль, что об этом не знала Марика Рокк. Она бы, наверное, еще сто раз в бочку нырнула.

Не ведают, что творят

На Алтай я поехал потому, что алтайская колхозница Анна Сергеева получила урожай пшеницы в 101 центнер с гектара, установив, как сообщалось в Большой советской энциклопедии, мировой рекорд урожайности. Это уже много позже я узнал, что не «с гектара», а «в расчете на гектар», то есть на крохотной делянке, куда порой что-то попадало и с соседних делянок. А было это еще в тридцатых годах. Во время учебы в Ленинградском университете я проходил практику в сельскохозяйственном отделе «Калининградской правды», селом увлекся, а об Алтае писали, что это «край золотого руна и янтарных пшениц». Он представлялся мне какой-то райской обителью, и естественно, что при распределении после окончания университета в 1952 году я стал настоятельно проситься в газету «Алтайская правда».

Тогда, кстати, студенты соревновались, кто подальше распределится на работу. В героях ходили те, кого направили на Сахалин. Но если заниматься селом, чего мне уже отчетливо хотелось, то дальше Алтая делать было нечего, да и не в одной отдаленности я видел, как сказал уже, привлекательность этого края.

Сама дорога на Алтай — по тем временам сплошная романтика: шесть суток поездом через полстраны, полями и лесами, немерянной тайгой, через тысячу рек. В купе в первый же день — почти все друзья, к концу пути — весь вагон семья. За бутылкой разговоры обо всем на свете — мне интересно до невозможности, какие они такие особенные, сибиряки. Про них же столько легенд, включая и ту, как отстояли от немца Москву. Сейчас вспоминать эту дорогу — мороз по коже: ехал же с женой и с дочкой, которой еще десяток дней оставалось до года, причем ютились на двух боковых полках плацкартного вагона, тех, что расположены вдоль прохода, самых узеньких. Вдвоем, даже с крошечной Томкой, еле держишься и только смотришь, чтобы какой-нибудь размашистый мужик, да еще «поддатый», обоих ненароком на пол не смахнул. А пеленки! Памперсов же не существовало ещё, а обычных пеленок у нас не имелось столько, чтобы просто копить после употребления, приходилось стирать в качающемся туалете под краном-носочком. Это, конечно, доставалось главным образом Мае. А настроение при том было у обоих такое — дай Бог сейчас частичку похожего!

Город Барнаул должен был бы сразу поостудить восторженные ожидания: одноэтажные деревянные домишки, деревянные тротуары вдоль улиц и — пылища! «Пыль, пыль, пыль

от шагающих сапог», а за каждой машиной — клубящийся раскаленный хвост, норовящий всосаться за ворот, воспаляющий глаза. Асфальт и многоэтажные дома были только на центральном, Ленинском, конечно, проспекте. Деревянное двухэтажное здание редакции и типографии стояло в стороне, на такой же, как и другие, пыльной, а в дождь грязной улице Короленко. Вдоль дороги от проспекта до редакции шли те самые деревянные мостки, не будь которых в ненастье по улице не пройти бы без болотных сапог.

А встретили хорошо! Там была на практике Лариска Паршукова, на курс младше меня. К нашему приезду она собрала молодежь из Московского, Ленинградского, Свердловского и Алма-атинского университетов, приехавшую работать на Алтай или на практику (у нас, особенно потом, в целинные годы, практикантов было множество, в одном сельском отделе до 15 человек). Стол уже был накрыт, на фоне белой скатерти краснел традиционный винегрет, а Лариска вдохновенно обещала: сейчас будут пельмени!

Смешно сказать — у меня это вызвало разочарование: ожидал появления на столе вот так сразу же чего-то особенного алтайского, экзотического, вроде медвежатины или тайменя, а тут — «пельмени». Покупали мы их изредка в Питере, но я их не любил, несмотря на голодуху: скользкое белое тесто, слезающее клочьями с затверделого комка серой массы — хлеба с мясом… Нет, не знал я до того дня, что такое пельмени! Сибирские пельмени! Из трех сортов мяса, сочного, хорошо с водичкой промятого, с пахучими приправами, во вкуснейшем темном тесте, слепленном сначала пирожком, а потом скрученном на пальце в эдакую маленькую круглую фигушку. И с пряным соусом: уксус, горчица, перец, сахар… С тех пор — любимое блюдо.

Утром привели меня в сельхозотдел. Заведующий Михаил Георгиевич Абрамов — мясистый нос картошкой, сам плотненький, одутловатый немного, в гимнастерке под ремешком — окинул меня быстрым, чуть насмешливым взглядом, задержавшись на университетском значке, будто хотел что-то сказать, сострить, но сдержался и буркнул только:

— Ну, рады…

Представили меня и Андрею Семенову, спецкору отдела, тоже лет под сорок. Он сразу же засыпал шутками-прибаутками, добродушно ироничными вопросами… Именно они, Абрамов и Семенов, и стали моими первыми учителями в практической журналистике. Не просто в узкопрофессиональном смысле — редактирование, письмо, прочие газетные премудрости. Они заложили во мне представление о журналистике как профессии

высочайшего гражданского предназначения, даже дела избранных, о нравственных принципах, праве и долге — всего этого не существовало в писаном виде, тем более — в юридической форме, не присутствовало и в университетских лекциях. Это был какой- то журналистский кодекс чести, который бытовал в неком кругу профессионалов. Не знаю даже, насколько широк был этот круг, но замечу, забегая вперед, что очень многое совпало с тем, что потом культивировалось в аджубеевских «Известиях», и к этому я еще вернусь.

Об университетском значке упомянул не случайно. В сельхозотдел заглянула тогда Валя Родина («Родина слышит, Родина знает…») из отдела культуры, и уже через несколько минут по редакции ходила первая характеристика нового сотрудника: «Пижон в очках и с университетским значком».

Потом представления об Алтае как райской обители рушились с каждой поездкой в районы. Правда, удивительную природу края с волнением вспоминаю и теперь. На севере — тайга, зимой от райцентра к райцентру не каждую неделю доберешься даже на лошадке, запряженной в розвальни: снега! На Западе и Юго-западе — степь. Стоишь — горизонт виден со всех сторон, «полсотни туда и полсотни сюда», как написал местный поэт. На Востоке — предгорья и горы, местами, скажем, у Телецкого озера, глубокого, чистого и холодного, на восходе и закате так причудливо меняющего цвета, что кружится голова — практически непроходимые, особенно зимой. Вдоль Чуйского тракта, уходящего выше и выше в горы, по лесной опушке — огромные дикие тюльпаны. А если свернешь с него и поднимешься на гору, перед тобой предстанет удивительное по красоте море кедрачей. Сравнение с морем при всей его банальности просится на язык потому, что у кедров верхушки не заостренные, а волнистые, мягкие… Зеленые волны бегут под ветром.

Деревушки по всему Алтаю были убогие. В лесных районах — деревянные, с соломенными крышами, в степных — саманные, то есть из глины с соломой, камышом. Часто с земляным полом — вроде украинских мазанок, только проще, неказистее. От украинцев приезжих и пошли, только какие-то вот убогие и сиротливые. Потому еще, что вокруг — ни садика, ни аллеи, ни деревца. Названия сел в предгорных районах много говорят сами за себя: Грязнуха, Старая Барда, Алешкина кожа. А в степях оказались и Париж, и Лондон, и Нью-Орлеан. Приезжих надували: на спор — свожу тебя в Париж, машиной, дешевле, чем на самолете и т. п. Ох, и дворцы были в том Париже — тоже все под соломой.

Работали мы увлеченно, с десяти утра и до трех ночи все лето, до полуночи, по крайней мере, — всю зиму. Сельский отдел занимал порой чуть не все страницы газеты, а, кроме того, выпускал фотоплакаты и сатирические листовки с карикатурами и стихами. Но будто бы о нас было сказано: «Не ведают, что творят». Все делалось, в общем-то, для того, чтобы заставлять крестьян сеять, как тогда говорили, «за кромкой снега», а потом выбивать из колхозов хлеб «в закрома Родины».

Проводили ночные рейды — отыскивали зерно, спрятанное крестьянами от «уполномоченных», которых крайком и райкомы партии посылали выколачивать план хлебосдачи и «добровольные» социалистические обязательства. Я сам, став заведующим отделом в 25 лет, что для того времени было очень рано, поднимал по ночам собкоров на такие рейды. Они вместе с активистами находили где-нибудь на чердаке или в подвале мешок зерна или просто то, что было засыпано на семена и в фуражные фонды до выполнения «первой заповеди» — плана хлебозаготовок, и клеймили «не по государственному мыслящих» или даже «преступно действующих» председателей колхозов. Это много позже мы стали понимать, что «преступно действующими» были сами.

Сейчас все это выглядит почти трагичным, а ведь тогда — совсем иначе. Еще со времен сталинских, со времен военных существовало представление, что вот мы, выступающие в роли экзекуторов, имеем право сечь, потому что мы отстаиваем государственный интерес, высший, общенародный, а председатели и колхозники, которые прячут хлеб по чердакам, руководствуются корыстными личными интересами, низшими, почти низменными, а, следовательно, вредят государственным интересам. Самое страшное, что «секомые» (просится мерзкий каламбур: секомые насекомые) сами как бы признавали правомерность того, что их секут. Абрамов рассказал мне чрезвычайно показательный в этом смысле эпизод.

Он диктовал как-то «машинисту», то есть мужчине, печатавшему на машинке, передовую статью и, будучи матерщинником, у которого крепкие словечки выскакивали просто сами собой, сдабривал ими текст, который по определению должен был выглядеть гневным, страстным, потому что был направлен против тех, кто не выполняет план хлебозаготовок. Абрамов таким образом «заводил» себя, настраивал, а «машинист» сказал, что не может на ходу вдумываться в содержание диктовки и что-то пропускать, поэтому будет печатать все подряд. Когда эту работу закончили, автор поправил текст, вычеркнув все неприличные слова, и сдал его в

набор. Статья была опубликована. Но на утро Абрамов к своему ужасу обнаружил, что матерщину- то он углядел и вычеркнул, но менее крепкое словечко уже не остановило глаз, и в тексте передовой оказалась такая фраза: «Крестьяне села Калиновки имеют хлеб, но не сдают его, *подлецы!»*

Потрясенный автор пошел в кабинет ответственного редактора, открыл книгу приказов и сам записал себе строгий выговор — питая жалкую надежду, что так, быть может, удастся предотвратить более грозное наказание. Он прекрасно понимал, что дело чревато или, как сам любил выражаться, «чирьевато» последствиями: исключением из партии, а то и чем похуже… Но ничего, абсолютно ничего не произошло! Никто попросту не заметил непристойности, даже чужеродности этого слова в передовой статье. Согласились, что они подлецы, прежде всего граждане села Калиновки: уж раз не сдают хлеб государству, то кто же они? Не дай Бог — враги народа, подлецы-то что!.. Никаких, короче говоря, протестов не последовало. В райкоме партии тоже ничего ненормального в тексте не заметили…

Право вышестоящего «сечь и приговаривать» признавалось прежде всего в партийных и государственных органах. О крутом начальнике часто говорили с восторгом: «Ну, дал он нам!.. Стою на ушах (т. е. склонив голову — *А.В.)* и только потею».

Помню, в одной нашей сатирической листовке мы критиковали руководителей Рубцовского района — первого секретаря райкома партии Матвеева и «предрика» (то есть председателя райисполкома) Рязанова за то, что те препятствовали раздельной уборке хлебов. Тогда этот метод только начали «внедрять»: сначала скашивали колосья жатками, укладывая в валки, а потом, когда подсохнут, подбирали и обмолачивали комбайнами. Но комбайнов-то не хватало, поэтому все побаивались того, что потом и произошло: валки попали под дожди, зерно проросло, и все это стало гнить. Однако мы по команде крайкома партии «резко критиковали» «консерваторов». Саша Урюпин, редакционный художник, нарисовал такую карикатуру: шлагбаум, перегораживающий дорогу жаткам, перед ними — «предрика», растопыривший руки, мол, не пущу на поле, а на столбике шлагбаума, вроде как в сторонке и отвернувшись — секретарь райкома. Тот и другой — в каких-то немыслимых полосатых пижамах, «чтобы смешнее». И «стихи» под рисунком, которые я же и сочинял:

Пока я здесь, — сказал Рязанов, —
Лафетным жаткам не пройти!
Сказал Матвеев: «Я то “за”,

Но вот Рязанов на пути».

Ну и — некая мораль.

Какой была реакция? На очередном пленуме крайкома партии многие подходили к «героям» листовки и добродушно подсмеивались: «Вы и впрямь в таких пижамах на работу ходите?» Шутке смеялись еще и потому, что все знали одну историю: некий председатель райисполкома, побывав за границей, в Карловых Варах, привез оттуда двенадцать разноцветных пижам и каждый день выходил на работу в новой, пока об этом не рассказали секретарю райкома, а тот не без труда («За границей все в таких ходят!») отговорил модника от этих представлений.

Матвеев с Рязановым на нас не жаловались. Кажется, даже особенно и не обиделись. Товарищ Сталин учил ведь прислушиваться к критике, даже если в ней лишь «пять процентов правды». Конечно, на газету можно было и навалиться, скажем, в выступлении на том же пленуме крайкома, но с риском: может, газете дал поручение о критике именно в твой адрес сам первый секретарь крайкома, тогда на такое нарвешься!

Так и воспитывалось послушание. И руководящие партийные и советские деятели на всех уровнях не очень-то отличались от тех самых жителей села Калиновки, которые признали, что они подлецы.

Сейчас только журналисты старшего поколения представляют, что же это было такое — выпуск номера газеты в сталинские времена, что, например, входило в обязанности дежурного, за что и в какой мере он отвечал. Думаю, большинству нынешних журналистов многое просто и в голову не придет.

Завершаю дежурство. Ротационные машины уже пошли, бумажная лента превращается в аккуратные рядки сложенных газет, но я еще должен официально подписать номер: «В свет». Просматриваю экземпляр, полученный с машины. Прежде всего — заголовки. Не просто с точки зрения возможных ошибок, хотя и это было важно. (Сейчас небрежность в этом смысле перешла все пределы, мне даже рассказывали, как в уважаемой газете на планерке один выступавший доказывал, что знать правила русского языка журналисту не обязательно, его дело — добывать информацию). Следили, не обнаружится ли какая-нибудь нелепица или двусмысленность. Как анекдоты ходили по устам рассказы о случаях такого, скажем, рода. Газета приморского региона, кажется, «Тихоокеанская звезда», подготовила специальный выпуск, посвященный началу путины. Конечно,

коммунистов призывали показать пример трудового героизма, поэтому поверх всей первой полосы шла «шапка»: «Всех коммунистов — в море!» Или — статья в районной газете о соцсоревновании на кирпичном заводе в честь предстоящей районной партийной конференции с крупным, тоже во всю полосу заголовком: «Встретим районную партийную конференцию добротным кирпичом!» Но ведь бывают двусмысленности и тоньше. Скажем, на полосе два заголовка: «Крайком КПСС требует ускорить сев» — сообщение о заседании бюро крайкома партии, и — «Преступное деяние» — репортаж из зала суда. Заголовки рядом, как бы сливаются в одно, и получается, будто бы решение крайкома и есть преступное деяние. Такое сейчас и в голову никому не придет, а тогда подобные совпадения не допускались даже на разных полосах разворота. Чего только не усматривали, чего не выстраивали из заголовков в крайкоме КПСС, в цензуре, в КГБ, да и мы сами в порядке перестраховки.

Перед подписанием номера смотрю еще и все фотографии на свет: не получается ли, что на лбу у передовика производства нечто просвечивает. Порой из части текста на оборотной стороне получается и неприличное слово. Ну, уж тем более ничто не должно просвечивать на портрете товарища И. В. Сталина. Кстати, только так можно было писать его имя-фамилию, ни в коем случае не допуская переноса с одной строки на другую. Фамилии других членов Политбюро переносить также было запрещено, не говоря уже, конечно, о Марксе, Энгельсе, Ленине.

Сто раз останавливается глаз на фамилии вождя не только в заголовках — в тексте. В сто первый раз дежурного прошибает пот. Напечатано: «истерическая речь товарища И. В. Сталина». Ясно, что ошибка всего в одной букве: «е» вместо «о»… Не нужно было долго думать, что последует за обнаружением этой ошибочки. Для забывших все это или по молодости не знающих скажу: снятие с работы, исключение из партии и арест, как минимум, ответственного редактора газеты, скорее всего — и его замов, всех дежурных, уж точно — корректоров, линотиписта и Бог знает еще кого. Редакция будет просто разгромлена. Это же не ошибка, это чья-то враждебная вылазка и чье-то попустительство, а то и заговор. Заговоры же любили больше всего.

Что делать дежурному? Указать на ошибку и поправить? Ну, нет! Всё тут же станет известно «органам», и никто никого, даже бдительного дежурного уже не спасет. Решение есть только одно и принимается срочно. Вызван из типографии выпускающий, ему — указание без особых объяснений: перебрать подвальную статью заново, целиком. Для маскировки совсем в других местах сделано

несколько бессмысленных исправлений. Отлитые стереотипы, которые ставят на ротационную машину, предлагается разбить и расплавить, матрицы уничтожить, отпечатанную часть тиража, пока, слава Богу, небольшую — под нож.

Скандал: газета запаздывает, пойдет в рассыл не по графику, рабочие лишатся премии, ропщут, конечно. Никто толком не может понять, в чем дело, но люди привычные, делают, что велят. Ну, а дежурному приходится изображать из себя самодура. Это не очень сложно, если знаешь, что спасаешь, всего скорее, жизнь многим людям, в том числе и себе.

Не помню, что было выдумано в оправдание перед начальством, но истину не узнал никто и по сию, кажется, пору.

При Хрущеве ошибки тоже обходились недешево, но все же не в цену жизни. Помню, пришел в редакцию и на Доске объявлений увидел приказ примерно такого содержания: «За халатность, повлекшую за собой грубую ошибку, сотрудника сельхозотдела В. Тваринского уволить из редакции». Бегу в отдел: что случилось? Оказывается Володя Тваринский, будучи «свежей головой» (это читка номера уже с машины, полностью готового — для последней страховки), не заметил в тексте пропуск одной буквы, и получилось такое: «тварищи Н.С. Хрущев, М.А. Суслов…», ну и так далее. За этих «тварищей» в сталинскую эпоху опять же посажали бы многих, а теперь все же можно было еще и отстаивать провинившегося.

Иду к ответственному редактору, которым к тому времени стал Абрамов, говорю:

— Михаил Георгиевич, у меня к вам просьба: закройте ладонью один глаз и прочтите вот эту колоночку.

— Ты что, с ума сошел?

— Ну, прочтите, это очень важно, я объясню потом.

Абрамов усмехнулся, зажмурил один глаз, нарочито так

перекосился весь — читает. Выдержал немного и аж сделал вид, будто плюнул в корзину:

— Ну, какого рожна?

— Как, — говорю, — читается, Михаил Георгиевич? Хорошо? Сколько так могли бы выдержать? Так вот, Тваринский, которого вы только что уволили из редакции, читал так, с одним-то глазом, целый номер! (Он был действительно практически слеп на один глаз, все это знали, но до случая о том как-то и не подумали.)

— Да-а-а, — протянул Абрамов. И тут же загорелся — «заводной» был человек:

— Слушай, пойди-ка ты к Чиликану (так у нас называли Чиликина, ответственного секретаря редакции), проделай с ним

то же, что со мной, он уж очень гневался и приказ сам сочинял.

Иду к Чиликину, хотя знаю, что с ним такие штучки проходят сложнее — суровый человек, гроза редакции. Рыпался он, но я как-то уговорил его на эксперимент. Страшно ругаясь, и он попробовал читать… А когда я все объяснил, молча тут же взял листок бумаги и заготовил совсем другой приказ: Тваринскому ставилась «на вид» недостаточная внимательность при чтении номера и впредь он освобождался от дежурств по состоянию здоровья.

Совсем уже другое было время!

Как братушки меня провожали

Болгария, 1973. Я здесь по командировке журнала «Проблемы мира и социализма». Чудесная страна: горы, море, Долина роз, Велико Тырново — красивейшая старая столица страны, а рядом — столица смеха Габрово. Побывал на Шипке, побывал в деревне, откуда был родом Вылко Червенков, самый жестокий коммунистический правитель Болгарии, сталинист. Крестьяне рассказывали, что когда он приезжал к отцу, они вдвоем хорошо поддавали сливовицы, Вылко уезжал, а отец открывал окошко, садился на подоконник, обхватывал голову руками и, раскачиваясь, причитал:

— Бедная моя Болгария, она в руках моего Вылко!

В следующий приезд сын ругал отца. Мол, не посмотрю на то, что ты отец, посажу тебя, если будешь меня позорить.

— Что ты, что ты, не буду — заверял папа. Но только сын уезжал после очередной попойки, отец снова садился у окошка, и вся деревня слышала:

— Бедная моя Болгария..

Народ в этой прекрасной стране гостеприимный, в деревне только братушкой меня и называли. Ну, вот я и подзадержался немного.

Мое пребывание здесь «курировал» Дмитр Станишев, в то время консультант международного отдела ЦК БКП (потом он работал в журнале «Проблемы мира и социализма», затем стал секретарем ЦК, а в последнее время, кстати, его сын Сергей был Премьер-министром Болгарии).

Я как-то уже заволновался даже, что пора бы домой, в Прагу. А Дима, с которым мы очень подружились, уговаривал:

— Ну, чего ты торопишься? Тебе тут плохо?

Я рассказал ему байку о том, как в Грузии поступают с человеком, который слишком засиживается в гостях: хозяин выводит его на крыльцо и показывает на дерево, говоря:

— Видишь, какая хорошая птичка — посидела немного и улетела.

Короче, на другой день Станишев сообщает, что мне взяли билет на поезд на субботу — через Белград до Праги ехать всего ничего, а интересно. Говорю: ну, давай билет. Он притворно возмущается:

— Саша, в Болгарии так не делают! Вот посажу я тебя в вагон, мы разопьем бутылочку хорошего вина, тогда и получишь билет

В субботу приезжаем на вокзал около 9 вечера, на билете, который он мне все же показал, написано, что поезд отходит в

21.15. Ходим по платформе, ищем мой состав, а его нигде нет. Туда — сюда — нет и все! Спрашиваем дядю в красной фуражке, где, мол, поезд на Прагу. А он говорит: так вы опаздываете, вон он уже трогается!

Мы бегом к этому составу. Какая уж бутылочка вина! Дима запихивает меня в тронувшийся вагон, а следом чемодан, какие-то сумки, узлы с подарками. Машу рукой на прощанье и иду на свое место.

Вагон по номеру мой, но немного странно, что не мягкий, не купейный, а обычный плацкартный, да еще меж двух полок втиснута третья…

На моем месте аккуратно устраивается некий полноватый мужчина. Говорю, извините, но. Он мне тоже, мол, извините, но… И показывает свой билет с таким же, как у меня, номером места. Иду разбираться к проводнику, но разговор не очень получается: я объясняю ему, в чем проблема, по-русски, а он мне что-то отвечает по-болгарски. Начали помогать пассажиры, но тут он показал три пальца и сказал вполне понятное: «Три лева!» Три лева у меня нашлось, и я уже скоро спал на средней как раз полке.

Утром, проснувшись, глянул в окно, а там уже город какой-то. Говорю, обращаясь к соседям по купе:

— Это не Белград?

— Какой Белград? Это Плоешти!

— Как тут может быть Плоешти, он же в Румынии.

— Ну, вот мы как раз и подъезжаем к Бухаресту!

У меня почти шок. Ничего себе, думаю, вроде и не с перепою я. И что буду делать в незнакомом городе, не зная языка, не имея их денег. (В советское время командировочных в долларах нам не давали, только валюту страны, куда направляли, а рубль или кроны, которые у меня были, здесь всем на фиг не нужны). Но главное — почему я сюда заехал? Поезд же не мог заблудиться, по рельсам только ходит.

Обсуждаем ситуацию с соседом, который оказался румынским писателем и прилично владел русским языком. Он дает мне 10 лей (тогда, примерно, рубль на наши деньги) и говорит, мол, этого хватит доехать до советского посольства на троллейбусе.

На вокзале Бухареста иду для начала к кассе. Спрашиваю по-русски, что, мол, со мной произошло, как я сюда попал, и показываю билет. А кассирша этак стервозно отвечает: не понимаю, дескать, по-русски, говорите на английском, французском, немецком. А я вижу, что прекрасно понимает все. Ну, ладно, отвечаю, буду говорить на немецком, но вам же хуже

будет от моего немецкого.

Короче, выяснилось, что билет мне взяли не через Белград, а через Бухарест — с Югославией тогда были сложные валютные отношения. Я должен был сесть на такой же поезд, на каком ехал, только еще вчера утром! Доехать до Бухареста, а в 21.15, как было написано на билете, отправиться отсюда в Прагу. То есть, когда мы с Димой болтались по платформе в Софии в поисках нужного поезда, он как раз и отъезжал от вокзала Бухареста.

— Ваш поезд ушел вчера, и ваш билет теперь не действителен, — заявила кассирша на немецком языке.

На секунду опешив, я возразил:

— Ну, нет! Билет действителен. Не действительна только плацкарта. Я могу купить новую на сегодня!

Оказалось, что ни на сегодня, ни на завтра уже нет мест в нормальном купейном вагоне. Но я не очень и настаивал, потому что купить-то у меня было не на что! Говорю: тогда давайте мне сидячее место на сегодня! Она, в конечном счете, со мной соглашается и называет стоимость сидячего места. Это оказывается, примерно, на 20 бани больше имеющихся у меня 10 лей. Я невозмутимо заявляю, что хочу взять билет только до Будапешта, там, мол, возможно, освободится место в купейном вагоне.

И вот у меня в руках билеты, в сущности, как бы на электричку, да не как бы, а в самом деле это международная электричка, к которой прицеплены два спальных вагона. До Праги мне предстоит ехать на «пятой точке», то есть сидя, 26 часов, и я еще совершенно не представляю, что буду делать в Будапеште. Однако, так или иначе, какой-то минимум я себе обеспечил, чтобы уехать из этого города, а теперь поеду в наше посольство и там посоветуюсь, как все же устроиться покомфортнее.

Спросил кого-то, как ехать до русского посольства. Слова «амбассада» и «советик» поняли легко, а я как-то понял то, что мне ответили. Ведь обычно задать вопрос почти на любом языке — не проблема, а вот понять, что тебе быстренько лопочут в ответ на том же румынском.

На улице дождь, на троллейбусной остановке толпа, которая стоит, мрачно ожидая очередной машины. Как только троллейбус подходит, все скопом кидаются к нему, работая локтями. Никакой тут очереди нет, просто идет одновременная атака на оба входа, и машина трогается с незакрытыми дверями, поскольку уцепившиеся за что-то последними счастливчики еще не втиснулись в массу пассажиров так, чтобы дать дверям закрыться. Отягощенный чемоданом, сумками, узелками, в которых гремят какие-то подарочные гончарные изделия, да еще и с

разболевшимся в Болгарии животом, пропускаю три троллейбуса, все больше намокая от льющейся на меня из небесной лейки воды. Толпа, вопреки моим ожиданиям, не редеет, у неё какой-то удивительно стабильный объем, несмотря на то, что кто-то все же уезжает с каждой машиной. Моя голова, изучая закономерности атак этой толпы на троллейбусы, начинает мыслить стратегически. Вот стоит группа студентов — эта дружная команда яростно кинется к следующей машине и ворвется в нее. Я тихонько протискиваюсь вперед, чтобы оказаться перед этой группой. С приближением троллейбуса выдвигаю перед своим животом чемодан, и с этим тараном почти в одно мгновение меня вносят в вагон, я вонзаюсь в месиво пассажиров, уже находящихся внутри троллейбуса. Кто-то ругается, похоже, на меня из-за жесткой консистенции чемодана, да и подарочных гончарных изделий, оказавшихся необычайно прочными, но я ведь румынский-то не понимаю и делаю вид, что ко мне это не имеет никакого отношения.

Посольство. Проходная. Предъявляю вахтеру паспорт. Вахтер говорит, что не может меня впустить даже во двор, должен согласовать это с дежурным чиновником. Вскоре мне представляется третий секретарь посольства и поражает меня таким сообщением: сегодня воскресенье, никого, кроме него, дежурного, в посольстве нет, посол вообще в отъезде, и он, дежурный, не имеет права впустить меня в здание. Я ору на него: вы все с ума посходили?! Я гражданин Советского Союза, с паспортом, серпастым и молоткастым, не могу попасть на территорию своей страны? Я, промокший до нитки, не могу у вас тут обсушиться и обогреться? Мне что — обращаться к румынским властям, чтобы дали возможность где-то приткнуться, да и накормили заодно за свой счет?

Робкий третий секретарь смущенно предлагает:

— Давайте я отведу вас к себе домой, у меня там сегодня никого нет.

Дома он открыл холодильник, широким жестом приглашая пользоваться любыми продуктами, и отправился опять на дежурство. Я как-то там сменил промокшую одежду, сделал себе яичницу, включил телевизор — сижу. На экране — Бухарест, симпатичный, между прочим, город. Сами румыны любят называть его маленьким Парижем, дескать, во многом похож на большой оригинал. Мысль: что же это я, как дурак, так и просижу до вечера в Бухаресте, изучая его по телевизору?

Звоню на работу хозяину квартиры, спрашиваю, кто из корреспондентов центральных газет — «Правды» или «Известий» сейчас на месте, и как ему позвонить. Оказалось — только

правдист Слава Петухов дома. Мы с ним не знакомы, но фамилии-то друг друга знаем! Короче, через пять минут слышу в телефонной трубке веселый голос:

— Старик, привет! Выходи на улицу, тебя моя машина ждет, а я тут пока чего-нибудь приготовлю.

Уже максимум через полчаса я был не только сыт, но и пьян, нос в табаке, а потом катался вместе с коллегой по Бухаресту, рассматривая его вживую. Слава уговаривает меня:

— Чего ты в Прагу торопишься? Поживи у меня денька три! Купим тебе нормальный билет в купе.

Отвечаю, что в редакции и дома, наверное, уже волнуются: из Софии выехал (Дима же позвонил, конечно), а в Прагу не приехал. (Так оно и было, встречали на вокзале каждый поезд, приходящий из Белграда и Бухареста, три ночи!) Слава возразил мне: мол, какая проблема — сейчас вернемся домой и позвоним в Прагу. Вернулись, позвонили, нам ответили, что эта линия сейчас не работает, какая-то «поруха». Тогда уже мне в голову мысль пришла: позвоним в Москву правдинским или известинским стенографисткам, они запишут нас и передадут сообщение в Прагу. Звоним в Москву. Оказывается, эта линия тоже не работает. Редкое невезение!

Тогда уже я окончательно решил, что поеду все же сегодня, на «пятой точке», но сегодня.

Дорога была во многих отношениях примечательная. Во-первых, соседи по купе, румыны, группа молодых сравнительно ребят, установив, что я русский, тут же начали атаковать меня по всем направлениям. Прямо скажем, очень недоброжелательно, даже злобно.

— У меня отец под Сталинградом погиб, там и похоронен, — сразу сказал один тоном прокурора-обвинителя, который, к тому же, только что дома поссорился с женой. Я, конечно, ответил:

— А зачем он туда пришел? Что он там делал?

В таком духе шел весь разговор, хотя не все понимали по-русски. Беседу направлял один, знающий русский, и самый злой.

Второй моей бедой были контролеры. Они шли буквально через каждую пару часов. Ну, у всех пассажиров, как и положено в местных поездах, были картонные такие билетики, контролер прокалывал их компостером. И вдруг натыкался на мои две большие бумаги, на которых что-то написано на непонятных ему языках. Долго вертел в руках, спрашивал меня что-то, но я только разводил руками — по-румынски же спрашивали. Потом он в сердцах дырявил компостером мои бумаги, и они из-за обилия контролеров все больше становились похожими на дуршлаг.

Перед границей с Венгрией пришел самый ненормальный

контролер. Повертев перед носом мои дырявые бумажки, сказал, как это он выразил уже не помню, что билет недействителен. И тычет пальцем в написанное на нем: Прага-София. Я ему тоже тычу пальцем в напечатанное ниже: и обратно. (В Праге мне, конечно, билет покупали, а болгары только компостировали) Скандалим, я на русском, он на румынском, раздражение растет, а к пониманию — ни шагу. Подходят уже пограничники:

— У вас непорядок с билетом?

Отлично говорят по-русски, прошу их объяснить этому идиоту, что в билете написано «и обратно», но они отвечают, что это не их дело. Проверили паспорт и говорят, что если у контролера будут претензии, они снимут меня с поезда!

А контролер вдруг кладет мой билет в свой карман и выходит из вагона. Я понимаю, что дело совсем худо. Догоняю его, когда он уже оказался на нижней ступеньке, хватаю за ворот и втаскиваю обратно. Резко толкаю к двери перехода из вагона в вагон, прижимаю к этой двери и держу, тем более, что там такие удобные проволоки, защищающие стекло, и держаться за них удобно. А он на голову или полторы выше меня! Как втащил, сам не пойму. Ну, держу и не знаю, что дальше делать. Бить и лезть к нему в карман, чувствую, как-то не этично. Просто матерюсь. В отчаянии оглядываюсь и вижу, что поодаль стоит чернявенький парень и явно прислушивается к нашей интеллигентной беседе. Значит, понимает. Резко тычу в его сторону пальцем и ору:

— Ты! Иди сюда!

Он скромно подходит. Говорю:

— Ты понимаешь по-русски, — этак утвердительно, а не вопросом. Он соглашается:

— Мало.

— Хватит, чтобы объяснить этой балде, что у меня в билете написано. Возьми у него билет.

Тут уже они беседуют между собой. Контролер отдал-таки билет парню. А я его за это отпустил. Беседуют. Потом контролер вдруг, что-то буркнув, смачно плюнул и выскочил из вагона. Я уже не держал его, потому что билет остался у парня, и он мне его уже протягивал.

Парень оказался венгром из тех, что живут небольшими анклавами в Румынии, в приграничье. Спрашиваю, что это, мол, контролер вдруг согласился расстаться с билетом и почему плюнул. Оказывается, он спросил, кто я, и венгр объяснил, что русский. Вот потому и плюнул, но билет отдал. Так вот иногда сильно действует на человека то, что ты правильно представился или тебя представили.

Границу я переезжал в полном одиночестве, единственный в

вагоне — все румыны вышли. Зато сразу после границы, на первой же станции, в вагон ввалились венгры. И к нам прицепили вагон-ресторан. Я отправился туда и, отстояв огромную очередь, во-первых, пообедал, во-вторых, заметив, что официант принимает разную валюту, поменял часть своих крон на венгерские форинты. Вот теперь я мог купить плацкарту до Праги.

Когда готовился выйти из вагона в Будапеште, любезные венгерские соседи предупредили, что по радио было объявление: поезд опаздывает, стоянка его будет сокращена.

Огромный (или так показалось?) будапештский вокзал. Опять пытаюсь объясняться по-немецки, но скоро убеждаюсь: большинство венгров тоже не очень усердствовали в изучении этого языка. Кое-как объясняясь, в основном на пальцах, узнаю, что мне надо идти на второй этаж к кассам с такими-то номерами. Иду и обнаруживаю там огромную толпу. Не очередь, а именно толпу. Здесь, как на румынской троллейбусной остановке, идет неупорядоченная борьба за место поближе к окошечку. У меня нет выбора способа действий. Что бы я ни говорил этим людям на своем ломанном немецком, они ничего не поймут, не захотят понять. И я начинаю просто работать локтями, что-то бормоча на ходу для приличия, по-моему, на хинди или суахили, точно не скажу. Через десяток минут, прилично помятый, просовываю голову в окошечко и по-русски кричу кассирше, что у меня поезд сейчас уйдет вместе с моим чемоданом, плащом и гончарными изделиями. Видимо, последнее ее впечатлило, и она вполне прилично имитируя русский язык, донесла до моего сознания, что ничем помочь мне не может, потому что получить билет я могу только в кассе на первом этаже (она показала один палец) в кассе номер пять (выставила всю пятерню). Мне пришлось снова работать локтями, двигаясь в обратном направлении, потому как всей этой толпе нужно было почему-то двигаться мне навстречу.

Мчусь на первый этаж, нахожу кассу, у которой стоит только один человек, но я уже по инерции отодвигаю его локтем в сторону и говорю тоже по инерции entschuldigen Sie, bitte! А он вдруг радостно отвечает: bitte, bitte! И даже отодвигается от окошечка еще дальше. Оказалось, немец. Объяснили уже вместе кассирше, что у меня стоит под парами поезд, и мне нужен билет, собственно, плацкарта, до Праги. Кассирша тяжело вздохнула почему-то и начала медленно менять циферки на печатке или как там называется штука, которой ставят на билете все нужные данные. Дергаюсь, верчусь на месте, пытаюсь что-то еще ей сказать. Но она как лед.

Выскочив уже с билетом из вокзала, вдруг на уровне подсознания чувствую, что двигаться обратно к поезду нужно кратчайшим путем. Ну, просто кожей ощущаю, что поезд сейчас тронется. А схема вокзальной территории такая: представьте букву П, в верхнюю планку которой изнутри упираются все поезда и платформы около них. Я посредине левой ножки этого П. Нормально мне нужно пройти вдоль нее до верхней планки, повернуть направо и двигаться уже вдоль этой верхней планки до середины ее, примерно, где начинается платформа моего поезда. Снова повернув направо, идти как бы назад вдоль самого поезда до своего вагона. Путь изрядный, только в таком вот напечатанном виде буква П маленькая, а в реальности большущая. И я кидаюсь кратчайшим путем прямо со своей срединной точки поперек этой буквы. Где-то преодолеваю барьеры поездов, открывая двери вагонов и проскальзывая сквозь них, где-то лезу под вагоны — так пересек минимум пяток поездов и выскочил на свою платформу.

Как раз в этот момент поезд тронулся. Мне пришлось догонять свой вагон бегом. Обняв сначала в купе свой родной плащ, чемодан и гончарные изделия, шлепнулся на свое насиженное место. До Праги оставалось, примерно, полдня и половина ночи.

В 3 часа ночи на Центральном вокзале Праги меня, наконец, встретили наш официальный встречающий, чех, и жена Мая. Они вместе проводили здесь уже четвертую ночь.

Вызов в пространство

Постепенно мы начинали сознавать, что делаем по отношению к крестьянам не очень-то доброе дело. Начинали, в частности, понимать и то, что подгонять их с севом — значит вредить урожаю: ранний сев значительно его снижал. С этим и был связан эпизод, о котором хочу рассказать.

К тому времени, в 1958 году, я уже стал собкором «Известий» на Алтае. Крайком партии наметил сроки сева, как это было тогда принято, — с резервом, конечно, с учетом, что они не будут выполнены, и все-таки, надо сказать, довольно реалистичные. Но из Москвы приехал Председатель Совета Министров РСФСР Полянский. Он собрал партийный актив, устроил накачку, как это тоже было принято, и на этом активе решили, как говорилось, «взяли обязательство», что сев будет завершен много раньше, к 15, помнится, мая. Узнав об этом, я пошел к секретарю крайкома партии Пысину — задать ему вопрос, почему так поступили. Тогда я уже располагал чуть ли не столетними данными, говорившими о вреде чрезмерно раннего сева на Алтае. А установленный на активе срок предопределял начало сева в апреле, то есть заведомо предполагал зряшную трату семян, горючего, людского труда.

Однако мой визит не удался, сказали, что секретаря нет на месте. Приходил еще раз, звонил, но его неизменно не оказывалось в кабинете, и никто не хотел сказать, когда он появится. Тогда я позвонил в редакцию «Известий», заведующему сельхозотделом Петру Алексеевичу Анчихорову, и рассказал все. Петр Алексеевич возмутился, шумел, что я не должен этого так оставить, надо написать записку, которую он перешлет в Президиум ЦК КПСС. Мне тоже казалось естественным его возмущение, мы так вот вместе повозмущались, настроились, завели друг друга, и я сел писать «кляузу». Она была передана стенографистке по телефону и таки, действительно, как я узнал впоследствии, направлена в ЦК КПСС и даже размножена для секретарей ЦК. Во всяком случае, получили ее несколько человек. А я сразу после этого уехал в командировку в какой-то район.

Вот там, в районе, меня и разыскал по телефону председатель крайисполкома Шевченко. Он сказал, что из Москвы звонил Полянский. Сегодня вечером, в 21 час я должен быть в кабинете председателя, чтобы поговорить с Полянским по спецсвязи.

Что-то подсказало мне — было такое даже толком не осознанное ощущение — что не нужно поспешно реагировать на этот звонок и мчаться на переговоры. Я ответил Шевченко, что

выполняю задание редакции и смогу быть в Барнауле только завтра вечером. Тот был шокирован моим ответом, он даже осторожно заметил, что, видимо, не очень прилично отказывать в разговоре премьер-министру республики, кандидату в члены Президиума ЦК КПСС (так к тому времени окрестили Политбюро). Но особенно-то читать мне мораль ему было неудобно, потому что в то время, прямо скажем, хотя это было еще до Аджубея, «Известия», да и «Правда», все центральные газеты, их корреспонденты пользовались, конечно, несравнимо большим авторитетом, влиянием, весом, чем в последующие, например, брежневские времена. Их, скажем попросту, побаивались.

Звонок был для меня неожиданностью, предложение Полянского тоже, но как-то моментально возникло и сработало ощущение, что уж коль повел себя нахально, написав критическую записку о таком высоком начальнике, то надо так же вести себя и дальше. Конечно, эти сутки с лишним я раздумывал, что же преподнесет мне «Митька» — так звали Дмитрия Степановича Полянского многие партийные работники на Алтае. Расскажу уж, почему.

В этом не было никакого неуважения — чистая случайность. Полянский был депутатом Верховного Совета СССР, и выдвигали его у нас в Павловском районе. Ведь все «члены» были тогда «раскассированы» по разным регионам страны в качестве кандидатов в депутаты верховного законодательного органа власти. Секретарь райкома партии Иван Маркович Швец встречал его во время редких визитов к избирателям, ездил с ним, провожал. У них были неплохие, я бы сказал, отношения. А у Швеца был кот Митька, и вот как-то у легкого на остроту Ивана Марковича вырвалось: «Митьку сегодня встречаю». Потом эта шутка уже обосновывалась даже — что-то там насчет тонкого нюха. Так вот и стали меж собой секретари называть начальство Митькой — не в обиду, но пристало.

Швец был из тех секретарей, с которыми я дружил. Павловск недалеко от Барнаула и связан с ним асфальтовым шоссе, единственным тогда, кажется, в крае, кроме Чуйского тракта. Я часто бывал в Павловске, через него лежал путь во многие другие районы, а с Иваном Марковичем лишний раз поговорить — одно удовольствие: наблюдательный и нестандартно мыслящий человек. Наши отношения сложились так, что мы были совершенно откровенны друг с другом. А началось это со случая, тоже кое-что говорящего о том времени.

Однажды, еще в начале знакомства, засиделись у него на работе, и Иван Маркович предложил пройти в свою «бытовку» —

комнату отдыха за кабинетом, мол, по чашечке чая сообразим. И добавляет: покажу, мол, нечто интересное.

Прошли в соседнюю комнату — бытовка как бытовка, хотя таких в то время было немного, только в новых райкомовских зданиях. Диванчик там для отдыха, кресла со столиком, шкафчик, из которого тут же была извлечена бутылочка коньяку с красивыми рюмочками.

— Видел ты где-нибудь еще такое? — спрашивает секретарь.

— Уютная, — говорю, — хорошая комнатушка, — сам же не понимаю, чем он таким особенно гордится. Он догадался, что не понимаю:

— И у других ты то же самое на стенке видел? — показывает рукой.

Тогда до меня «дошло». Там, где обычно висел, как и в кабинете, портрет Генерального (Первого) секретаря партии или, по крайней мере, какой-то «политический пейзаж» — Кремль, Мавзолей, Красная площадь — у Швеца красовалась рябина, написанная маслом на холсте.

— Не всем это показываю, — заметил секретарь. Да, это было партийным святотатством — пейзажик, аполитичное произведение искусства там, где положено быть идейно выдержанной агитации. Приятельница, о которой я уже упоминал, по поводу этого эпизода заметила, что он не очень ее впечатлил: вот если бы, говорит, он свою рябину в кабинете повесил!.. Боже мой, до чего же это много — семь лет! Ей уже трудно понять, что такого — повесить в кабинете на месте традиционного портрета картину — не могло быть! Ни одному секретарю райкома партии это не могло прийти в голову. Не могло и все тут! По-моему, кстати, и теперь едва ли у какого губернатора висит в кабинете что-то вроде той рябины, а не портрет президента.

Вот и объясни теперь, какой вызов я бросил тогда Полянскому. Не понимал, чем это грозило? Понимал, но слишком велика была вбитая в голову еще в школе и в университете вера: если действуешь по справедливости, если ты прав, если хорошо аргументируешь свои позиции, то непременно выиграешь. И верили ведь в это, я верил, по крайней мере, несмотря на то, что жизнь сто раз уже продемонстрировала совсем иное! В этом, бесспорно, заключалась трагедия нашего, да и многих еще поколений: учили нас одному, а поступали с нами совсем по-другому, по другим законам. И те же школьные учителя, конечно же, часто понимали, что есть это расхождение — между тем, чему нас учат, и тем, с чем мы столкнемся в жизни, — но едва ли могли сказать, точнее, совсем не могли об этом сказать. И только

в редких случаях, например, наша учительница истории и классный руководитель с восьмого по десятый Мария Ивановна говаривала мне:

— Ну, Волков, ты либо будешь великим человеком, либо сядешь.

Конечно, говорила она это с глазу на глаз, говорила тогда, когда я вел себя не в соответствии с теми реальными нормами жизни, о которых она имела лучшее представление, чем я. Короче, когда я писал это письмо о Полянском, то не боялся, ибо верил, что поступаю не просто правильно и, скажем, честно, порядочно, но так, как единственно возможно.

Это чувство складывалось еще и потому, что у нас, у алтайских газетчиков, было чрезвычайно высокое представление о миссии газеты, ее общественной роли, о долге журналиста. Даже, может быть, чуть высокомерное. Мы чувствовали себя, как сказали бы позже, макрекерами, «чистильщиками», которые борются со всяческим злом, борются за справедливость, во имя чистоты системы, ее соответствия идеалам социализма. В «Алтайской правде» в то время остро критиковали и членов крайкома партии, и орденоносных зачастую секретарей райкомов, чего уже довольно скоро не стало. Такого рода критика исчезла из газет во времена Леонида Ильича, а, может быть, даже немного раньше. Как раз в ту пору, когда все отчетливее вырисовывалось коллективное господство «нового класса», сменившее культ личности.

Короче говоря, я поступил совершенно нормально с собственной идеалистической точки зрения, или, скажем проще, с точки зрения политической недоразвитости. Но все-таки в этом был вызов, как понимаю сейчас, — не столько конкретному лицу, сколько кому-то или чему-то неопределенному, возможно, даже системе: потребность в таком вызове нами уже ощущалась, но ясности цели не было. И это был вызов верующего — в систему, ее справедливость, даже в тех людей, которым адресовалась критика. В каком-то смысле это был всё-таки вызов в пространство…

Только уже много позже я понял такие простые вещи, что за тем ведь и посылали на Алтай Полянского, чтобы надавил на партийный актив, построжился, устроил разносы, заставил сеять быстрее. На том все держалось, на том они, эти люди, держались, на том и дело даже держалось до какой-то поры.

В приемную председателя крайисполкома Шевченко я приехал немного раньше срока, минут за пятнадцать до девяти, и сразу же раздался телефонный звонок.

— Нет, Сергей Васильевич еще не пришел, — сказала в

трубку его секретарша, — сейчас он будет, Дмитрий Степанович, буквально сейчас будет… Волков? — переспросила она подчеркнуто. Я мотнул головой, мол, нет меня, потому что хотел сначала поговорить с Шевченко, лучше понять обстановку.

— Нет, и его нет, — сказала секретарша. И я понял, что Дмитрий Степанович здорово заведен, коль проявляет такое нетерпение и звонит даже ранее намеченного срока.

Скоро пришел Шевченко и сам заказал Москву. Помощник Полянского ответил, что Дмитрий Степанович занят. Шевченко назвал себя. У них были добрые, почти дружеские отношения, но помощник снова ответил, что Дмитрий Степанович не может сейчас разговаривать. Тогда Шевченко сослался на то, что Полянский хотел поговорить с корреспондентом «Известий», и помощник тут же ответил: «Сейчас соединю». И я снова подумал, что крепко задет мой высокопоставленный оппонент. Но, странное дело: взяв трубку, ждал чуть ли не благодарности за то, что обратил внимание на важную проблему — настолько сильна была идиотская вера в справедливость и саму высшую власть.

Первые минуты разговора представляются мне сегодня, хоть уж и не помню деталей, лавиной ругани, которая обрушилась на меня. Первая фраза, впрочем, запомнилась:

— Вы ни черта не понимаете в сельском хозяйстве, вы всё переврали…

Дальше не помню, но это была грубая силовая атака. Меня обвиняли во всех смертных грехах: лезу не в свое дело, чуть ли не собираюсь сорвать сев, исказил все факты. Я не мог вставить хотя бы слово до тех пор, пока Полянский немножко не выдохся. И тогда я спросил:

— А что, Дмитрий Степанович, это так и будет ваш монолог или все-таки возможен диалог?

— А что ты можешь сказать? — резко возразил он, перейдя на «ты», и снова что-то на меня посыпалось. Но все же он остановился, и я воспользовался этим:

— Вот вы упрекнули меня, что я все переврал, в частности, назвал совещание, которое вы созвали, заседанием бюро крайкома, тогда как это был актив. Вы считаете это принципиальным?

Не помню уж, как он ответил, но других-то фактов, которые я «переврал», он и вообще не привел. На этом моменте был в его монологе какой-то акцент, выходивший даже на некоторое обобщение: мол, корреспонденту искажение фактов непростительно. Это и теперь обычный прием в обращении с газетчиками: когда хотят увернуться от критики, возражают не по существу, не по основной мысли, а уцепившись за какую-нибудь

детальку, которая «искажает действительность». И все очень пекутся о журналистской нравственности.

— А я, Дмитрий Степанович, считаю принципиальным другое, — возразил я, — то, что вы допустили грубое нарушение норм партийной демократии. Будь это бюро крайкома или партийный актив, ни тот, ни другой не имели права отменять решение пленума крайкома партии о сроках завершения сева, принятое несколькими днями раньше.

Эту фразу, этот контрудар я не заготавливал, просто он родился как-то спонтанно, наверное, как раз потому, что мой собеседник сделал нажим на этом моменте, а вместе с тем с формальной партийной точки зрения тут был действительно «криминал»: актив отменил решение вышестоящего органа. Сейчас все это кажется смешным: крайком партии решает, когда начинать и когда заканчивать сев! Бред собачий! Только тогда вся экономика управлялась такими жесткими партийными вожжами. Впрочем, всмотритесь в сегодняшние порядки и обнаружите еще очень многое и многое из пережитков тех времен. Но главное — я понимал, что обстоятельными аргументами, цифрами, фактами в таком разговоре оперировать бесполезно…

С минуту трубка молчала. Я ждал, уже чувствуя, что удар, похоже, пришелся под дых, но еще не зная возможной реакции. Она могла быть жесткой и злой. Но вдруг произошел какой-то поворот.

— Это они неправильно сделали, — сказал Дмитрий Степанович, — Я не имел об этом представления.

Нет, он не оправдывался, но говорил совершенно иным тоном, как бы уже размышляя вместе со мной о происшедшем, а может быть, и обвиняя тех, кто его подвел, — местное руководство, секретаря крайкома партии. Возможно, это был самый легкий способ снять проблему, свалить на других вину за то, что произошло, потому что он уже понял: корреспондент отнюдь не склонен отступать, а, напротив, готов идти до конца, настаивать, — такое ведь может быть «чирьевато последствиями». Он продолжал что-то говорить. Но мне тоже удалось вставить слово — объяснить свою позицию, обосновать причину того, почему написал записку, рассказать и о многолетних данных, которыми располагаю. Рассказал и о том, что заходил к Пысину, но не был принят. Полянский вдруг, перейдя снова на «ты», но как-то уже по-другому, это было уже доверительное такое «ты», сказал:

— Ну, ты с ними не ругайся, они, в общем-то, неплохие ребята. Сам понимаешь, что им все-таки трудно там с севом. Постарайся найти с ними контакт.

И еще хорошо помню последнюю фразу, потому что она была прямо противоположна первой.

— А ты, оказывается, в сельском хозяйстве разбираешься.

На другой день в девять утра меня пригласил Пысин. Вошел в его кабинет и сразу увидел, что он буквально взъярен. Первый секретарь был крупный мужик, лицо тоже крупное, с монголоидными чертами и оттенком кожи, с тяжелыми набухшими веками, нависающими над глазами, от чего в гневе был впечатляющ. Начал он грубо:

— Ты что там расписался! Вот мне сегодня звонил Аристов, говорит: что у тебя там за корреспондент, который пишет нам какую-то ерунду, неужели ты не можешь прижать его как следует! (Аристов был членом Президиума ЦК КПСС, секретарем ЦК-*А.В.)*

Я встал и пошел к двери.

— Куда ты?

Я ответил, что не намерен выслушивать какие-то нотации. Что секретарю крайкома партии, даже если он заручился поддержкой члена Президиума ЦК, не пристало разговаривать с корреспондентом «Известий» в таком тоне.

Он уже спокойнее предложил все-таки вернуться, присесть и продолжал говорить, но все о том же — что я не понимаю, во что лезу, не понимаю, как важно вовремя посеять. И все больше распалялся, распалялся, а я снова вставал и уходил. Он опять меня мягко возвращал, но, наконец, окончательно не выдержал — сорвался на крик.

— Расписался! Я вот пошлю тебя на хлебозаготовки уполномоченным, и ты узнаешь, почем фунт лиха! Завалишь все, и мы тогда вышвырнем тебя из партии…

Да, тогда и не нужно было большего наказания журналисту: исключили из партии — значит, больше не работать ему в печати, в провинции-то особенно. Надо заметить, что мы, корреспонденты центральных газет, состояли на партийном учете не в московских, а в местных организациях, то есть в этом смысле были подчинены местным райкомам, горкомам, крайкомам партии. Там, в области или крае, не только в газету — и в другое место не устроишься без милостивого разрешения обкома или крайкома КПСС. Не в провинции — в Москве и не в то время, а уже много позже Лен Карпинский, приемный сын известного революционера, друга самого Ленина, при всех его огромных связях, не сумел после исключения из КПСС получить большего, чем скромную музейную работу с более чем скромной оплатой.

Мне после выпада секретаря уже не оставалось ничего, кроме как тоже дерзить:

— Не выйдет у вас ничего, Константин Георгиевич. Прежде

чем куда-то послать меня, вам придется согласовать ваше намерение с моей редакцией, а это не получится. И это, во-первых. А во-вторых, я постараюсь довести до сведения вышестоящих органов, как вы общаетесь с людьми. Теперь я представляю, что было бы, скажем, с рядовым агрономом, если бы он написал нечто подобное даже вам, а не в цека. Вы бы его просто смяли, уничтожили. А со мной не выйдет!

Господи, до чего же все было наивно! Но для секретаря — неожиданно, непривычно. Сквозь желтизну его кожи проступили красные и белые пятна, по-моему, все вместе, и он опять стал что-то кричать, а я резко остановил его и произнес уже целую тираду, одним духом, даже без запятых:

— Вы кричите на меня потому, что вам стыдно. Ведь ситуация-то ясна, она как на ладошке. Вы прекрасно понимаете, что написал я все правильно, что край понесет огромный ущерб от преждевременного сева. Вы хоть и зоотехник, все же кандидат наук, вы уже столько лет работаете в этом крае, и данные, которыми я располагаю, известны вам лучше, чем мне. Вы и то знаете, что никто никакие сроки все равно не выполнит. Но вы не решились сказать все, что думаете, Полянскому, когда он собрал вас, вы побоялись возразить! А мальчишка вот, с вашей точки зрения, корреспондент возразил, написал, и вы хотите ему отомстить не за то даже, что он вас подвел, не так уж и подвел, прямо скажем, вас там лучше понимают, чем меня, и сочувствуют вам, а не мне, но вы кричите потому, что вас как бы «уязвили», вам, да и другим, показали эту вашу слабость… Вот ещё и «корреспондента прижать» не можете…

Выпалил все это и ещё что-то, теперь уже и не помню — что, и тут мне стало его как бы немного жаль, потому что ведь он явно не знал о нашем вчерашнем разговоре с Полянским. Я решил дать ему понять, в чем дело. И очень уж некстати, или, наоборот, кстати, в кабинет в этот момент вошел Шевченко. Вошел и, видя, как мы распалены, не решаясь перебить, молча сел рядом. А я в это время продолжал:

— Вы еще к тому же защищаете честь мундира. Но люди с погонами, на которых звезды покрупнее ваших, нашли мужество признать ошибку…

Он взглянул уже настороженно — в чем дело? Хотя и не задал этот вопрос.

— Вот Сергей Васильевич Шевченко, — продолжал я, — был вчера свидетелем нашего разговора с Дмитрием Степановичем Полянским по телефону, и когда мы все как следует выяснили, Дмитрий Степанович признал, что актив поступил некорректно, отменив решение пленума. Он, правда, сказал, что вы его не

информировали об этом решении. И прямо заявил, что вы поступили неправильно. В то же время он как бы, — сфантазировал уже я немножко, — и свою ошибку счел возможным признать.

Тяжелый взгляд секретаря медленно обратился на Шевченко, а веки опустились на глаза еще ниже. Он тихо спросил:

— Это правда? Ты знал?

Кажется, Пысин почти ничего и не говорил, но смотрел на соратника так яростно, что было ясно: когда я уйду, из полного Шевченки получится хорошая отбивная котлета — не предупредил вовремя! Так подставил!

Со мной же Пысин заговорил совсем другим тоном.

— Ну, почему ты не мог просто зайти ко мне и сказать все, что хотел, вместо того, чтобы писать в Москву?

— Я заходил, но ваши секретари считают, что корреспондента центральной газеты принимать не обязательно. Я не могу многократно выпрашивать свидания, и если вы хотите, чтобы у нас были действительно деловые контакты, как и Дмитрий Степанович, кстати, советовал, то корреспондентов центральных газет надо либо принимать немедленно, независимо от длины той очереди, которая у вас всегда сидит, либо назначать время, если просим свидания. Когда вы где-то в поле, в отъезде, тоже можно ведь сказать, что приедете и примете тогда-то. Наверное, это условие нормальных отношений.

Пысин нажал кнопку, вошла секретарша. Спокойным, подчеркнуто корректным тоном он дал указание:

— Отныне прошу корреспондентов центральных газет принимать немедленно. Если меня нет, — узнать, когда я буду, и назначить время.

Секретарша удивленно посмотрела на меня и, согласно кивнув, что-то там записала в блокнотик. А мы распрощались. И, надо сказать, что эта последняя договоренность впоследствии строго соблюдалась, хотя потом еще не раз отрыгнулась мне та записка. Были анонимки, в которых меня обвиняли во всех смертных грехах, было опровержение и на мою статью, которое подписали заместитель председателя крайисполкома и третий секретарь крайкома партии, но с Пысиным прямых конфликтов больше не было.

В тот же самый день мне позвонил из редакции Петр Алексеевич Анчихоров и очень расстроено сказал: тебя увольняют. Главному редактору Губину звонил Полянский и возмущался твоим письмом в Секретариат ЦК.

— Я, — говорил Петр Алексеевич, — спросил Губина: а ты чего-нибудь понимаешь в сельском хозяйстве, ты понимаешь что-

нибудь в сроках сева? Ничего ты не понимаешь, — сказал я ему, — а вот Волков понимает, и правильно записку написал. А он только пожал плечами: мол, если руководитель такого ранга делает столь серьезное замечание, считает, что в записке все переврано, придется принимать серьезные организационные меры.

— Да нет, Петр Алексеевич, не придется, — нахально ответил я. — Мы вчера вечером с Дмитрием Степановичем выяснили отношения по телефону, можете считать, что он признал свою неправоту.

Так я себе позволил трактовать происшедшее. А иначе и нельзя было, требовалось держаться уверенно и убедить начальство, что увольнять меня не обязательно. Но я и в самом деле был уверен, что Полянский не вернется к этой записке. В последующем мне пришлось столкнуться с куда более последовательно жестокими людьми. Однако повторяю, что с тех пор на Алтае я чувствовал себя в каком-то двойственном положении. С одной стороны, меня, прямо скажем, побаивались, с другой — искали повод подставить ножку. Иногда эта двойственность отношений принимала своеобразную, почти комическую форму…

Однажды — это было уже чуть позже, когда главным в «Известиях» стал Аджубей, а в крайкоме партии сменился первый секретарь — пришел ко мне на прием инженер-строитель, рассказал, что в строительстве городского жилья большие приписки. То есть объект еще не принят в эксплуатацию, а во все отчеты уже занесен. Бюро крайкома партии рассматривало этот вопрос, но не вынесло никакого решения, никто даже не был наказан — «замазали дело», по словам инженера. Писать об этом, откровенно говоря, мне совсем не хотелось: как раз незадолго до того было много шума вокруг таких «приписок» в Челябинске. В «верхах» принималось специальное решение, газеты изобиловали подобными разоблачениями. Но и отмахнуться от «сигнала» невозможно. На следующий день я пошел, кажется, в статистическое управление кое-что разведать, запросил соответствующие данные. Только вернулся домой, звонит телефон. Оказывается — второй секретарь крайкома Васильев, ведавший промышленностью.

— Александр Васильевич попросил меня пригласить вас на заседание бюро крайкома завтра в 14.00. Будем рассматривать интересующий вас вопрос. (Александр Васильевич Георгиев — это первый секретарь крайкома. — А.В.)

— А какой же вопрос, по вашему мнению, меня интересует?

— О приписках в строительстве — так Александр Васильевич

мне сказал…

Оперативно сработали службы оповещения — ничего не скажешь!

Ожидать от такого приглашения можно было всего, лучше идти на «разборку», как теперь сказали бы, не одному. Звоню собкору «Советской России» Борису Евладову, лучшему моему другу, он соглашается пойти со мной — всегда так друг друга выручали.

В зале заседаний бюро — человек пятьдесят-семьдесят. Мы скромно садимся за самые дальние столики. Но нам не дают остаться незаметными: Георгиев, ведущий бюро, в ходе заседания начинает посылать сигналы присутствующим, делая это очень неуклюже:

— Наша кооперация так плохо работает, что не пойму даже, почему корреспондент «Известий» Волков до сих пор фельетон не написал! Сегодня вот он у нас присутствует, — Георгиев делает ручкой в мою сторону.

Потом — сходный жест в сторону Евладова. Народ в зале, как говорят, «с понятием» (это, кстати, не лужковское словечко, оно появилось куда раньше). Меня и Бориса и так большинство присутствующих знает, но раз первый секретарь обращает на нас внимание, то всем ясно — неспроста.

Сначала «слушали» разные вопросы, и мы скучали. Потом — перерыв. Ко мне подошел зам. председателя крайисполкома:

— Александр Васильевич просил вас заглянуть в перерыве к нему в кабинет.

Смеюсь:

— Чайком хочет угостить?

Вхожу в кабинет секретаря, тот ходит из угла в угол «аки тигра».

— Ну, что? Фельетон про приписки уже отослал?

— Куда мне, — отвечаю, — до вашей оперативности!

— И что будешь писать?

— Пока не знаю. Послушаю вот бюро, чай, не зря пригласили.

— Значит, так: директору стройтреста — строгача и снимаем с работы. Первому секретарю горкома партии — выговор с занесением. Заму председателя крайисполкома — «на вид». Хватит?

Наказания, надо заметить, по тем временам суровые. Скажем, выговор с занесением в учетную карточку первому секретарю горкома партии означал скорое, хоть и не сразу, освобождение его от занимаемой должности: само взыскание — как бы подрыв его авторитета. Соглашаюсь:

— Хватит.

— Тогда выпьем чайку и пошли.

Открывая снова заседание бюро, Александр Васильевич этак спокойненько объявляет:

— Прошлый раз мы заслушали дело о приписках в строительстве, но решение не приняли. Предлагаю так…

И повторяет изложенную мне формулу.

— Возражений нет? Принято единогласно.

Какие там возражения или вопросы! Тишина мертвая. О существе дела ни слова, вроде бы всё давно обговорено.

Мы с Борисом встаем и без шума уходим. Нам тоже все ясно: Георгиев полностью закрыл дело, у меня нет никакой возможности к нему вернуться. Проблема обсуждена, решение принято, виновные строго наказаны, корреспондент был приглашен на бюро и все слышал. Единственное, что за мной остается, и что я могу сделать — позвонить тому инженеру, информировать о реакции на его «сигнал». Он, кстати, по-моему, был удовлетворен: не знаю уж, какие чувства им двигали… Так делались дела.

История с Полянским случилась еще при Губине, долгое время бывшем главным редактором «Известий». Его возможности в защите журналиста измерялись малыми величинами. Совсем иное — при Аджубее. Но тоже не все и не всегда было просто.

Как мы с немцами праздновали День победы

Жорж зашел ко мне в кабинет и сказал, что ему подарили какую-то круглую и блестящую штуку с дырками, сказав, что с её помощью можно стряпать пельмени. Не мог ли бы ты, спрашивает, рассказать, как это делается.

Жорж Квиатовский мой сосед по коридору редакции, он представляет в журнале «Проблемы мира и социализма» Германскую коммунистическую партию, ту, что работает в ФРГ, и мы с ним большие друзья. Даже дружим семьями. Его жизненная история очень и очень не проста. Из крестьянской семьи, очень верующей. Он говорил, что, идя на фронт, абсолютно верил, что русские коммунисты, с которыми придется воевать, это дьяволы, у них даже есть рога. Так ему рассказывали дома. Поэтому, когда его часть была разбита, и он прятался в воронке от снаряда, зная уже, что кругом русские, он снял и закопал в землю нательный крестик: увидят дьяволы крестик и замучают. Пополз тихонько вверх, высунул голову из воронки, а над ним уже стоит дьявол, нацелив на него автомат: Хенде хох! В тот момент, говорил мне Жорж, я пожалел, что оставил внизу все свое снаряжение, в том числе и гранату. Не оставил бы — взорвал бы себя вместе с дьяволом.

Но в жизни все оказалось проще, чем в рассказах.

Его заключили в лагерь для военнопленных. Там неплохо кормили, не били, не мучили, а потом объявили: желающие могут записаться в политшколу. И прошел слух, что ее выпускников скорее отправят в Германию. Он записался. Сначала сидел и даже не слушал, а потом его заинтересовал лектор, который рассказывал о положении немецкого крестьянства. Я, говорил мне Жорж, слушал и удивлялся: ну, все правильно рассказывает! Так он стал по-настоящему учиться, его действительно отправили в Германию, тогда Западную, и он там вступил в компартию.

А теперь вот просит научить делать пельмени. Я говорю:

— Нет, дорогой, так не пойдет! Просто рассказать об этом невозможно. Ваш поэт Гёте писал: теория, мой друг, мертва, а древо жизни пышно зеленеет. Если я тебе буду ***рассказывать*** про пельмени, ты никогда ничему не научишься. Вот через три дня праздник — День победы над фашизмом (они, немцы, это так же сейчас воспринимают), ты бери с собой летающую тарелку, которую тебе подарили, бери Хану (жену) и приезжайте к нам: будем учиться в процессе практики — делать ***сибирские***

пельмени…

Так и порешили. Когда они приехали, я стал учить Жоржа готовить начинку из трех видов мяса — говядины, свинины, баранины. Учил, как их нужно доливать водой и жамкать пятерней, чтобы мясо было сочное и мягкое, учил, что там можно еще добавлять и чего нельзя, а Мая учила Хану готовить тесто. Работа шла на славу.

Начали лепить, по-сибирски, наматывая слепленный пирожок на кончик пальца, чтобы получалась такая маленькая фигушка. Жорж спросил:

— А сколько штук надо делать?

— По сотне на человека.

— Да ты что! Разве я столько могу съесть?

— А сколько можешь?

— Ну, десять!

— Посмотрим. Только я скажу тебе, что в сибирской чайной заказ меньше, чем на сотню, не принимают. На две-три сотни — пожалуйста!

Вспомнилась типичная алтайская чайная моего времени (не знаю, как сейчас). Шесть утра. Мужики, в основном шоферня, делают стандартный заказ: стакан водки, борщ, сотня пельменей. Мало кто отступает от этого стандарта.

Пельмешки у нас получились на славу. Сделали сибирский соус: горчица, перец, уксус, вода, сахар. И, конечно, под стопочку водочки, запивали еще чешским пивком — Праздроем. Еще там какая-то закусь была. Когда закончили эту трапезу, говорю Жоржу:

— Теперь вот давай посчитаем, сколько наделали и сколько осталось.

Посчитали. Вышло так: на мужиков по 83, а на дам по 57 пельмешков. Они оба очень удивились, а я говорю: так мы же еще и осетрину ели, и овощи, без них сотни на брата и не хватило бы!

А затем Жорж рассказывал о своей жизни после окончания войны. Они с Ханой познакомились в Западной Германии, но потом ее резко «выдернули» оттуда: в магазин, где работала, пришли двое в штатском и сказали: у Вас в цепочке предатель. Не дали даже заглянуть домой. Посадили в машину и — на самолет. Так она оказалась уже в Восточной Германии. Много чего еще можно было бы о ней рассказать, но я не знаю, что сейчас уже не имеет значения, а что еще может повредить. И они оказались на разных сторонах разъединенной страны. Им было запрещено встречаться. Но они встречались. Тайно, на чердаках: чердаки восточных и западных домов тогда еще не были наглухо разъединены. И мы с Жоржем как-то посмеялись, что детей

находят вовсе не в капусте, а именно на чердаках. Они нашли там двух прекрасных парней.

Когда мы ужинали, Хана по малейшему поводу громко смеялась, что считается у немцев модным что ли, признаком хорошего поведения в обществе, уважения к хозяевам. Но именно тогда я заметил, что губы смеялись, а глаза — нет. Они были грустными и смотрели куда-то вглубь себя. Наверное, нелегкая и опасная жизнь оставила в ней отпечаток на весь отпущенный жизненный срок.

Потом мы сели к телевизору, где начали показывать многосерийный фильм про нашу войну. Нашу с ними. Кажется, это уже была знаменитая «Неизвестная война».

Спрашиваю Жоржа:

— Вот если бы тебе в 41-ом или 43-м (он попал в плен, кажется, в 44-м) кто-то сказал, что через несколько лет ты будешь вместе с русскими делать сибирские пельмени, а потом вместе с ними сидеть за одним столом в самом центре Европы, в городе социалистической страны, и смотреть фильм про нашу войну, — как бы ты реагировал?

— Я бы, наверное, его убил или сам застрелился!

— Вот и я тоже. И двумя дураками на свете стало бы меньше. Но не мы сами, а, слава Богу, кто-то за нас, может, сам Бог, решил иначе. Нам, считай, просто необыкновенно повезло, и давай за это еще выпьем!

Эра Аджубея

На столе секретаря главного редактора «Известий», на глянцевом белом листочке лежала, четко выделяясь, черная округлая трубка «вертушки», известной телефонной спецсвязи, которой пользовались лишь высшие партийные и советские руководители. Артур Поднек, помощник главного редактора, показал на нее пальцем и поторопил меня:

— Аджубей там ждет, давно уже, возьми скорей…

Помню, я отдыхал где-то на юге и, купив очередной номер «Известий», был поражен уже его внешним видом. Все сверстано по-новому, как-то здорово, складно, оригинально. Заголовки броские и острые, под статьями подписи известных мне людей, но статьи как будто не ими писаны — интересные, задиристые, и я был удивлен, не зная, что же там, в редакции, произошло. А произошло лишь то, что в газету пришел Аджубей. Да, этот талантливейший редактор сумел изменить лицо издания буквально в один день.

Познакомились мы с ним уже по дороге моей домой, на Алтай, когда я, естественно, заехал в Москву и зашел в редакцию. Он сидел за столом, я с противоположной стороны в кресле, и он, как будто идя по социологической анкете, спрашивал одно, другое, а потом вдруг:

— Выговора имеете?

— Да нет, — говорю, — нигде вроде ничего не записано.

— Как же так: журналист и без выговоров? Значит, не любите конфликтовать? — немного так с усмешечкой.

Я что-то пытался сказать, что это, к сожалению, бывало, но он и не дал толком ответить, просто мимоходом обозначил свое видение позиции журналиста — скорее как критической, чем ангажированной, и начал излагать свое кредо, свой взгляд на газету, какой он ее представляет, какой хочет видеть.

Так он беседовал со многими, чуть ли не с каждым сотрудником, как бы изучая их и одновременно мобилизуя сторонников намечаемых в газете перемен.

— Ты идеализируешь Аджубея, — сказал мне как-то один из бывших известинцев, — ты там, на Алтае и в Ростове, не знал всего, не видел его каждый день и не представляешь, наверное, каким он мог быть самодуром. Он к вам, собкорам, относился как-то иначе, чем к другим, встречались вы редко, он почему-то хотел перед вами хорошо выглядеть.

Может быть, кто-то знает его лучше или иным, чем я, лучше, полнее о нем напишет, но я убежден, что недолгий период

демократизации нашей жизни после XX съезда партии связан не только с именем Хрущева, но и с именем Аджубея. Хотя бы потому, что он совершил переворот в прессе, а что важнее прессы, если речь идет об общественно-политической жизни страны, о таких процессах, как демократизация?

Конечно, все они несли в себе прошлое. И Никита Сергеевич, сумевший многое преодолеть в себе, чтобы выступить на XX съезде с критикой Сталина, по сути — с критикой тоталитаризма, хотя и недостаточно еще аналитичной, половинчатой, сводившейся в основном к личности «вождя народов», не сумел изжить в себе того, что называют «утратой критичности», поддался соблазну собственного культа. Отчего же иначе звезды на груди в количестве, превышающем всякое приличие? Отчего уже очень скоро на совещаниях и в посланиях он позволял окружающим «заверять лично» товарища Никиту Сергеевича Хрущева? Помню, как, услышав это в первый раз из уст министра совхозов Юркина на совещании по сельскому хозяйству в Новосибирске, мы все вздрогнули, весь зал огромного оперного театра. (Кто-то, правда, писал, что Юркин был не первым.)

Мы ждали, что Никита Сергеевич сейчас же «даст» этому министру! Но ничего не произошло. И уже кто-то из быстро ориентирующихся тоже начал «заверять лично».

Нет, нового культа, конечно, не возникло. Помнится разговор с колумбийцем, членом Исполкома ЦК Компартии Колумбии Теодосио Варелой, с которым мы вместе работали в «Проблемах мира…». Мы ехали с ним в поезде из Польши, обсуждая виденное в Гданьске, Гдыне, Эльблонге — центрах рабочих выступлений против коммунистической власти — это было в середине семидесятых. И он вдруг немного с вызовом спросил:

— Почему же у вас так получается, что был один культ, потом другой, потом третий?

Я ответил ему, что это неверное представление. Да, когда был Сталин, был культ личности. Его действительно обожествляли, и когда он умер, люди плакали, стоя у репродукторов, возвестивших о его смерти. И я, помню, написал отчет с завода, с траурного митинга, где были такие слова: «Словно тяжелый стон вырвался из могучей груди завода гудок». Этакая красивость. Ее вычеркнули, потому что уже тогда поступила директива: не нужно подогревать панику, плач в народе по Сталину, мол, партия берет дело в свои надежные руки и т. д. Но мне эти слова казались важными, потому что ситуация ассоциировалась с похоронами Ленина. И хотя редактор ту фразу вычеркнул, я спустился в типографию и восстановил ее своевольно, прямо с наборщиком, за что получил строгий выговор. Ну, а с Хрущевым

уже совсем иное. Не было в общественном сознании его обожествления, он был для нас обычным человеком, про него рассказывали анекдоты, и множество притом. Другое дело, что вокруг него, как вокруг любого властителя, процветали подхалимаж, угодничество, а он оказался неспособным противостоять этому.

— Ну, почему у нас, — сказал Теодосио, — я могу подойти к секретарю ЦК, похлопать по плечу, назвать по имени…

Я со смешком, вроде в шутку, ответил:

— Вот подожди, когда ваша партия станет правящей, а он президентом страны, тогда подойди и похлопай…

Может, я не совсем был прав, у них там все немного иначе, но и вероятность моей ошибки не столь уж велика.

Однако если говорить о Хрущеве, дело не в звездах на груди, не в культе как таковом — все серьезнее: просто переход от абсолютизма, социалистического по форме, феодального по содержанию, к обществу иного типа, мы и теперь еще толком не знаем, какого, совершается чрезвычайно трудно.

После XX съезда КПСС общество долго приходило в себя как после тяжелой операции, когда на душе еще тяжело, еще все болит, но уже и прорезывается радость оттого, что выжил. Только еще нет ясных мыслей, как жить дальше, что делать. Для меня, как и для многих, это время стало, однако, порой прозрения. Еще не полного, все было пока окутано туманом идеологических мифов, в котором мы так долго жили, но все же — прозрения, хотя бы в том смысле, что возникло сомнение в правильности хода вещей, который был привычным, казался естественным. Это еще далеко не сомнение в марксистской и социалистической теории — лишь в конкретных элементах устройства общественной жизни.

Тогда начинался «поиск лучшего». Он еще не базировался на глубоком анализе причин наших неудач, да и неудачи-то не были осознаны толком. Более того, еще ведь не отгремел гром Победы, шло восстановление разрушенного хозяйства, все недостатки объяснялись войной и трудностями восстановительного периода. Система же не подвергалась критике: она же выдержала тяжелейшее испытание, это же мы освободили от фашизма всю Европу. Еще немного усилий и — «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Верили? Нет, что уже к 80-му году, не верили, но вот в то, что будем жить все лучше и лучше, даже можем догнать Америку, раньше или позже, верили очень многие.

Верили даже в Америке. Збигнев Бжезинский в своей книге «План игры», рассматривая отношения СССР и США с точки

зрения неизбежности, предопределенности их противоборства, даже некоего столкновения этих сверхдержав, писал, что в конце 50-х — начале 60-х годов у них, в США, появилось ощущение того, будто Советы дышат им в затылок. Успехи Советского Союза в космосе, в ядерной энергетике, в укреплении военного потенциала были столь впечатляющими, что побуждали американцев беспокоиться о своей конкурентоспособности. Советский Союз, казалось, выходил в число наиболее развитых стран. Однако позднее, пишет Бжезинский, стало ясно, что он остается всего лишь наиболее развитой из слаборазвитых стран. «Коммунистическая система сковала инициативу и энергию талантливого народа».

Но мы тогда, в пору хрущевской оттепели, надеялись на успех. Правда, с продуктами-то было плохо. Село, как нам на Алтае было хорошо видно, то страдало от неурожая, то, при везении с погодой, не могло справиться с уборкой богатых даров природы, теряя до трети их и больше. Как же «добиться подъема»?

Характерными для «поиска лучшего» в то время были, по крайней мере, две вещи: первая — искали чудодейственный рецепт, который помог бы махом решить все проблемы, рецепт единый, универсальный, во всяком случае, столь кардинально подвигавший дело вперед, что оставалось бы подчистить мелочи (отсюда — целина, кукуруза, разные технологические и экономические увлечения, вплоть до знаменитых торфо-перегнойных горшочков); вторая — поиск не столько в сфере содержания, сколько формы, что проявлялось, прежде всего, в области управления: образование совнархозов, раздел партии на промышленную и сельскую, кадровые перетасовки…

Не могу сказать, что эксперименты с управлением были бессмысленными. Хрущев, идя от интуиции, действуя вроде бы без достаточного научного обоснования, неосмысленно, отражал внутреннее ощущение и свое, и многих, что «организующая и направляющая сила» мешает профессиональным действиям специалистов. Организуя совнархозы, он в какой-то мере децентрализовал управление промышленностью и вместе с тем выводил его из-под обкомов КПСС, особенно там, где совнархоз охватывал две- три области и одному обкому подчиняться не мог. Преобразуя управление сельским хозяйством, когда создавались райсельхозуправления, а райкомы партии превращались в парткомы этих органов, он достигал той же цели: специалисты ставились над партийными органами, чаще всего состоявшими тогда из людей недостаточно образованных. Конечно, это касалось только мест, а в центре партийная власть никому не

была отдана, даже и не была ослаблена. Опасность для себя, однако, почувствовали и здесь. Тогда- то и стал консолидироваться «новый класс», формироваться, организовываться, строить бастионы против опасного экспериментатора.

Сознавая всю противоречивость этой фигуры, отдаю Никите Сергеевичу должное. За XX съезд. За непосредственность. Может быть, не вина его, а беда в том, что в перестройке государственной и партийной работы многое делалось не по-научному, а, как мне хочется сказать, «от брюха», не от разума, а от ощущения. Просто и не было еще у нас в то время серьезной науки, которая анализировала бы, к чему мы пришли, строя социализм, что делать дальше. Серьезные ученые были повыбиты, а уцелевшим не удавалось, да и опасно было сказать трезвое слово… Политэкономия повторяла зады сталинской работы «Экономические проблемы социализма». И в философии, и в других науках тоже господствовали догмы, оторванные от жизни, а практика требовала перемен. Не было еще разработано сколько-нибудь солидных концепций экономического, социального, политического развития применительно к реальным условиям того времени.

Конечно, существовали отдельные люди, которые что- то новое несли в себе. Найти их было непросто, а им было непросто пробиться к верхам, так же, как и в другие времена, даже позднее при Горбачеве. Не доказал Никита Сергеевич своей способности опереться на истинных ученых и в некоторых из тех областей, где наши позиции были передовыми. Трудно понять его приверженность тому же

Лысенко, который способствовал уничтожению генетики и великих генетиков.

Все же я думаю, что на Брежнева — и его соратников, разумеется — уже с большим основанием можно возложить вину за то, что наука, ну, скажем, экономическая наука, оказалась в положении «невостребованного письма». Более глубокие уже к тому времени разработки экономистов оказались никому не нужными. Но об этом ниже, а что касается Хрущева, то он, по-моему, сам ощущал под ногами какую-то пустоту.

Могу судить об этом хотя бы по одной встрече. Как-то он приехал на Алтай, в Институт сельского хозяйства, которым тогда руководил Георгий Антонович Наливайко. Не буду подробно рассказывать историю с пропашной системой земледелия, с кукурузой и бобами, которые предлагали сеять вместо трав специалисты, работавшие в этом институте. Вопреки распространенному мнению, я не думаю, что они, выступая

против паров и трав, за то, чтобы возделывать интенсивные культуры, делали это из чисто конъюнктурных соображений, желая угодить Хрущеву. Мне кажется, что они, может быть, в каком-то смысле опередили время, стремясь создать нечто подобное тому, что мы сейчас называем интенсивным земледелием, интенсивными технологиями. Другой вопрос, что они не учитывали реальные возможности хозяйств, скажем, в масштабах применения удобрений, других химических и технических средств, но ведь власти обещали селу так много, обещали и технику, и удобрения. Верилось, что скоро все это пойдет на село потоком. Может быть, они оказались оторванными от жизни, хотя внешние-то атрибуты приближения к ней как раз и понравились Никите Сергеевичу. Я написал тогда в «Известиях» статью «С асфальта — на поля», о том, что институт переселился из города в село. Статья была замечена. И вот Хрущев приехал в институт.

Все собрались в зале. Это был совсем небольшой коллектив. Хрущев вышел перед ним, но не на трибуну, а просто сел за стол и начал говорить примерно так:

— Как же вы меня обрадовали, что поддержали меня, как же обрадовали, что приблизились к земле и занялись по-настоящему кукурузой и бобами.

Не помню точно, что он далее говорил, но смысл был именно таков: они, эти специалисты, соответствовали в своих действиях духу Хрущева, духу поисков неординарных мер для того, чтобы немедленно двинуть вперед сельское хозяйство.

Конечно, был авантюризм и у Хрущева, и у этих ученых, и у нас, журналистов, кто их поддерживал, но мне кажется, по крайней мере, не у всех это ограничивалось желанием угодить правящим, заработать тем самым какие-то очки, хотя, безусловно, грело внимание первого человека в партии и государстве. Мне кажется, превалировало искреннее желание добиться результатов быстро, так же, как и у Хрущева. Скажите, а кто не страдал этим, особенно в условиях, когда народ нетерпеливо ожидает быстрых перемен к лучшему?

И Аджубей нес в себе прошлое, и он не имел достаточно четкой концепции, ясных представлений о перспективах развития нашего общества, но он сделал ставку на интеллигенцию, стремился к демократизации, заботился, чтобы газета писала о наболевшем, о том, о чем раньше молчала. Он настойчиво убеждал и журналистов, и партийных работников, что газета должна быть, по крайней мере, интересной, иначе ее не будут выписывать, покупать, читать. И самые умные мысли, высказанные в скучной газете, не дойдут до людей. Скучная

газета просто бессмысленна. Она должна быть ***умным собеседником,*** причем не навязчивым, а размышляющим, только тогда читатель станет ей доверять, прислушиваться к ее мнению и к мнениям ее авторов, размышлять вместе с ними. «Собеседник» — это, по- моему, ключевое слово в той концепции издания, которая формировалась Аджубеем. Это был подход, отличавшийся от навязшей в зубах формулы «коллективный пропагандист, агитатор, организатор», а печать «самое острое оружие нашей партии».

Замечу, что, примерно, в конце 90-х, газеты стали, утрачивать это качество — собеседника. Читал их, смотрел телевизор, и у меня все усиливалось впечатление, что опять передо мной штатный пропагандист, навязывающий свою точку зрения. Отчего оно, это впечатление? Вроде бы шли дискуссии, присутствовали в прессе самые разные взгляды… Оттого, что передо мной выступали обозреватели, комментаторы, корреспонденты, и почти не было читательских мнений, писем, разве что жиденькие подборочки. Даже авторских статей в какой-то момент практически не стало. Однажды подсчитал в «Известиях» «свои» и «авторские», оказалось 29:2. Это же просто самоизоляция от читателей! Это монолог, а не диалог с читателем. Он аранжирован многообразием голосов профессионалов, часто талантливых, индивидуально звучащих, но все же это монолог газеты. Впечатление усиливалось ангажированностью изданий, те индивидуальные голоса звучали в унисон. Читателям теперь позволялось, главным образом, задавать вопросы, на которые отвечали опять-таки тоном лектора, хорошо еще, если специалиста, а порой ответы были поверхностные, даже глумливые. Я говорю не только об «Известиях» — о печати в целом.

В аджубеевских «Известиях» формировался культ письма. Около сотни рубрик, как мы однажды подсчитали, были придуманы для того, чтобы лучше подавать письма. Дело не в том, что их печатали много: они служили как бы базой, основой, на которой формировалась тематика газеты, поднимались проблемы, действительно волновавшие людей, оттого тираж газеты и вырос за аджубеевские годы, как мне помнится, с 400 тысяч до 9 миллионов! Сами письма стремились печатать в первозданном виде, со всеми их «непричесанностями». Секретариат нередко возвращал в отдел подготовленное к печати письмо с краткой резолюцией: «Заправлено», то есть и мысль, и язык автора искажены правкой…

«Известия» становились все критичнее, задиристее. Впервые начали выступать в защиту несправедливо осужденных…

В повседневном поведении Аджубей мог быть порой капризен, резок до бестактности. Я видел не раз, как он вдруг поддавался чувству крайнего раздражения. В мгновение стекленели и наливались кровью его глаза, что-то такое в нем вспыхивало, не злость даже — ярость… И при этом холодный, внешне спокойный тон… Иногда и срывался, кричал, но с этим тоже все не так просто…

Однажды исполняющий обязанности заведующего сельхозотделом Николай Григорьевич Грызлов позвонил мне в Ростов. (Я начал работать там в 1963 году, после того, как одна моя проблемная статья была замечена Хрущевым и получила официальное одобрение. Специальное постановление Секретариата ЦК «О статье в газете «Известия» — почти уникальное явление — порадовало Аджубея и, рискну сказать, вызвало восторг в редакции. Ростов, где собирались создать крупный северокавказский корпункт, мне предложили как бы в награду). Николай Григорьевич сообщил, что есть срочное задание главного редактора: нужно быстро сделать и завтра привезти в редакцию статью директора совхоза или председателя колхоза о применении удобрений. В то время начиналась, как говорили, «химизация сельского хозяйства», очередная кампания, и нужно было дать статью, в которой бы подвергалась критике неготовность села принять большое количество удобрений. Я тут же сорвался в дорогу, в Сальские степи, искать по полям и токам своего старого знакомого Чепеля, директора совхоза, Героя социалистического труда. В сорокаградусную жарищу, задыхаясь от пыли, разыскивал его по бригадам, нашел, и мы уже вместе продолжали мотаться по раскаленной степи, потому что дела он не мог отложить. Некогда было ему садиться и сочинять статью. Мы разговаривали о том, что нужно написать, я делал пометки в блокноте. Естественно, что так можно работать лишь с человеком, который тебе доверяет, уверен, что не переврешь его мысли.

Замечу уж, кстати, что некоторых авторов мы таким образом здорово избаловали. Помнится, на Алтае был у нас один замечательный дед, Герой социалистического труда Григорий Илларионович Щербинин. Землю знал и чувствовал поразительно. От него я научился, как на ощупь определить готовность почвы к севу: сжать в комок и шлепнуть об землю — шмякнется тяжело, единой плюхой

— не поспела еще почва к приему зерна, а рассыплется в пыль — сеять уже поздно… Определить температуру легче всего, сняв штаны и сев на землю «пятой точкой» — самым чувствительным местом… Можете представить себе, как все это было интересно для горожанина. Щербинин приходил к нам с

тетрадкой, в которой записывал наблюдения за природой, за посевами и рассказывал что-нибудь интересное и полезное, что могло послужить советом для многих земледельцев. Мы хватались за бумагу, оформляли все это в статью и печатали за его подписью. Порой его визит к нам начинался так: только заходит, здоровается и уже с порога:

— Золотце, гонораш-то будет?

— Ларионыч, какой гонораш? Ты же ничего не писал!

— Я и на радиво не писал, а пришел — мне ребята гонораш дали.

Тогда совсем не было принято, чтобы автор делился гонораром с журналистом. Ни копейки не взял я даже у человека, по рассказу которого сделал его книгу. Мы считали так: нам платят зарплату, а вот автора надо всячески стимулировать. Не берусь судить, чья позиция правильнее — наша того времени или нынешняя, скажем, известного журналиста Невзорова, который даже с коллеги-журналистки из Финляндии взял крупную сумму за свое интервью. Просто мы разные, даже и сейчас.

Вернувшись из поездки к Чепелю в Ростов, я успел только немножко отмыться от грязи, от пыли, от пота и тут же сел в поезд. В тряском вагоне, на постоянно уезжающем из под локтей столике за ночь написал статью. Утром она лежала на столе и.о. редактора отдела. Материал ему понравился, он сдал его в набор. Но позже, во второй половине дня, вдруг вернулся к себе в кабинет, где я сидел, и сказал, что ответственный секретарь Остроумов недоволен статьей: как-то она не так написана. Они поспорили, почти поссорились, и вот нужна моя поддержка. Я пошел к «ответсеку», мы с ним тоже поругались и, в конце концов, все вместе, втроем отправились к Аджубею, как к судье. Знаете, не часто бывало в наше время в крупных редакциях, чтобы корреспондент, заведующий отделом и ответственный секретарь вот так вот пошли, как к арбитру, к главному редактору разбираться, хороша ли статья. Надо верить в него и знать, что он не воспримет это как мелочь, не отмахнется, а будет всерьез пытаться рассудить спорящих.

Аджубей быстро прочел статью и сказал:

— Мне нравится.

— Вы же, Алексей Иванович, говорили, — заметил Остроумов, — что, может быть, лучше сделать не статью, а что-то вроде обращения директора совхоза к другим руководителям. Чтобы это была не просто критика, а конструктивный материал…

Аджубей вдруг ухватился за это: да, в самом деле, так было бы интереснее — не просто критика, а обращение. Тогда можно дать его на первой полосе, на открытие, «чердаком» — начал он

фантазировать.

Я же, уставший уже до чертиков, хмуро возразил, что надо было тогда и заказывать обращение — по тону, по стилю совсем другой материал. Мне же была заказана критическая статья.

Аджубей немного завелся, мол, что спорить, это же пустяковое дело — переделать. Тут же вызвал стенографистку и начал ей диктовать этак немножко нараспев: вот, мол, плохо родит поле, одна там глина, но внесут удобрения и… Посмотрит земледелец, а это уже не глина — чистый чернозем. Фраза эта запомнилась мне буквально.

Грызлов, который тоже был недоволен поворотом событий, мрачно буркнул:

— Ничего не будет чернозем. Так не бывает.

Аджубей рявкнул на него:

— А вы молчите! Непонятно что ли, что даю общий настрой!

И продолжал диктовать, причем все время приговаривал: «Вот так, Саша!» Скажет фразу напевную и опять:

— Вот так надо, вот так, Саша! Хоть вы и аграрник, но, знаете, иногда надо и форму придать…

Я очень рассердился, тем более что устал здорово, проголодался, а уже был вечер (скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается). Говорю, что нараспев я тоже могу, но если делать письмо-обращение, которое включало бы и критику, одним распевом тут не возьмешь.

— Как хотите, но материал сегодня же должен быть сдан в набор, — сказано было уже резко.

Николай Григорьевич засуетился: давай скорее делать, ведь статья же в номер пойдет.

— Знаешь что, — говорю мрачно, — я хочу есть. Где тут буфет?

Он позвонил в буфет для членов редколлегии, который в это время только и был открыт, я набрал там колбасы, молока, батон белого и снова спустился в отдел со всем этим богатством. Грызлов, смотрю, еще более взвинчен.

— Ты где-то там болтаешься, а тут Аджубей два раза уже приходил, тебя спрашивал.

— Я, — говорю, — хочу есть и, пока не поем, ничего делать не буду.

Сел за стол и начал уминать батон с молоком и колбасой.

Сидел как раз напротив открытой двери, и вдруг вижу — по коридору быстрым шагом летит Аджубей. Увидел меня жующим, усмехнулся и свернул в первую попавшуюся дверь. Я продолжал жевать, но понял, что он явно идет сюда. И через некоторое время он действительно появился.

— Вы извините, что я помешал вам, вы, наверное, не обедали…

— Даже не завтракал.

— Но материал, Саша, действительно нужен в номер. Я предлагаю сделать так: вы будете здесь работать, а я сяду в соседней комнате, вы станете давать статью по страничкам, и будем засылать их в набор. Так у нас дело пойдет быстро.

— Мне это неудобно, — возразил я.

— Ну, почему же?

— А потому, что я буду волноваться: сидит рядом главный редактор и ждет каждой моей странички. Я плохо сделаю эту статью. По-моему, можно все как-то попроще и поспокойнее…

Он задумался на секунду:

— Да, вы, пожалуй, правы. Я вас понимаю. Давайте по-другому: я пойду сейчас в соседний кабинет, и мы с вами оба будем писать — каждый по-своему. Вы иронизировали над напевностью, а я сделаю так, как я представляю себе это обращение. Только одно условие: я буду иногда к вам заходить, спрашивать конкретные вещи — вы прекрасно понимаете, что я не аграрник — ну, а вы ко мне не приходите, не мешайте, я все-таки в невыгодных условиях в этом соревновании.

И на мой недоуменный взгляд:

— Да, я вас вызываю на соревнование, кто сделает быстрее и лучше. Давайте договоримся так… Сейчас сколько?

— Знаете, — говорю, — Алексей Иванович, вы, наверное, тоже проголодались, дома вас ждут, мы как-нибудь сами управимся.

— А у вас молоко осталось?

— Немножко, — показываю на пакет.

— Мне достаточно. И батон у вас остался? Может быть, вы со мной поделитесь?

Я говорю — поделюсь, но воспринимаю все это не очень всерьез, еще и ведет он себя как-то неестественно, картинно. Артист ведь, в театральном учился, помнится, вместе с Аллой Демидовой, в кино снимался. И все-таки такая мысль: «Ну ладно, раз ты со мной хочешь соревноваться, — давай! Я тебе покажу, что ты ни черта не понимаешь в сельском хозяйстве, во-первых, а, во-вторых, напишу я побыстрее тебя, потому что для меня это вопрос не такой уж большой переделки».

Времени было около одиннадцати (вечера, конечно), договорились закончить статью к часу ночи. Поднялась тут суматоха и паника: вызвали уборщицу, срочно подмели соседний кабинет… И началась работа, «соревнование». Аджубей два раза приходил ко мне, спрашивал какую-то нелепицу и снова убегал к

себе. Тут же рядом, между нашими кабинетами, курсировал помощник главного Артур Поднек. Без пятнадцати час довольно спокойно заканчиваю статью. Думаю: сейчас я тебе покажу, соревнователь, ты, наверное, там еще и половину не сделал. Приклеил последнюю какую-то вставку и говорю Поднеку:

— Ну, Артур, где твой соревнователь, я все закончил.

Он отвечает:

— А соревнователь не велел тебе говорить, но он пятнадцать минут назад на цыпочках мимо тебя сбежал.

Дело в том, что я сидел напротив открытой двери, и когда он выходил в коридор, я должен был его видеть. Вот он, говорит Поднек, так воровато огляделся и на цыпочках, пока ты не заметил, смылся: наверное, уже дома.

— Так что же он там делал?

— Да ничего не делал. Попросил водочки, закусочки… Объяснил, что ты, мол, видно, расстроен тем разговором, да и устал, а материал действительно нужно сделать с настроением. Он тебя просто решил «завести». Больше, собственно, за этим ничего и не стояло. Потом, говорит, будет рассказывать, как соревновался с Аджубеем и победил.

Утром на планерке Алексей Иванович объявил:

— На открытие первой полосы ставим выступление директора совхоза из Ростовской области. Надо хорошо, крупно дать. Материал хорош!

И подмигнул мне заговорщически: знаем, мол, как досталось, и все понимаем.

Такая вот история. Теперь, описав ее, я задумываюсь: говорит ли она читателю все за себя? Понятно ли, зачем этот человек, блистательный журналист и влиятельный политик, стоящий высоко на иерархической лестнице, вдруг как бы заигрывает со своим подчиненным? Зачем ему, уставшему, конечно, за сумасшедший, как всегда, у редактора день, сидеть на работе лишних два часа, бегать по этажам, разыгрывать всю эту сцену, «соревноваться», пижонить даже с тем же молоком — ради чего все это? Хотел заранее прочесть материал, в котором не был уверен, но появление которого именно завтра кому-то уже пообещал? Да нет же, он его вечером-то так и не прочел! Единственное, что им двигало — стремление снять возникшую у нас напряженность, по-своему извиниться за резкость, поднять настроение корреспонденту, который профессионально выполнил работу, но теперь, уставший и обидевшийся, должен еще что-то переделывать… То, как Аджубей поступил, нельзя объяснить каким-либо расчетом, просто у него проявилась некая внутренняя потребность, может быть, импульсивное побуждение, но

продиктованное внутренними этическими нормами… Вот и судите о нем, как хотите, если даже знаете совсем иного толка примеры его поведения.

И еще: он очень ценил профессионализм в работе и глубоко понимал — скажу чуть высокопарно — журналистскую душу. Об этом — другая история, относящаяся еще ко времени моей работы на Алтае.

Как мы ограбили семью будущего космонавта-2

— Вторым космонавтом станет Герман Титов, — сообщил Коля Штанько. Он приехал ко мне в Барнаул, чтобы мы вместе нашли семью будущего героя космоса и написали о ней для «Известий». Говорил, что узнал эту новость от врача космонавтов, с которым случайно познакомился, что это, конечно, очень строгий секрет. Тогда я поверил: ведь все секретили по-страшному, мы не знали тогда Королева, упоминался только безымянный «Главный конструктор», упоминался и «Главный теоретик», оказавшийся впоследствии Келдышем, Президентом Академии наук СССР. Но теперь я думаю, что Штанько получил эти сведения от Аджубея, только это вот и было самым большим секретом.

Коля сказал, что ему известны лишь некоторые отрывочные сведения. Космонавт из военных летчиков, отца зовут Степан Павлович, сестренку Германа — Земфира. Отец назвал их в честь литературных героев, потому что сам он учитель русского языка и литературы, а происходят они все из коммуны «Майское утро», которая была где-то на Алтае. Вот единственная зацепка, от которой можно начинать поиск.

Найти, где была эта коммуна, для меня не составляло труда. И вот в дождливый июньский день мы уже сидим в просторном кабинете председателя сельсовета Александра Николаевича Хорохордина в селе Верхнее Жилино, что по-старому иногда еще называют Журавлихой. Расспрашиваем председателя о культурной жизни села, о том, какое участие в ней принимает местная интеллигенция — чтобы как-то выйти на Степана Павловича Титова. До этого уже просмотрели кучу регистрационных книг, в которых Титовых больше 20 семей, но ни одна не подходит нам ни по одному из названных признаков. Имен совпадающих нет, ни у кого сын не служит в летчиках. А ведь и намекнуть толком не можем на то, кого ищем. Пошли по такому пути — начали опрашивать местных старожилов, интересуемся, мол, историей села. Коля сидит в одном углу с одним человеком, я — в другом, с другим человеком и — ничего! Хотя человек 20 уже опросили, задавая всякие дурацкие вопросы. Правда, много узнали про коммуну, а также про Адриана Митрофановича Топорова, который в Народном доме коммуны 8 лет читал крестьянам произведения мировой литературы, а потом записывал их суждения. В итоге издал поистине уникальную

книгу «Крестьяне о писателях».

Но вот ко мне подсел колхозный кузнец Павел Степанович Блинов, бессменный депутат сельского Совета с 1929 года. Что-то рассказывает, я слушаю вполуха, поглядываю на Штанько, а тот только отрицательно покачивает головой: мол, ничего нужного нам нет. А времени-то уже часов пять! И вдруг мой кузнец говорит:

— А насчет интеллигенции — у нас тут такие учителя были в самом начале советской власти! Адриан Митрофанович Топоров, Степан Павлович Титов — ученик его, однокашник мой. Вместе в первый класс бегали. Потом отец забрал его в коммуну «Майское утро». Тут тебе и музыка, и театр, и книги читали всем миром. Сейчас Степан на пенсии, но работает садоводом в совхозе «Луч Октября».

Я аж подскочил:

— А где этот совхоз? Где Степан Павлович живет-то?

— В Полковниково, это километров 20 отсюда…

Я просигналил Штанько, мол, есть нечто, срочно сматываем удочки. И вот уже мы на своем газике с матерым нашим шофером Сергеем Михайловичем лихо ковыляем по разъезженной грязнущей колее — дождь же — чтобы приехать в Полковниково хотя бы не ночью. Добрались часам к 10 вечера. Стучим, хотя для деревни это уже очень позднее время. Открыла женщина лет пятидесяти, впустила в дом, когда мы сказали, что ищем Титовых. На диване лежал суховатый светловолосый мужчина, закинув руки за голову. Женщина сказала, что Степан Павлович приболел. Но он приподнялся и сел. Мы представились, предъявив известинские удостоверения, подписанные, кстати, Аджубеем. Сказали, желая как-то втянуть в беседу Степана Павловича, что интересуемся историей коммуны «Майское утро» и особенно — Адрианом Митрофановичем Топоровым. Не представляли тогда, что именно последнее вызовет у хозяина беспокойство: Топоров к тому времени уже отсидел, кажется, 16 лет, а Степана Павловича по его делу не раз таскали в органы, он и из коммуны-то уехал подальше по этой, собственно, причине. Так неуклюже как-то начиналось наше знакомство.

Однако прожили мы в этом гостеприимном доме целых три дня. Каждый день с утра начинали беседы со Степаном Павловичем. Он потихоньку разговорился и много рассказал о прошлом, что и вошло потом в документальную повесть «Отчий дом», опубликованную в трех номерах «Известий», а также в изданную позднее более солидную книжицу «Ветвь сибирского кедра». Александра Михайловна, добрейшей души человек, кормила нас жареным ливером, который был отменно хорош. Мы

бегали в магазин за бутылочкой водки. Степан Павлович почти не пил, но все же пригублял, и беседы становились как- то теплее. По нашей просьбе даже сыграл на баяне и тихонько спел сочиненные им песни, очень лиричные. Рассматривали семейные фотоальбомы, и вот тут у нас были некоторые возможности расспросить нечто про Германа. С этими расспросами мы были очень осторожны, и все-таки узнали о нем немало интересного.

Альбом фотографий не давал нам покоя: столько там было интересных снимков! Герман, еще малыш, года три, управляет лошадью, а гордый отец развалился на телеге, как бы полностью доверяя сыну. Герман учится играть на гармошке. Герман с друзьями по летному училищу изображают что-то смешное, то есть каждый изображает что-то свое по неожиданной общей команде… Но попросить дать нам именно эти фотографии мы, разумеется, не могли. Что оставалось делать?

В последнюю ночь мы попросту ограбили наших гостеприимных хозяев. Точнее — обобрали этот альбом. Один из нас стоял «на шухере», а другой вытаскивал фотографии. Прихватили и ноты двух песен Степана Павловича.

Когда мы уехали, Степан Павлович зашел к соседу и рассказал про наш визит. Сказал, что гости предъявили удостоверения журналистов с подписью Аджубея. Но вот гложут его сомнения. Мол, расспрашивали больше всего про Топорова

— может, это опять кагэбисты? И еще — про Германа, который служит, судя по письмам, в какой-то особой части. Так, может, это шпионы, цэрэушники? Но удостоверения вроде солидные.

— Что удостоверения! — возразил сосед. — Хоть гэбисты, хоть цэрэушники любое удостоверение состряпают, даже с подписью самого товарища Сталина!

Степан Павлович еще не знал тогда, что мы альбом с портретами Германа очистили основательно, а то еще бы больше волновался. Признались мы в этом и повинились, только гуляя по Пушкинской площади, когда уже встретили родителей космонавта, прилетевших на торжественную встречу Германа Степановича в Москве. И были прощены, потому что все те фотографии были опубликованы в нашей газете.

А потом я повез Степана Павловича в радиокомитет, не сказав толком — зачем. Его там, конечно, встретили очень радушно. Пригласили в небольшую, но битком набитую любопытными радиожурналистами комнату, где стояли огромные колонки, усадили нас рядышком и сказали, что сейчас послушаем одну песню. Он не представлял — какую. Врубили музыку, и зазвучала его Алтайская лирическая:

Гаснет в небе заря золотая,
Тихий вечер ложится вокруг.
В этот час на далеком Алтае
О тебе вспоминаю мой друг.

Исполняли ее две известные певицы и трио баянистов, хорошо знакомое ему, любителю музыки. Получилось мощно, раскатисто, красиво! Степан Павлович встрепенулся, кричит: дайте мои ноты! Дали. Он впился в них глазами и так просидел до конца исполнения. А потом вскочил, возбужденный, жмет всем руки: Спасибо, спасибо!

Эта песня была написана на стихи учителя Александра Фомича Кулика. Но Степан Павлович, как говорил, сам «баловался стихами», и, мне кажется, часто они получались отнюдь не заурядными. Вот, например, эти:

Белопенный кружит,
Вызмеясь, ручей.
И лопочет лужа,
Пляской пузырей.

Когда мы уже выходили из радиокомитета, я спросил немножко ехидненько, чего это, мол, вы за ноты вдруг схватились? Он объяснил, что думал: исправили там, наверное, что-нибудь. Дескать, неудобно корявую музыку отца космонавта исполнять, вот и приукрасили. А когда убедился, что нет-таки, что все до ноточки, как у него было, успокоился и обрадовался.

— Ну, а вторую песню слушайте на Алтайском радио! — сказал я в завершение.

Наше воровство было окончательно прощено.

Он был страстный человек

Когда Герман Титов полетел в космос и в «Известиях» появилась документальная повесть «Отчий дом», нам с Николаем Штанько тут же предложили сделать книгу для издательства «Советская Россия». Сложность состояла в том, что я жил на Алтае, а Штанько в Москве. Решили вместе пойти в отпуск и поехать в Пахру, в известинский дом отдыха, чтобы там вместе работать. Но нас в отпуск не пустили, сказав, что корреспондент по Алтаю должен быть на месте, в крае, потому что там как раз идет уборка урожая. Когда на уровне заместителей главного редактора мы ничего не добились, пошли к Аджубею. Понимали, что можем быть биты, как тогда говорили в «Известиях», «мордой об стол» или хуже — «мордой о паркет». Две градации разноса. Но это ведь уже последняя надежда.

Постучали. Войдя, стали неловко у двери и не успели ничего сказать, как Алексей Иванович спрашивает:

— Наверное, заявление на отпуск принесли?

Мы опешили:

— Кто вам сказал?

— Почему «сказал»? У вас в руках такой богатый материал, золотая жила… Книжку надо делать!

Мы, говорим, хотели в отпуск, но нас не пускают: уборка на Алтае! Вот и тут глаза Аджубея вдруг зажглись яростью:

— Не пускают? Подайте мне заявление!

На редколлегии он устроил целый спектакль.

В конце заседания, словно спохватившись по поводу чего-то забытого, остановил уже вставáвших членов редколлегии: «Да, у нас тут есть еще заявление с просьбой об отпуске». Спросил, каковы будут мнения. Редактор сельхозотдела Пётр Алексеевич Анчихоров с возмущением заговорил о несвоевременности моего отпуска, когда на Алтае такая горячая пора. Аджубей вдруг резко прервал его:

— Петр Алексеевич! Мы на уборку комбайны из Краснодара в Сибирь перебрасываем, а человека послать не можем?

Анчихоров молчал. Повисла пауза. И после нее:

— Петр Алексеевич, а вы сами не поехали бы на Алтай? Ведь собирались туда уже не раз, а никак не соберетесь. Вот как раз повод край посмотреть, целину, и в собкоровской шкуре побывать!

Петр Алексеевич, покраснев, уткнулся в стол, а главный повторил: какие, мол, есть еще мнения? Но члены редколлегии тоже стали возмущаться чьим-то бездушием. Все, оказывается,

были «за».

Многие говорят, что Аджубей прекрасный очеркист. Не в этом дело. Я ценю его как профессионала-редактора, умевшего зажечь многих, буквально забросать интересными идеями, подвигнуть на то, чтобы человек сделал больше даже, чем обычно может. Вот в этом он был настоящим талантом.

…Черная трубка «вертушки» выделялась на глянцево белом листе бумаги, и я взял ее. А предшествовали тому такие события.

Это было уже в пору, когда заведующим сельхозотделом в «Известиях» стал Геннадий Лисичкин, тот самый Лисичкин, с которым судьба свела меня надолго. Позднее мне предъявят как одно из самых серьезных обвинений: «он друг Лисичкина», я же буду этим гордиться.

А тогда мы с Геннадием Степановичем только что познакомились. Ему понравилась моя корреспонденция «Поднять или приподнять?», в которой я издевался над составлением списков отстающих хозяйств — была такая очередная кампания, связанная с поиском средств спасения сельского хозяйства. Все стремились в эти списки попасть, потому что отстающим списывали долги и давали новые кредиты. Но финансовые инъекции не приносили результата, потому что не менялась заведомо убыточная структура производства. Заголовок — от поговорки: «приподнять да шлепнуть».

Лисичкин и предложил мне поехать в Харьков, сделать вместе с Мишей Буренковым, корреспондентом в Харькове, сравнение двух районов со сходными природными условиями, но сильно различающихся по экономическим показателям, разобраться в причинах этих различий.

Такие сравнения были модны. В свое время в «Алтайской правде» мы штамповали их день за днем. Там дело доходило черт те до чего. Поехать каждый раз в два района было некому, и мы делали материал по телефону — звонили одному секретарю райкома, потом — другому и, поговорив, писали статью. Конечно, это было издевательством над людьми, которые трудились в поте лица своего. Но и мы трудились в поте лица, считая, что это норма: если район отстает, то мы вправе его критиковать «со всей остротой». А, в общем-то, разбираться в причинах было не так уж сложно, потому что мы знали «наизусть» все эти районы. Знали и людей, знали и стиль их работы, имели полные данные и, скажем, об оснащенности техникой. Так что и профанация присутствовала, но и не так уж, чтобы все было липой.

Теперь тоже предпринималась попытка сравнения, только, конечно, на более серьезной основе.

Тот район, который отставал по экономическим показателям,

мы основательно изучили и пришли к выводу, что очень многое зависит от бестолкового администрирования и просто неумного руководства хозяйствами со стороны районного производственного управления. В то время, когда Никита Сергеевич разделил партию на сельскую и промышленную, эти управления играли очень большую роль, и начальник такого учреждения был достаточно крупной фигурой. К тому же в нашем случае он был Героем социалистического труда.

Мы разговаривали с ним, пытаясь откровенно высказать и тем самым проверить свои впечатления о руководстве районом, но он вел себя, я бы сказал, откровенно нахально, отвечал на наши рассуждения просто грубо. Интуиция подсказывала, что это неспроста, что этот человек будет на нас куда-то жаловаться. Подсказала и практический шаг. Я зашел к начальнику отдела кадров этого управления побеседовать, а в результате получил справку, где и как работал раньше наш герой. Биография оказалась довольно примечательной: он был секретарем райкома партии, район получил высокий урожай, за это ему и присвоили звание Героя. Он стал подниматься по служебной лестнице. Дошел до уровня второго секретаря обкома партии. Однако за какие- то крупные грехи (теперь уже не помню, в чем они заключались, что-то там присутствовало непорядочное) был с этой должности снят. Опустился «в низы», хотя и руководящие. Позже, однако, опять стал подниматься, да так, будто некая мощная рука тянула его вверх. Дошел до уровня заместителя председателя облисполкома, но и в этом качестве попал в некрасивую историю — нечистоплотность и корысть в распоряжении государственным имуществом. Снова был снят и… снова вскоре ходил в начальниках и героях.

Заведующий отделом кадров составил весь этот его послужной список, причем, как мне показалось, не без удовольствия, поставил свою подпись и печать. В нашей корреспонденции эта справка не была использована.

Материалы сравнительного анализа районов напечатали, и я готов был ехать обратно в Ростов. Собрал в гостинице свой чемоданчик, запер номер, иду по коридору. Навстречу бежит дежурная по этажу:

— Вас срочно вызывают в редакцию «Известий».

Нас, собкоров, хорошо здесь знали, поскольку мы постоянно жили в этой гостинице. Естественно, я заторопился в редакцию, тем более что надо было торопиться и на поезд. Вызванный лифт что-то долго не подходил, и я пошел пешком по этажам. По дороге буквально каждая дежурная этажа останавливала меня и говорила:

— Звонили из редакции, вам надо срочно приехать, нам сказали, что если вы уже ушли из номера, то надо поймать вас по дороге…

И я понял, что случилось нечто необычное. Вышел из гостиницы, схватил такси, приехал в редакцию… И только вошел в подъезд — слышу сверху, с шестого этажа, голос Артура Поднека:

— Скорее, скорее, Аджубей ждет.

И тоже интуиция сработала. Наверное, я уже много о ней говорю, но действительно есть какое-то особое чувство, и не только у журналистов, но у них-то точно — чувство опасности, ощущение того, что сейчас нечто случится, и ты спешишь собраться и довооружиться к этому моменту. Как-то не очень думая, что именно может произойти, с чем связан вызов, я все же поехал не сразу на шестой этаж — к главному, а на пятый, где находился кабинет заведующей корреспондентской сетью Лидии Ивановны Буданцевой. Там я перед отъездом оставил ту самую справку отдела кадров о герое нашей корреспонденции. Забежал в кабинет, порылся на полке, нашел ее, положил в карман и пошел к Аджубею.

Как оказалось, его на месте не было, он просто звонил по телефону, и эта вот черная трубка на белом листе бумаги так мне запомнилась…

Он ждал где-то на другом конце провода и, зная его характер, я понимал, что ждал с большим нетерпением. А в приемной сидело несколько человек — члены редколлегии, работники секретариата, и смотрели они на меня как-то печально что ли, как смотрят на больного или обреченного даже человека. По меньшей мере, как на того, кому сейчас предстоит нечто крайне неприятное. Но я не успел даже насторожиться — это было скорее мимолетное впечатление, осознанное позднее. Взял трубку и услышал голос Аджубея:

— Саша, здравствуйте. Вас, как мне сказали, сняли с поезда.

Он говорил подчеркнуто ровно, как говорят, стараясь кому-то продемонстрировать спокойствие и уверенность, и ты понимаешь, что все обстоит совсем иначе, даже — наоборот, то есть и спокойствия и уверенности в помине нет.

Я ответил в тон, мол, наверное, это было необходимо. Он спросил:

— Скажите, пожалуйста, вы знали, что тот человек в Харькове, начальник производственного управления — Герой социалистического труда, заслуженный руководитель, крупный специалист?

— Да, я знал, что он Герой труда.

— Но, — спросил Аджубей, — вам не кажется, что вы обошлись с ним не совсем справедливо, критикуя за администрирование, за негодный стиль работы? Может быть, это недостаточно обоснованно?

— Как он стал Героем, я знаю: его район получил высокий урожай, и его представили к награде. По моим представлениям, это отнюдь не всегда убедительная характеристика для секретаря райкома партии, не доказательство, что он хороший руководитель. И не всех ведь представили «к Герою», у кого был в тот щедрый год хороший урожай. Тем более это не индульгенция на всю оставшуюся жизнь. Не буду говорить, что это за человек, а просто прочитаю вам один документ.

Достал из кармана и стал подробнейшим образом читать ту самую справку из отдела кадров. Надо сказать, это был впечатляющий материал: уж очень видна была не просто несостоятельность, а даже непорядочность нашего героя и незакономерность его многократных восхождений по карьерной лестнице. Завершил я свое телефонное выступление такой фразой:

— Справка подписана начальником отдела кадров управления и заверена печатью.

Пока я читал, по мере того, как становилось ясно, что же за личность тут вырисовывается, коллеги мои, сидевшие в приемной, начали исполнять вокруг меня какой-то дикарский танец, прихлопывая и притопывая, правда беззвучно. Выходит, мелькнуло в голове, то, что я делаю сейчас, по крайней мере, одобряется, а может быть, вообще даже все обстоит великолепно.

Алексей Иванович, выслушав внимательно, сказал:

— Хорошо, Саша, я прошу вас прочесть этот документ еще раз.

Прочел. Мне представилось, что он записывается на пленку. После этого Аджубей подвел итог:

— Хорошо, Саша, спокойно поезжайте в Ростов.

Я положил трубку и спросил окружающих: ну, объясните же мне, почему вы сначала меня хоронили, а теперь исполняете тут африканские танцы?

Никто еще не успел ответить — снова раздался телефонный звонок, тот же аппарат. Я автоматически взял трубку, опять Аджубей, но тон совсем другой: дайте мне быстро Поднека. Они коротко поговорили, Поднек положил трубку и сказал, что Алексей Иванович позвонил уже из другой комнаты. Говорит — никакого Ростова, все более-менее неплохо, не волнуйтесь особенно, но пусть Волков едет снова в Харьков. Пусть сядет у Буренкова дома, в городе не показывается, а Миша поит его

коньяком и собирает дополнительные факты, какие только можно собрать по этой истории.

Замечание насчет коньяка говорило, конечно, о характере человека, способного шутить и в напряженной ситуации, а вместе с тем и о том, что напряжение спадает. Шеф пообещал позвонить до отъезда еще раз, в понедельник.

А дело было в субботу. Я снова возмутился: что же все- таки происходит? И мне рассказали, что во время обеда у Никиты Сергеевича на даче, из тех обедов, которые практически превращались в заседания Политбюро, Николай Викторович Подгорный вдруг выступил с критикой в адрес «Известий». Сказал, что газета напечатала ошибочную статью, в которой оболган очень хороший человек, очень опытный руководитель, Герой социалистического труда. Ему, Подгорному, позвонили из Харьковского обкома партии и высказали свое возмущение этим фактом.

Позднее мне объяснили: человек, которого мы критиковали, был личным другом Подгорного или, не знаю там, приятелем, протеже, и этим объяснялись его взлеты даже после оглушительных падений.

Конечно же, такое обвинение в адрес редакции более чем серьезно. Момент для Аджубея был крайне неприятным. И он, естественно, не мог поступить иначе, кроме как заверить, что немедленно разберется с этим, немедленно затребует объяснения корреспондентов. Вот оттуда же, прямо с дачи, как я понимаю, он и звонил, разыскивая меня. И надо сказать, удачно — прежде всего, для меня удачно, а, может, в какой-то мере и для себя, хотя ему, уж прямо скажем, было попроще все-таки — он «поймал» меня до отъезда на вокзал.

Анализируя всю ситуацию тут же, в приемной, коллеги мои говорили, что, конечно, прочтенная мною справка не может не произвести впечатления, она убедительна, но как повернется дело, как будет развиваться вся эта история, никто не решится прогнозировать. Ну, и с тем, наверное, чтобы я сам над этим не очень думал, меня повезли за город.

Мы поехали на дачу к Диме Мамлееву, который был в то время первым заместителем ответственного секретаря в «Известиях» и ведал собкорами. Там на лужку двое наших друзей-армян, тоже корреспондентов, один из Узбекистана, другой из Армении, Меликянц и Мкртычан, жарили шашлык по-армянски на углях. Мы, конечно, выпили под этот шашлык, стреляли из какого-то пистолета, бегали, плясали, пели, но все время возвращались и возвращались к этой истории, к тому, что все-таки в конечном итоге может получиться.

В понедельник приехали в редакцию рано утром. Аджубей в тот день уезжал вместе с Никитой Сергеевичем в Англию. Я думал, что придется долго ждать звонка, но когда мы приехали, там уже, оказывается, заседала редколлегия: Алексей Иванович не смог позвонить сам, но на перроне сказал Горюнову, в то время генеральному директору ТАСС: позвони, мол, в «Известия», ребята там волнуются, скажи, что все в порядке, все проверено, и Подгорному, который в это время уже уехал в Варшаву, даже дана телеграмма: газета выступила с критикой обоснованно. На сей раз главный сказал, что я действительно могу спокойно ехать в Ростов, но попросил, чтобы в Харькове, хотя бы во время стоянки поезда, я обрисовал всю ситуацию Буренкову, подготовил его к любому возможному повороту событий.

Эта полудетективная история и закончилась прямо-таки в детективном духе. Сообщили Буренкову, чтобы в два часа ночи он встретил меня на вокзале, не объясняя почему. Миша встретил, я торопливо, стоя прямо около подножки вагона, старался пересказать ему все, что было необходимо, и продолжал говорить даже тогда, когда поезд уже тронулся. Я висел на подножке, а он бежал рядом…

Документальная повесть о космонавте Титове, которую я упоминал, последующие книги о нем, двухсерийная радиопередача, которую моим детям на факультете журналистики преподносили как новый жанр — радиофильм (к моему удивлению) — все это выпадало из сферы моих основных интересов, оказалось чем-то случайным и временным. Но это дало определенную сумму денег, позволившую не только вылезти из трясины долгов, а еще и купить жене модную в те времена синтетическую шубу (не очень-то, кстати, годившуюся для алтайских морозов), детям — пианино (тоже была мода), но еще важнее — съездить вместе с женой в Чехословакию. Это был наш первый выезд за границу, первый раз удалось взглянуть на чью-то другую, не похожую на нашу жизнь. Однако и это, конечно, было не главное.

Самое интересное — знакомство с космонавтами, соприкосновение с совершенно новой сферой жизни, сферой первооткрывательства. Удивительно было наблюдать превращение того, что ранее существовало только в фантастической литературе, в живую реальность, знакомиться с людьми фантастической прежде профессии. Однако, оставлю это пока за пределами книги, потому что отошел в прошлое интерес к космонавтике, ко всему, что с ней связано, по крайней мере, на время отошел, да и самому мне написанное тогда представляется теперь примитивным и чересчур сентиментальным. Расскажу

лишь об одном, о том, что соприкасается с некоторыми сегодняшними размышлениями о журналистике.

Со Степаном Павловичем и Александрой Михайловной Титовыми, родителями Германа, мы познакомились еще тогда, когда ни те, ни другие не могли даже признаться, что знаем о будущем Германа. Мы подружились, даже решусь сказать, что они стали для нас очень близкими людьми. У меня в квартире стоял диванчик, который мы звали титовским, потому что Степан Павлович всегда спал здесь, когда приезжал по делам в Барнаул. Мы тоже бывали у Титовых в Полковникове, а когда уезжали с Алтая в Ростов, последние день и ночь провели у них в доме, поскольку наша квартира уже стояла тогда пустой, все было погружено в контейнеры. Сидели в саду и пили медовуху, а дети «паслись» на ягодниках и впервые в жизни ели огурцы с медом, как научил Степан Павлович, впервые попробовали только что вынутые из рамы и нарезанные кусками лоснящиеся соты с медом. Ребята и теперь помнят этот необычный праздник последнего дня на Алтае.

А с Германом познакомились сразу после полета, когда была только что напечатана наша документальная повесть. Он сам позвонил в редакцию «Известий» и сказал, что ему наша публикация понравилась, потому, что написали мы в основном о родителях, о сложной судьбе отца и его учителя Адриана Митрофановича Топорова, автора знаменитой книги «Крестьяне о писателях». Сказал, что хотел бы сегодня видеть нас (Колю Штанько и меня) у себя дома, что-то, мол, еще и расскажу интересного. Мы, конечно, обрадовались, но вскоре он позвонил снова. Оказалось, что его еще не отпускают из госпиталя, где проходит обследование, и он предложил: если мы заинтересованы во встрече, то могли бы к нему в госпиталь и приехать. Только, заметил, не надо признаваться, что журналисты, просто, мол, алтайские друзья.

Встреча была приятной, интересной. Тогда мы и услышали многое из того, что читали прежде лишь в фантастических романах, услышали от их героя, ставшего реальным нашим собеседником. Герман же, как мне кажется сейчас, тоже еще получал удовольствие от встречи с журналистами, его распирали впечатления и желание рассказать о своем столь незаурядном приключении, пережитых эмоциях. Тогда мы узнали и о том, что не все-то так гладко проходило в полете, как официально сообщалось…

Потом мы встретились уже на Алтае, когда Титов впервые после полета посетил родные места. Это была совсем другая встреча. В селе Полковникове, куда мы, журналисты и космонавт,

прилетели на разных самолетах, «кукурузниках», конечно, способных приземлиться на крохотной расчищенной от метрового снега полосе. Состоялся коротенький митинг, а потом все отправились к домику Титовых. Перед крыльцом, однако, стоял милицейский майор, который преградил путь журналистам: пускать не велено! Кем? Я, например, был приглашен родителями Германа, и меня ждало место за праздничным столом. Не трудно было надавить на майора, чтобы позвал секретаря крайкома партии, который «командовал парадом», и тот тоже не мог нам не уступить.

И вот мы в доме. Степан Павлович мечется с кучей пальто, которую не знает куда и уложить в крохотных комнатушках, Александру Михайловну вообще не видно, где-то на кухне, наверное. К нам в прихожую вышел Герман. Я на правах единственного «старого знакомого» спросил:

— Как, Герман Степанович, чувствуете себя в родном доме? Найдёте пару минут для журналистов?

Он, на секунду плотно сжав губы, так, что выступили желваки, ответил вопросом:

— Слышали, что я говорил на митинге? Вот об этом и пишите. Здесь я с вами говорить не буду. Ни слова…

Я повернулся и вышел из дома, за мной все остальные журналисты. На другой день корреспонденты «Известий», «Советской России» и ТАСС передали в свои редакции примерно одинаковый текст: мы не будем освещать визит космонавта Титова на родину в связи с тем, что он повел себя неэтично по отношению к журналистам… Ну, и некоторые пояснения. Не передали для публикации, и не было напечатано в наших изданиях ни строчки.

Я вспоминаю этот эпизод тогда, когда слышу, как некоторые политики грубят журналистам, ну, скажем, известное: «Повторяю для дураков…» Да сколько такого! Уважаю тех, кто умело и тактично отвечает на любые выпады. Но иногда думаю: а, может быть, стоило бы порой журналистам, сговорившись, окружить полным молчанием высокомерного деятеля, не уважающего наш труд? Много бы он без нас стоил? Замечу, что в наше время сговориться и промолчать, да еще о космонавте, было куда сложнее, чем теперь — надо ли объяснять — почему?

А с Германом Титовым мы потом вполне наладили отношения, он сам и его родители проявили в этом инициативу. Бывали мы всей семьей у него дома, храним, как реликвию, фотографии, где все сняты вместе с детишками, теперь уже взрослыми людьми. Мне даже неловко, что рассказал этот единственный временно омрачивший наши отношения эпизод,

тогда как умолчал об очень многом хорошем. Но мне показалось, что детям моим, журналистам, и внукам, имеющим отношение к той же профессии, следовательно, и многим другим, знать о том конфликтном случае просто практически полезно: могут же столкнуться с чем-то похожим. А Герман Степанович, надеюсь, на меня не обиделся…

Уверен, что «Советская Россия» и ТАСС — я имею в виду руководство — сверили в том эпизоде позиции с «Известиями», с тем, как там отнеслись к нашей акции протеста…

Предыдущую главку я назвал «Эра Аджубея», имея в виду не страну, а, прежде всего, прессу, которая благодаря импульсу, данному аджубеевскими «Известиями», совершила крупный и очень важный шаг в своем развитии, в своем движении к большей гласности, расширению тематики, к большей, я бы сказал, человечности. А особенно — в том самом стремлении стать для читателя интересным собеседником, в поиске новых форм общения с ним. Огромное большинство газет стало просто привлекательнее. Но, конечно же, до коренных демократических перемен было еще далеко, да они и не могли случиться вне связи со всем процессом общественного развития.

Да, не самый ангельский был у Алексея Ивановича характер. Но он очень любил нашу профессию и очень высоко ее ставил, он любил журналистов, особенно тех, кого называл «первачами». Надо было слышать, как взволнованно и тепло говорил он о Любе Ивановой, о Семёне Гарбузове, Толе Аграновском, Татьяне Тэсс, Евгении Кригере, Нине Александровой, Натэлле Лордкипанидзе и многих других, кого ценил. Но да, не терпел тупости, непрофессионализма, вялости и медлительности. Сталкиваясь с этим, вспыхивал, не всегда умел сдержать своё раздражение, и кому-то порой доставалось больше, чем «по заслугам». Что сказать? Он был страстный человек.

Как я по Японскому морю ходил

Новосибирск. Последний город, где Н. С. Хрущев завершает серию так называемых Совещаний по сельскому хозяйству. Мы, бригада известинцев, сопровождающая его с самого начала этой серии, чуть ли не с Украины (точно помню, что были в Воронеже, а потом в Москве), тоже вроде бы заканчиваем работу. Вымотались к этому времени, надо сказать, изрядно. Работали по такому принципу: один слушает и вручную (магнитофонов у нас еще не было) записывает речь очередного оратора, второй проверяет в группе ЦСУ цифры и редактирует текст предыдущего оратора, а третий уже диктует свои записи по телефону стенографисткам. Изматывающий конвейер. Точно помню, что так работали, по крайней мере, в Москве, потому что там, завершив работу, садились в машину и ехали в редакцию, а у вахтера уже лежал отпечатанный номер с нашим отчетом.

Ну, это детали, а суть в том, что в Новосибирске мы уже чувствовали себя почти дома, я и Вася Давыдченков, входившие в эту команду. Васе, корреспонденту по Кемерово, и мне, корреспонденту по Алтайскому краю, до дома оставалось 2030 минут лёта на ИЛ-14.

И вдруг зав. сельхозотделом Петр Алексеевич Анчихоров, возглавляющий бригаду, говорит нам:

— Да, это последнее совещание с участием Никиты Сергеевича, он возвращается в Москву, я лечу с ним, но в Хабаровске состоится еще одно такое же совещание, проводить его будут Воронов и Полянский. Вы летите с ними. Волков замещает меня, в Хабаровске к вам присоединится собкор Ефрем Буньков.

Мы с Васей дружно взвыли. Доказываем начальнику: мы же от дома улетаем, мы вымотались как собаки… Бесполезно. Сами понимаем, что бесполезно.

Сидим рядышком в какой-то комнате у телефона, переживаем свою досаду. Потом я тихонечко беру трубку этого телефона и заказываю Москву, номер Лидии Ивановны Буданцевой, заведующей корреспондентской сетью. Вася недоумевает. Я только наспех рассказываю ему о своей идее, он только успевает сообщить мне, что я сошел с ума, как нас соединяют с Москвой.

Говорю уже в трубку:

— Лидия Ивановна! Нас прямо от дома посылают к черту на кулички — в Хабаровск, а мы уже выжатые лимоны.

Ну, и все в этом духе, мол, не хотим лететь вусмерть! Она начинает меня уговаривать, мол, ясно, что никого другого на это

дело уже не снарядишь.

— Да понимаем мы! Поэтому у нас просьба: коль засылают в такую даль, разрешите уж сделать еще шажок и доехать до Владивостока! Зачем? Ну, очень хочется выйти на берег Тихого океана, глянуть на него!

— Александр Иванович! Не могу я сама разрешить. Это надо согласовывать с Аджубеем.

— Согласовывайте с Аджубеем! — говорю это вслух, чтобы Вася слышал. И добавляю:

— Еще скажите бухгалтерии, чтобы нам перевели во Владивосток сотни по полторы! Поиздержались мы…

Вижу, как Вася на глазах бледнеет:

— Сашка, вот прямо сейчас нас и уволят. Прямо сейчас Алексей Иванович скажет — гнать этих нахалов в шею!

Вася не зря волновался: наш главный редактор был крут. Слышу, что Лидия Ивановна разговаривает с ним по телефону. Потом обращается ко мне:

— Алексей Иванович спрашивает, сколько дней вам нужно?

— Три!

Буквально через минуту:

— Алексей Иванович дает пять дней!

Едем!

Уже много позже я узнал знаменитую формулу Феди Бурлацкого: Выезжая в чужую страну, надо быстро найти, кому можешь там сесть на шею. Журналистам моего поколения это очень понятно: командировочные были не велики, а своей валюты вообще не существовало. Мы с Давыдченковым в то время еще не знали сей замечательной формулы, но, по сути, обсуждали дорогой именно это применительно к Владивостоку: надо где-то добыть машину, кого-то избрать гидом, чтобы все хорошо показал. Я предложил адресоваться к адмиралу, командовавшему Тихоокеанским флотом: слышал о нем много хорошего, а ведь в его распоряжении столько всего плавающего, что не может он нам отказать в том, чтобы прокатить по «своему» океану.

Остановились в какой-то гостинице, большой, но по-советски задрипанной, грязной, с хамским персоналом. Поругавшись там со всеми, отправились к председателю крайисполкома. Я сразу произнес персонально для него, примерно, такую речь:

— Вы любите называть Владивосток восточными воротами страны. Ну, а ворота города — это гостиница. Так вот, более заср… простите, задрипанных ворот мы еще нигде не видели!

Ну, а потом плавный переход к тому, что нам нужна на пять дней машина. Получили машину. Стали звонить адмиралу. Оказалось, к большому нашему сожалению, что его в городе нет,

где-то на выезде, и скоро его не ждут. После кратких размышлений позвонили, как-то уже по инерции ориентируясь на «силовые структуры», командующему Дальневосточным военным округом генералу Иванову, и он согласился принять корреспондентов «Известий», в то время влиятельнейшей газеты.

Нас встретил генерал солидного возраста, но по-молодому подтянутый, стройный, как-то даже внешне и в речи интеллигентный. Спросил, что нас интересует. Я сказал, слегка посмеиваясь, чтобы мои слова воспринимались не очень уж серьезно:

— Нас интересует, насколько надежно охраняются восточные рубежи Советского Союза.

Генерал улыбнулся, согласно кивнул и начал рассказ. Это оказалось чрезвычайно интересным. О том, как ловили одного шпиона, Голубева, если я не запамятовал, о нем и в газетах писали. Как он плыл сначала на подводной лодке, потом на резиновом плотике, затопил его, но только ступил на берег — услышал: «руки вверх!» Информация об этом визите поступила с японской стороны. Его пытались перевербовать, но получили от японцев телеграмму с отборным русским матом — это была демонстрация того, что они разгадали игру.

Рассказал генерал и о том, как приходится бороться с чужими рыбацкими шхунами, многое другое. Потом повел в какую-то комнату, на дверях которой было написано: «Секретно». Перед нами открылась огромная карта. По команде генерала молодой солдатик стал нажимать какие-то кнопочки на пульте, но от волнения путался, и на карте беспорядочно мигали цветные огоньки. Генерал очень сдержанно заметил:

— Вы недостаточно обучены! — и сам стал у пульта. Теперь огоньки на карте зажигались упорядоченно, а командующий пояснял:

— Это наши радиолокационные станции, это прожекторные установки.

Перед нами стояло еще нечто вроде огромного длинного комода или серванта, у которого выдвигались ящики, и на их внутренних плоскостях, на фоне карт под стеклом виднелись макеты корабликов, самолетов — местоположение всего, что находилось в распоряжении командующего округом. Причем округом гигантским: начинался он от границы с Китаем и тянулся до Чукотки, захватывая и её. Завершилась эта беседа предложением посетить один пограничный отряд. Кстати, отряд — это не какая-то группочка пограничников, как нам ранее представлялось, а примерно дивизия со всеми приданными средствами. Командуют отрядами полковники, на Сахалине —

генерал, и вот только в Находке — майор.

— Вот у него, — сказал генерал, — вам будет интереснее всего.

Он не ошибся. Чудеса начались сразу по прибытии в часть

А по дороге к ней мы наслаждались дальневосточным пейзажем. На исполкомовской машине ехали вдоль берега Японского моря, то приближаясь к нему, то отдаляясь. Море было справа, а слева тянулись сопки, словно покрытые золотом. Дубки что ли там были или какие-то другие деревца, но желто-оранжевые листья у них не опали, хотя, отлично помню, что это было уже 4 декабря, и картина просто поражала своей красотой.

До Находки добрались лишь поздней ночью, в город не въезжали, проехали за него еще несколько километров, и шофер остановился у ворот, врезанных в проволочную изгородь. Сказал: «Здесь!»

Темнота, и кругом ни души. Как же нам позвать-то хозяев этой территории? Но мы еще не озаботились толком этой проблемой, как ворота стали тихо, как бы автоматически, раскрываться. Никакой охраны, никаких людей вообще не было видно. А пред нами уже слалась дорожка, ведущая к освещенному двухэтажному зданию. К нему и двинулись. Едва приблизились, из подъезда выскочил крепенький мужчина в форме и, лихо козырнув, бойко доложил:

— Дежурный по части старший лейтенант Сластёнов! Приказано сопровождать!

— Сопровождайте, — говорю, — раз приказано!

Поднялись на второй этаж, только подошли к двери, на которой написано «Командир отряда», как она, опять же будто сама, распахнулась, и на пороге появилась стройная фигура молодого красавца с задорным казацким чубом. Кстати, мы узнали потом, что, будучи в Москве проездом, он умудрился увести из ансамбля «Березка» красавицу-танцовщицу, ставшую его женой и уехавшую с ним в Находку. Он тоже очень лихо, красиво отдал честь и представился:

— Майор Донсков! Прошу! — и сделал ручкой в сторону кабинета.

Разговор сразу зашел о том, что же нам хотелось бы здесь повидать и узнать. Майор сказал, что в нашем распоряжении эскадрилья самолетов, дивизион кораблей и все наземные средства передвижения. Позднее мы узнали, что это называлось принять гостей «в цветах и красках». Так оно и пошло дальше. Например, я сказал, что неплохо было бы хоть немножко прокатится по Японскому морю, и Донсков, тут же сняв трубку какого-то телефона, скомандовал:

— К 9.00 кораблик к пирсу!

Потом нам сказали, что подготовлена комната для нашей ночевки. Пошли за командиром и, войдя в эту комнату, надо сказать очень просторную, ахнули: да, там были две кровати, но между ними стоял огромный стол, за которым уже сидели несколько офицеров. Нам их представили, а мы ошалело смотрели на то, что было на столе. И чего там только не было! Крабы разного рода приготовления, гребешки, заливные блюда, всевозможная рыба — все прелести дальневосточной кухни. Майор достал откуда-то из-под стола бутылку коньяка и принес извинения, что не армянский. Был бы, мол, армянский, если бы генерал Иванов позвонил чуть раньше.

Нам становилось все яснее, что уснем мы не скоро!

Еще не успели управиться с первыми закусками, потрясшими нас своим разнообразием (надо же понимать, что всего этого в те времена даже в лучших магазинах Москвы не было, не говоря уже о родных Барнауле и Кемерове, где мясо и масло можно было купить только на базаре по очень солидной цене), появился старший лейтенант Сластёнов и обратился к майору:

— Пельмешки прикажете подать?

Майор глянул на свои часы и приказал:

— Пельмешки через семь минут!

Не через десять, не через пять — через семь! «В цветах и красках!»

Где-то как раз на пельмешках раздался звонок телефона, который стоял в номере. Выслушав чей-то доклад, майор дал установки:

— Шхуну двумя корабликами отрезать, чтобы не ушла обратно, поднять самолет с ночным видением и наблюдать, но не брать. У меня тут корреспонденты, я прилечу с ними, тогда и возьмем.

Положил трубку и пояснил: японская шхуна идет вдоль границы наших территориальных вод, похоже, собирается влезть в эти воды. Если это произойдет, ему доложат, и мы полетим посмотреть, как работают его орлы. Спрашиваем, где это. Да тут, говорит, рядом — застава Джигит, тысяча километров. Известное уже нам сибирское ощущение расстояний.

А времени около трех ночи! А нас так уже притягивает вид взбитых подушек! Как же мы были довольны, когда майору доложили, что шхуна не решилась пересечь невидимую морскую границу. Донсков же был огорчен: такая демонстрация работы пограничников сорвалась! Беда, говорит, в том, что они лучше нас оснащены техникой слежения и обнаружения, вот и увидели наши корабли или самолет.

Утром нас вывезли в море на пограничном катере, бывшем охотнике за подводными лодками, списанном из Тихоокеанского флота и переданном пограничникам. Суденышко не такое уж большое, но все же с ракетными установками, глубинными бомбами, 30 человек команды. Прошли мы несколько километров и повернули к берегу. Капитан Феликс Школьник, невысокий, плотный морячок, с черными усиками, подкрученными концами вверх, подошел к нам и этаким ехидненьким голоском говорит:

— Ну, что, товарищи корреспонденты, будете теперь писать, что по Японскому морю ходили.

— А чего, — говорю, — задираешься, есть какие-то предложения?

— Есть. Сегодня вот иду в поход на сутки, будем развозить командиров застав, совещание тут было. Пошли со мной, хоть немножко больше на волнах покачаетесь.

— Да мы с удовольствием! Как вот Донсков скажет, наш хозяин.

Донсков согласился. И тем же вечером мы были занесены в судовую роль корабля — так это, кажется, называется, отчалили от пирса и двинулись курсом на Север. Толклись, кстати, на капитанском мостике в одних пиджачках: теплынь стояла, а было это уже как раз 5 декабря, в День сталинской конституции, потому и запомнилось. Вася вскоре попросился в машинное отделение, и его повели туда, а я сказал, что буду осваивать новые профессии поближе к командирскому мостику.

Феликс говорит:

— Зайдем ко мне в каюту, покажу тебе интересные секретные документы.

— Зачем мне твои секреты?

— Пойдем, не пожалеешь!

Мы как-то легко перешли с ним на «ты». Каютка у него была маленькая, но какая-то очень уютная, обустроенная. Он тут же полез в шкафчик и достал небольшую медную или латунную канистрочку, по форме и размеру напоминавшую автомобильный аккумулятор, только более узкий, достал стаканы:

— Ты как спиртик пьешь, разведенный или так?

— А как на флоте положено?

— Да лучше не разведенный!

— Тогда лей!

Хлопнули по полстаканчика под соленый огурчик и копченую колбаску, хорошо пошло. Повторили. Скоро я был совершенно готов к освоению корабельных профессий, любой, по-моему.

Для начала мне доверили пост радиометриста. Слушал глубины моря, откуда шли какие-то неопределенные звуки, я не

очень-то понимал — какие. Наблюдал за радиолокатором и по внутренней связи докладывал командиру, мол, справа по курсу, столько-то градусов, столько-то кабельтов — цель. Там были, видимо, небольшие островки. Но вдруг прямо по курсу под лучом локатора, чертившим передо мной круги, нарисовалось некое огромное пятно, да совсем близко, и я, забыв все инструкции, заорал в микрофон:

— Феликс, там прямо перед носом какая-то огромная хреновина!

По кораблику прокатился гул смеха. Я сначала даже не задумался, кто это смеется и почему. Феликс потребовал доложить по форме. Ей Богу, не помню, что это было такое и что было дальше. Но вскоре я осваивал другую, еще более ответственную профессию — штурвального.

Нет, передо мной было не то огромное колесо, которое видел в кино и на картинках. Маленький круглый автоматический штурвальчик, меньше донышка сковородки, в верхней части — шкала. По команде капитана — сам моря не видел — крутил колесико, меняя курс.

— Медленно катиться вправо!

— Есть, медленно катиться! — А сам ржу и добавляю что-то по поводу того, куда «катиться». И опять по кораблю пророкотал смех.

Около меня стоял настоящий штурвальный. Я предложил ему разделить обязанности: мол, я буду крутить колесико, а ты — отвечать капитану. Он говорит, что так не положено. Пока торговались, я как-то упустил из поля зрения нолик, который там, на шкале, служит точкой отсчета градусов. Покрутил в одну сторону — нет нолика, покрутил в другую — тоже нет. В голову пришла гениальная мысль: крутить в одну сторону до тех пор, пока он не появится, ему же некуда деваться! Так и сделал. Тогда с мостика по трансляции услышал отчаянный вопль Васи Давыдченкова:

— Сашка, балда, корабль потопишь!

Мне как-то и в голову не пришло, что корабль в это время выписывает крутую дугу! Ну, разорвалась в уме связь штурвальчика с движением корабля, тем более что я, как уже сказал, ничего не видел, ни моря, ни берегов.

В завершение этого обучения новой профессии капитан объявил мне благодарность за отличную службу. Сказал, что из меня получится настоящий штурвальный, только надо плавать подальше от берега, где больше простора для любых маневров.

Когда я снова вылез на мостик, мы подходили к берегу, к какому-то причалу. Я вякнул:

— Уже приплыли?!

— Саша, плавает то, что знаешь, в проруби. А мы пришли, моряк ходит по морю.

Пока ответить мне было нечего, но какая-то озорная мысль в голове уже мелькнула. Когда, высадив одного начальника заставы, мы отходили от берега, я спросил капитана:

— Феликс, что там сигналят флажками?

— Счастливого плавания!

— Это кому?

— Мне! — в ответе я не сомневался, капитан не скажет «коллективу корабля» (смешно, между прочим, звучит) или кораблю, он всегда идентифицирует корабль с собой.

— Так Феликс, значит, ты это. То, что плавает?!

И опять хохот по кораблю. Тут уже я спросил, почему они — экипаж, начальники застав, которых развозим, хохочут? Феликс ответил, что он специально включил трансляцию нашего трепа по всему кораблю, чтобы народ не скучал. По просьбе ребят рассказать новые московские анекдоты начали трепаться во всю силу. Я в то время как раз анекдоты собирал, записывал их, к чему меня побудила случайно попавшая в руки книжка последних годов 19 века, поэтому не одни сутки подряд мог рассказывать байки, не повторяясь.

Утром следующего дня проснулся с каким-то непонятным чувством дискомфорта. Спал, между прочим, в авоське или, может, гамаке, приделанном к внутренней боковой стенке корабля. Дискомфорт явно возникал оттого, что-то ноги мои задирались много выше головы, то я оказывался в своей авоське почти стоя. Килевая качка. Да еще и с боку на бок валяло. Поднялся поскорее, но стены вокруг меня тоже упражнялись в изобретении оригинальных поз, словно пытаясь выйти из трехмерного пространства в четырехмерное или даже пяти — черт их знает, но от этого здорово мутило, ну, и вчерашний спиртик, враг «унутренний», видимо, тому способствовал. Захотелось на воздух. Около трапа меня остановили матросы и ловко облачили в очень удобную и теплую куртку, штормовкой она, кажется, называется, упаковали аж с головой. Это оказалось совсем не лишним: к моему удивлению, в противоположность вчерашнему вечеру сегодня шел снег, дул сильный ветер, а кораблик наш, как попало, швыряли здоровенные волны. Шторм с метелью. И на палубе меня продолжало мутить. Я вспомнил вычитанный где-то рецепт спасения в такой ситуации: встать посредине корабля и переваливаться с ноги на ногу, делая вид, будто это ты раскачиваешь корабль. Попробовал — просто замечательно, муть сразу прошла. Стою, качаю. Качаю и качаю.

Через некоторое время мысль: и сколько так трудиться? До вечера, когда придем в порт?

Родилась другая идея: клин вышибать клином. Где больше всего качает? На носу, туда и пойдем. Хватаясь за накрытые брезентом ракетные установки, добрался до корабельного носа. Ухватился за флагшток — стою. Меня поднимает выше, выше, И я уже смотрю в небо. Потом пол начинает уходить из-под ног, вместе с ним и я, кажется, бесконечно проваливаюсь в бездну. А надо мной грозно вырастает очередная волна — выше, выше, уже метра три на до мной, а потом рушится на корабль, обдавая меня брызгами.

Упорно стою, вцепившись во флагшток, хотя уже слышу сквозь вой ветра чью-то крепкую ругань, явно в мой адрес. Стою. Вдруг кто-то хватает меня за шиворот куртки, и я поднимаюсь в воздух. Лечу по нему и попадаю явно в медвежьи лапы, но не задерживаюсь в них, а снова поднимаюсь в воздух, и снова кто-то подхватывает меня и немедленно отправляет дальше. Но все же явно пока не за борт, поэтому спокойно путешествую этим способом, который мне даже нравится. Буквально минута — я не успел еще насладиться новым для меня способом передвижения — и уже стою пред светлы очи и торчащие почему-то чуть вперед усы капитана на его мостике.

— Ты утопиться решил, да? Жить надоело?

— Нет, просто вышибаю клин клином, надоело раскачивать корабль!

— Ты знаешь, что в старые времена было едва ли не самым страшным наказанием для моряка? Его сажали в ящик для красок на носу, и через 20 минут выносили оттуда полутруп!

— Извини, но в ящик для красок я не залезал!

— Тебя бы и без ящика умотало!

— Извини опять же, но все наоборот: муть от твоего вчерашнего неразведенного совершенно прошла!

Феликс махнул рукой, а я взглянул на палубу, пытаясь понять принцип так понравившегося мне перемещения в пространстве. Оказалось, это 12 ребят группы захвата, в куртках, придающих им непотопляемость, и с кортиками на боку, выстроились в линейку, ведущую с носа корабля на мостик. Феликс все порывался продемонстрировать мне их работу на примере захвата какого-нибудь иностранного судна, в частности, норвежского, под предлогом досмотра, но я спросил его, чем он может за это поплатиться, и он ответил, что, возможно, лишением звания. Ну, и видите: я невольно спас его от этой неприятности.

Мне, кстати, становилось все понятнее, почему мы оказались такими желанными и полезными гостями на этом корабле, да и

не только на нем. Особенно после очередного любопытного эпизода.

Ходила легенда, что Школьник красивее всех на Тихом океане швартуется к пирсу. Мы входили в бухточку, и в очередной раз он демонстрировал свое мастерство. Уже раньше я видел, как это делается. Корабль идет к берегу на большой скорости, носом к нему. Потом следует команда «задний ход» одной машине, какая другой — не помню, но корабль вдруг резко тормозит, поворачивается боком к берегу, и, вот уже стоит, слегка покачиваясь, у пирса буквально в сантиметрах от него, но не касаясь его стенки. Однако на сей раз мы швартовались к одному из двух сейнеров, стоявших рядком у причала. Идем прямо как на таран крайнего суденышка, команда «задний ход», но что-то происходит, не срабатывает, и мы своим бортом, но с большой силой ударяем по борту сейнера. От этого борт задирается вверх, и судно становится как бы на ребро, на противоположный борт, почти под прямым углом к воде. Из-за его кабины выскакивает женщина в фуфайке и поливает наш мостик, Феликса и меня, не только матом, но еще и мощной струей из шланга, с помощью которого, видимо, мыла палубу. Это на ветру-то и холоде!

Через минуту на мостик прибегает механик корабля и показывает деталь, кажется, иглу жиклера, в которой образовалась трещина — заводской брак — потому, мол, и не сработала одна машина. Механик рассказывал мне, что спит на койке прямо у переборки, отделяющей его кабину от машинного отделения. Пока машина грохочет, спит спокойно, как только двигатель замолкает, он просыпается и бежит наводить порядок. И любимая песня у него — «Так и живешь, и ждешь тишины».

И тут же с сейнера на наш кораблик прыгает начальник заставы, кажется, капитан, протягивает мне руку, но вместо «здравствуй» или чего-то иного ожидаемого говорит:

— На лося пойдем?

— А сколько на это надо времени?

— Дня три!

— Не можем!

— Тогда на кабана!

— А на него сколько?

— Это часы, сегодня же и управимся! Вместе с жарехой.

— Не можем, друг! У капитана — график. Нас же и Донсков уже, наверное, ждет!

— Ну, что для вас сделать-то?

— Подарите краба, целого, не разделанного!

— Сейчас! — соскакивает обратно на сейнер, но быстро возвращается. Оказывается, все уже разгрузили, сдали, но сейчас

сейнер выйдет, забросит сеть, и крабы будут. Мы уговариваем, что не надо это делать. Вот тогда я как-то остро ощущаю, в чем тут все дело. Просто тоска сумасшедшая мучает этих ребят в глуши, вдали от городов, от людей не в форме, от нормального общения и развлечений, а тут московские гости, им есть что рассказать, те же свежие московские анекдоты, и хочется любыми способами их задержать, потрепаться с ними, послушать о нормальной жизни штатских людей. Самому расслабиться и ребят на заставе развлечь, удивить, что таких гостей привел. Ну, и показать что-то свое, экзотическое, ту же охоту, или, как Феликс, — классную работу своих ребят, ради чего он был готов рискнуть даже своим званием.

Стою на мостике, размышляю об этом, и вижу вдруг Феликса: идет со стороны кормы, видимо, из камбуза, и на ходу нежно так обихаживает огромный соленый огурец, смахивает рукой и сдувает с него падающий снег. Вот уже поднялся ко мне:

— Слушай, зайдем в каюту, что-то интересное тебе покажу.

— Видел я твое интересное, как ты его от снега чистил!

Подходит боцман и с разрешения командира докладывает мне:

— Товарищ корреспондент, вы находитесь в походе сутки, и вам положен плавпаек — полкилограмма сухой колбасы!

(Наверное, я уже сто раз что-то напутал в морских терминах, давно уж очень все это было)

— Давай, — говорю — раз положен!

— А чем, думаешь, вчера закусывали? — возразил капитан, — да твоим пайком!

На пирсе в Находке нас уже ждал майор Донсков.

— Ну, я думал, что вас на руках вынесут, а вы еще сами шевелитесь!

И начались новые приключения, уже на суше. Чего нам только не показывали! А мы оказались неблагодарными: написать и напечатать в газете нам не удалось ничего. Разве военная цензура пропустила бы? Впоследствии я испытал жесткость ее контроля на книжке о Германе Титове, из которой убрали многие интересные детали и вовсе уж не секретные.

Явление «гомо экономикус»

Двадцать четыре часа дали мне на размышление о том, подать заявление об уходе с работы по собственному желанию или ждать, когда меня снимут после того, как будет заслушан отчёт о работе моей редакции на Бюро ЦК КПСС по РСФСР. И я, конечно, понимал, что при этом окажется уже не один пострадавший.

В ту пору я работал в газете «Советская Россия». «С подачи» Юры Черниченко меня пригласили на должность редактора сельскохозяйственного отдела и члена редколлегии.

Правда, сначала не хотел ехать в Москву, не тянуло в столицу никогда, да и с собкоровской свободой не очень хотелось расставаться. С трудом удалось уговорить на переезд жену и, наверное, важную роль сыграло то, что мы, в общем-то, оба не любили Ростов. После сибирских городов он казался нам мещанским и грубым. К сожалению, не только казался — в трамваях, в магазинах, не говоря уже о базарах, там всегда стояла сварливая ругань. Впрочем, давно уже в Ростове не был и не хочу зря обижать сегодняшних его жителей, но прошлые впечатления об этом городе все же такие.

Тогда, в 1963–1964 годах, я постоянно чувствовал контраст с сибирскими городами. Он проявлялся не только в загрязнении уличной атмосферы злобным ором, но и в том, что я наблюдал, сталкиваясь с людьми по работе. Если, скажем, в Сибири приходил на какой-то завод, и люди рассказывали о беспорядках или поднимали проблему, а я предлагал написать им в газету, они тут же соглашались. Либо сами писали, либо давали интервью. В Ростове я гораздо больше слышал наговоров на коллег и начальство, критики, иногда справедливой, иногда нет, но когда просил написать об этом, чаще всего получал отказ: мол, два года до пенсии, хочу спокойно досидеть. Или сошлются на возможность преследований. За спиной у людей наушничанье шло, анонимок писали множество, в том числе, кстати, и на меня, а чтобы выступить публично — с этим было гораздо труднее. Неужели все дело в том, действительно, что сибиряка «дальше не сошлют»? Нет, конечно. Дух, стиль жизни был разный, а, может, сказывалось и то, что в Сибири руководители всех уровней были много моложе южан и не сидели годами на одном месте: на просторе, при нехватке кадров, продвигались вверх быстро…

Короче, началась моя работа в «Советской России». Главным редактором газеты был тогда человек, с которым я потом прошел немало, которого искренне любил и люблю и уважаю за многие

прекрасные его черты — Константин Иванович Зародов. Ему тогда было сорок четыре, молодой для того времени главный редактор центральной газеты, но мне он казался старым, потому что самому было тридцать пять.

Годы в «Советской России» стали в каком-то смысле переломными для меня. Многие из нас переходили тогда как бы в новую категорию журналистов или на новую ступень журналистики. Было целое поколение газетчиков, которое, надо сказать, впоследствии более всего и пострадало от партийных властей, журналистов, по-настоящему увлекшихся социальными проблемами и пытавшихся дать ответы на самые сложные вопросы общественной жизни. Может быть, это была часть поколения, потому что кто-то сумел очень здорово устроиться, приспособиться, писал только то, что нравилось властям. Некоторых и замечали, брали, например, в помощники к секретарю ЦК, крупному совминовскому деятелю, а от этого при соответствующем таланте уже было недалеко до партийного или советского чиновника, которому самому полагается помощник. Или — до редактора какой-нибудь газеты. Кстати, и мой предшественник на должности редактора отдела и некоторые из тех, кто был после меня, проделали как раз такой путь. А были еще и другие, нейтральные что ли, которые шагали по росным колхозным лугам, летали на специально выделенном вертолете над строящейся Красноярской ГЭС или какой-нибудь другой великой «стройкой коммунизма», писали о героизме «тружеников» этих строек… Нет к ним претензий, кроме той, что рассуждали потом в «Журналисте» о типичных чертах журналистов 60-х, имея в виду именно себя и умалчивая о тех, кто был бит. Мне же представляются «типичными» для того времени именно последние, те, кто шаг за шагом, несмотря на все препятствия и зуботычины, спотыкаясь и заблуждаясь, продвигался вглубь экономических и социальных проблем.

Теперь они задумывались уже над тем, почему социалистическое производство, которое, казалось, еще недавно обеспечило победу в Великой Отечественной войне и восстановление разрушенного хозяйства, стало давать все более заметные сбои. Прежде, в 50-х, сосредоточивались на вопросах технологии и ругали тех, кто не использует передовые методы бурения или квадратно-гнездовой посев кукурузы, видели все беды в несознательности, косности отдельных руководителей, «ссылающихся на объективные причины». Представляя себя на месте, скажем, председателя колхоза, думали, что достаточно применить в хозяйстве все, что уже создано наукой, проявить энергию и волю, и добьешься успеха. Потому и подавали

заявления с просьбой послать в колхоз в числе «тридцатитысячников». Я тоже подавал такое заявление, прошел пять инстанций, на шестой мою кандидатуру отвергли, сказали, что молод еще, но вот Лисичкин в те же 25 стал председателем колхоза.

Потом мы начали задумываться, почему же очень уж много их, этих косных руководителей, стали понимать, что корень зла не в отдельных людях, или, по крайней мере, не в хозяйственных руководителях низшего звена, а в чем-то ином.

Постепенно публицисты-технологи, как я условно называю себя и других журналистов того времени (сам я после университета еще учился заочно в сельхозтехникуме, стремясь по-настоящему освоить агрономию), становились публицистами-экономистами. Не случайно в ту пору многие защитили диссертации по экономике, и как раз на защите Отто Лациса в Институте народного хозяйства имени Плеханова известный экономист Александр Михайлович Бирман говорил, что многие публицистические статьи в журналах и даже в газетах по глубине анализа отвечают самым строгим требованиям, предъявляемым к научным трудам. Он назвал тогда в качестве примера очерки Юрия Черниченко в «Новом мире» и Светланы Ярмолюк в «Известиях».

Но дело, разумеется, не в диссертациях. Кто-то, надо сказать, так и застрял на стадии «технолога», не в упрек, конечно, будет сказано — и о технологиях нужно писать — но плохо, если застрял на том же уровне понимания причин их неприменения и необходимости «внедрения» сверху. Другие же поднимались на более высокую ступень и становились уже, я бы сказал, публицистами-обществоведами, то есть научились видеть производство и его отдельные пороки в системе всех общественных отношений. (Теперь, кстати, все — либо репортеры, либо «политологи», но это, по-моему, даже шаг назад, сужение взгляда на жизнь). Короче говоря, как раз во время моей работы в «Советской России» начинался, по-моему, новый виток осмысления журналистами окружавших их реальностей.

С Зародовым у меня отношения поначалу не складывались. Он казался мне в сравнении с блестящим Аджубеем слишком осторожным, слишком оглядывающимся и, признаюсь, даже серым. Я сознавал, что у него и у Аджубея возможности разные, но вместе с тем не понимал многого, не понимал, насколько трудно было Зародову приспосабливаться, удерживаться на плаву в те времена, в тех сложных условиях. Опять-таки сказывался мой провинциализм и связанный с ним максимализм. Я просто после очередного спора с главным приходил в отдел и ругался вслух:

перестраховщик, боится всего, не хочет трогать острые вопросы, назревшие проблемы, все куда-то звонит, кого- то спрашивает. На заседаниях Совета Министров РСФСР, других совещаниях, где мы бывали порою вместе, на меня неприятно действовало то, как он разговаривал с высокопоставленными лицами республиканского масштаба — с министрами, председателями разных комитетов, партийными работниками. Крупный такой мужик, бывший моряк (поэтому мы его и звали меж собою Костя-капитан) подходит к какому-нибудь плюгавенькому министру и, глядя на него сверху вниз, но стараясь глядеть как бы наоборот, хотя это трудно, весь краснеет и что-нибудь робко спрашивает. А плюгавенький высокомерно, глядя, конечно, не вверх, а куда-нибудь ему на брюхо или ниже, отвечает барским тоном, как нужно поступить, потому что, конечно, Зародов советовался по публикациям.

Есть, кстати, такие амбициозные недомерки, которые, как я заметил, даже рослому человеку умеют подать руку как бы сверху, задирая для этого локоть выше плеча и спуская ладошку под углом вниз. К такому нетрудно приспособиться, если хочешь того.

То есть у меня поначалу образ Зародова складывался если не совсем негативный, то противоречивый. Я постепенно начинал видеть его положительные стороны, его стремление делать в газете что-то интересное. В то же время эта чрезмерная, как мне казалось, осторожность, это виновато красное лицо (я и того не знал, что такая краснота была связана с сердечно-сосудистым заболеванием) раздражали, вызывали досаду. Я наступал на него со своими замыслами, а он, сознавая, что реализовать их сейчас чрезвычайно трудно, но, в общем-то, принимая те аргументы, которые я приводил, и не имея возможности ответить мне «да», опять застенчиво краснел, что еще больше вызывало у меня отрицательные, прямо скажем, эмоции.

Сейчас этого человека нет в живых, и я боюсь оскорбить его память, затронуть его репутацию, нарисовать неправильный образ. Но, наверное, надо рисовать его в динамике, рассказывать так, как я его для себя открывал, и как менялся он сам.

Очень важный, переломный момент в наших отношениях был связан с крупным выступлением газеты о положении в колхозах и совхозах Нечерноземной зоны. А положение было хуже некуда. Самые нищие крестьянские хозяйства находились в то время в центре России, на исконно русских землях. Здесь зарастали кустарником поля, отсюда разбегались люди, здесь были самые дряхлые соломенные крыши, стояли с заколоченными крест-накрест окнами полусгнившие дома. Статья была крупная, она стояла на первой полосе газеты, и ею мы открывали новую

рубрику «Вносим на рассмотрение», имея в виду вышестоящие органы, а не только читателей. В статье была таблица, которая отражала состояние экономики колхозов и совхозов этой зоны, все неблагополучие, собственно, катастрофичность их положения, огромные убытки хозяйств и бедность крестьян. Это была просто страшная таблица.

И вот, когда статья уже стояла в полосе, то есть должна была выйти в свет завтра, меня позвал Константин Иванович. Он сказал, что статья очень важная, серьезная, но дать ее в таком виде невозможно, нужно снять самые резкие места. Аргументов не помню, но ясно, что речь могла идти просто о невозможности показать реальную картину крестьянской нищеты, что это будет чуть ли не подрывом советской власти. Он, конечно, не такими словами выражался, просто давал понять, что нам за это крепко попадет. Я ответил, что статью тогда не имеет смысла печатать. Одно из двух — либо тревожный набат, такой, чтобы за голову схватились и руководство, и общественность российская, либо получится писк, который никто не услышит. В разговоре намечался тупик: Зародов стоял на том, что опубликовать статью в предложенном виде невозможно, я же не хотел ничего править. Дошло до того, что я сказал:

— Наверное, вы напрасно позвали меня в эту газету. Видимо, придется положить на стол заявление об уходе.

Он рассердился, закричал:

— Ты меня что, шантажируешь? Ну, и уходи! Что делать, если ничего не хочешь понимать, если у тебя нет никакой политической гибкости!

Я ответил, что это не шантаж, а просто констатация реального положения вещей. Когда меня сюда приглашали, то говорили о возможности работы в хорошей команде — с Зародовым, Черниченко, Егором Яковлевым (в то время заместителем главного), убеждали, что можно будет смело ставить новые вопросы, каких никто не ставил, и я пришел для этого. Если же сие не позволено, если снимается первый же, по сути дела, серьезный, значимый материал, способный привлечь к газете внимание читателей, а власти заставить задуматься над реальной проблемой, то, наверное, я ошибся адресом или ошибся тот, кто меня приглашал.

Мы, собственно поругались, и я ушел из его кабинета с тем, что он статью снимает, потому что я не даю ее сокращать, я же на следующий день подаю заявление об уходе.

Вернулся в отдел, в свой кабинет, рассказываю об этом ребятам. Заходит Егор Яковлев и накидывается на меня: что же это, мол, делаешь с Зародовым, довел его до приступа

стенокардии, пришлось коньяком отпаивать. Я, говорит Егор, вошел к вам, а вы даже внимания на меня не обратили, красные оба, злые… И верно, я не помнил, чтобы он заходил. Говорю, хорошо, что у тебя есть чем лечиться, коньячок в запасе держите, а мне еще надо попросить кого- то сбегать за водкой. Короче говоря, не принимаю, сказал я, твоих упреков, потому что я боролся за то, чтобы прошла важная, принципиальная статья, а Зародов боролся за себя, за то, чтобы усидеть в кресле редактора… Сейчас вот опять, вспоминая свои слова, чувствую укол совести.

Через некоторое время раздался телефонный звонок. Константин Иванович просил зайти. Когда я вошел к нему в кабинет, он сразу же сказал твердым голосом человека, который принял решение:

— Вот мое последнее слово: в статье все остается, но таблицу мы снимаем.

Таблицу, в которой весь смысл! Я встал, чтобы уйти, но он остановил:

— Подожди! Мы не совсем ее снимаем, просто ты даешь те же цифры, но в тексте, а не таблицей, потому что в тексте они не так будут бить в глаза. Это мое окончательное решение.

Он шумел, что я его толкаю черт-те на что, у меня, говорил он, один партбилет, двух партбилетов у меня нет, и так рискую… (Про «партбилеты» — это он у кого-то, как сам рассказывал, перенял, почему-то понравилось, говорил сначала вроде в шутку, а потом уже как бы автоматически и всерьез).

Конечно, это был уже приемлемый для меня компромисс, и даже тогда я понимал, что был бы последним идиотом, если бы на него не согласился. Статью мы подписали, на следующий день она вышла, и я, может быть, тоже только уже много позже стал представлять себе, как переживал, наверное, ту ночь Зародов, как он ждал реакции на статью. Сам-то я ничего не ждал, я просто торжествовал свою победу над Зародовым, он для меня был высшей инстанцией…

Мне все время мешает, затормаживает нормальный ход воспоминаний сегодняшнее осмысление событий. Сегодня я все время стремлюсь оправдать Зародова, потому что с позиций теперешнего жизненного опыта вижу, как ему было трудно. Но в то время я был максималистом и его ни в коей мере не оправдывал, в душе не делал никаких уступок. Просто считал недостаточно смелым редактором, невольно сравнивая с Аджубеем, сравнивая, конечно, совершенно неправомерно. Сам же Аджубей как-то пошутил: «Смелый редактор — дурак, информированный — вот это да!»

Реакция на статью последовала и была она довольно неожиданной. Впрочем, я думаю, что не просто под моим напором Зародов согласился на публикацию: он кому-то звонил, с кем-то советовался, что-то такое вызнавал, но все-таки реакция могла быть очень неблагоприятной. Однако получилось иначе. Позвонили один за другим и председатель Совета Министров РСФСР Воронов и член Политбюро ЦК КПСС Полянский, отвечавший в то время уже за сельское хозяйство в масштабе страны, и оба похвалили статью, сказав, что поднят чрезвычайно важный вопрос. Обещали, что это получит поддержку, будут соответствующие решения.

Зародов позвал меня и поздравил с этим выступлением. Он был уже совсем другой, веселый, улыбающийся, немного даже торжественный. И это был переломный момент в наших отношениях. Он стал, я бы сказал, верить в меня, даже заметил как-то, что есть, мол, у тебя чутье на проблемы, которые назрели. Мои друзья, напротив, чаще говорили мне, что слишком забегаю вперед, говорю о том, к восприятию чего люди не созрели и потому не слышат меня. Черт его знает, что верно. В какой-то мере то и другое. О втором я сам думал не раз, когда убеждался, что моя статья, казавшаяся такой актуальной, не получила никакого общественного отклика. Через некоторое время другие журналисты, вернувшиеся к этой проблеме, становились даже популярными. Черт знает…

Здесь я пропустил чрезвычайно важный момент. В «Советской России» я начал работать летом 1964 года, а в октябре, как известно, произошло событие, которое в то время мы неправильно оценили. В октябре был снят со всех своих постов Никита Сергеевич Хрущев. Тогда нам это представлялось событием позитивным. Дело в том, что авторитаризм Хрущева, сначала сравнительно мягкий (в сравнении со сталинским), становился все более нетерпимым — по мере того, как стали валиться из рук дела, Хрущев проявлял все больше своеволия, самодурства. И это было естественно, логично, закономерно в том смысле, что суть системы не изменилась. Остались прежними экономические отношения, более того, несостоятельность их обнаруживалась все отчетливее, поскольку разрушался фундамент, на котором она зиждилась, фундамент репрессий, страха перед ними, просто, можно сказать, перед расстрелами. Хрущев не нашел этому замены, хуже того, и сам начал стрелять, например, в Новочеркасске. От Брежнева и Косыгина, совершивших дворцовый переворот, которому радовались уже потому, что впервые в советской истории удалось, как казалось, демократично отстранить от власти первое лицо в государстве,

ждали важных и решительных шагов, прежде всего в экономике.

Газеты в период между октябрем 1964 года и мартом 1965 в большинстве своем очень осторожно высказывались на экономические и управленческие темы. После мартовского пленума ЦК и до сентябрьского тоже еще не все развернулись как следует. Может быть, «Советская Россия» в каком-то смысле была исключением, во всяком случае, я помню, как Лисичкин, в то время возглавлявший сельхозотдел в «Известиях», завидовал тому, что нам удавалось печатать, удивлялся решительности Зародова.

Однажды я был в командировке на Кубани и в Ростовской области. В Краснодаре, в гостинице случайно встретился с Владимиром Григорьевичем Венжером, известным экономистом. Сидя в его номере, мы, наверное, несколько часов обсуждали проблемы «хозяйственного механизма», как тогда выражались. Многое из того, что говорил Венжер, было для меня в новинку, поразило своей простотой. Он считал, например, что колхозам не надо ничего планировать, надо просто задать им уровень цен, сказать, что молоко государство может покупать по такой-то цене, мясо — по такой-то, пшеницу — по такой-то, и колхоз сам решит, что же ему производить, чтобы производство было рентабельным. Если «наверху» сведут все предложения воедино и окажется, что каких-то продуктов будет недостаточно, то на них придется поднять закупочные цены. А если производство станет рентабельным, люди станут хорошо работать, и молока, мяса, зерна мы получим больше. Если же колхозу спускается план, то есть «сверху» определяется, что он должен производить, логично дать ему самому возможность назначить цены. Председатель скажет: могу производить даже бананы, но для этого придется построить теплицу, и банан обойдется в такую-то цену, покупайте его у меня по такой цене. Когда же председателю «спускают» сверху и план и цены, он оказывается в положении человека, которому связали руки-ноги и требуют, чтобы он быстро бежал.

Сейчас все это кажется примитивным, но тогда простота, даже упрощенность представлений об экономике, ее механизмах была нужна, чтобы преодолеть бездну догматических представлений о преимуществах планово-директивной экономики, бездну сложившихся стереотипов. И Венжер, так же, как и Александр Михайлович Бирман, Лев Абрамович Леонтьев, некоторые другие экономисты были не только специалистами, создавшими вокруг себя научную школу, но и пропагандистами экономических идей в массах. Они, как правило, умели хорошо писать, но, к сожалению, их не очень-то печатали.

Вернувшись из командировки, я написал две статьи, которые

назывались «Аккорд и люди» и «Логика перемен», в подзаголовке их стояло «Раздумья в пути». На основе наблюдений в колхозах Ростовской области и Краснодарского края я писал о противоречиях, которые сковывают развитие сельскохозяйственного производства. Рассказал и о своей встрече с Венжером, о его идеях, поддерживая их и размышляя над ними.

Надо сказать, что имя Венжера в то время просто не упоминалось в печати, было как бы под запретом. В свое время он стал известен, написав вместе со своей супругой Саниной письмо Сталину, на которое тот и ответил в приложении к брошюре «Экономические проблемы социализма», дал не очень жесткую, но все же отповедь их идеям. Уже тогда возникли сложности в положении Владимира Григорьевича. Потом он умудрился как-то не угодить Хрущеву, а новые власти еще не определили к нему своего отношения. Поэтому Зародов усомнился в самой возможности публикации в газете идей Венжера, даже упоминания его имени.

— Ты поезжай с чем-нибудь к Карлову, — сказал мне Константин Иванович, — найди возможность аккуратно заговорить о своих заметках, покажи их, попроси прочесть…

Карлов заведовал в то время сельскохозяйственным отделом Бюро ЦК КПСС по РСФСР, и считалось естественным, что я пойду к нему посоветоваться по каким-то проблемам. Но я не стал мудрить с предлогом для визита, взял гранки своих набранных уже путевых заметок, явился в отдел и прямо попросил прочесть статью: мол, хотелось бы мне, и не только мне, Константину Ивановичу тоже, посоветоваться о том, что тут пишется. Карлов взглянул на гранки, повертел в руках, потом спросил:

— Здесь вот написано «Раздумья в пути», это ведь ваши раздумья?

— Мои, — охотно согласился я, не подозревая подвоха.

— Да, и фамилия вот стоит — Волков. Так почему же вы хотите заставить меня одобрить или не одобрить то, что написали? Это ваши наблюдения, ваши мысли, почему я, собственно, должен в это как-то вмешиваться, разрешать или запрещать?

Он повертел еще немного гранки в руках и, не прочтя ни строчки, протянул их мне:

— Передайте Зародову, что он может сам прочесть и напечатать статьи, у меня не может быть никаких возражений по поводу ваших дорожных размышлений.

Я неимоверно обрадовался: вот, думаю, какой прогрессивный человек, он понимает ту простую истину, что могут быть у каждого свои взгляды на вещи, так хорошо отнесся к этому

подзаголовку «Раздумья в пути», как бы сигнализирующему, что это еще не очень выношенные размышления… Короче говоря, я ехал обратно в редакцию очень воодушевленный. Пришел к Зародову и сказал:

— Очень мне Карлов понравился — прогрессивный, демократичный человек! Он сказал, что заметки надо печатать, даже не глядя, потому что это мое право так или иначе судить о виденном, ему ни к чему в это вмешиваться…

Зародов ухмыльнулся, даже засмеялся и сказал:

— Ну и надули же тебя.

— Почему же «надули»? — возмутился я.

— Надули, — с какой-то безнадежностью повторил Зародов, мол, и доказывать-то тебе это не хочется. Потом все же пояснил:

— Он просто не захотел брать на себя ответственность, пусть, дескать, берет Зародов, ему и шишки, если что, достанутся… Перехитрил он тебя. Еще нет у тебя понимания аппаратных отношений.

Сказать по правде, я тогда не очень даже поверил Зародову. Опять-таки только много позже убедился, насколько же Константин Иванович был прав. И еще позже осознал, какую же смелость он проявил, все-таки напечатав статьи.

Помнится, рассуждая в этих материалах о нашей экономике, я предложил такой образ: представьте автомобиль, у которого зажигание происходит не автоматически, а просто рядом бежит человек и по очереди «зажигает» свечи. За ним бежит другой и показывает, в каком порядке и когда нужно «зажигать». А за ним — еще один человек, который показывает, как надо показывать. Представьте, писал я, далеко ли уехал бы такой агрегат.

Впоследствии я еще раз использовал этот образ — в «Литературной газете», в дискуссии, как бы развивая его применительно к перестройке. Теперь, говорил я за «круглым столом», наша экономика напоминает машину, которая стоит, а вокруг мотора расположилась куча экономистов и управленцев, и все крутят гайки — совершенствуют, перестраивают мотор. Только они не договорились между собой, что же делают, и один перенастраивает бензиновый двигатель на газ, другой пытается превратить его в реактивный, а третий просто приспосабливает к тому, чтобы перейти с 93-го бензина на 76-ой. Но в этот раз сравнение нашей экономики с автомобилем никого уже не могло шокировать. Когда же статью публиковал Зародов, он отдавал себе полный отчет в том, что только за это может поплатиться местом редактора или получить партийное взыскание. Не говорю уже о первом после долгого замалчивания упоминании имени Венжера. Однако обошлось. Потому что все же это было время,

когда происходили еще не очень заметные, порой даже скрытые от публики перемены, шло активное обсуждение экономических проблем.

Мы начали в газете, еще до мартовского пленума ЦК, сразу четыре дискуссии, по четырем направлениям, которые как-то переплетались, сливались и в конечном итоге вылились в единую дискуссию об экономических механизмах хозяйствования. Обсуждали запретные темы развития оптовой торговли, писали о цене на землю, о способах материального стимулирования, о сочетании товарно-денежных отношений и планового регулирования с помощью «экономических рычагов» — одна статья шла за другой. И почти каждая из них оборачивалась для Зародова серьезными переживаниями. Раздавались сердитые звонки, высказывались замечания и предостережения, когда он встречался с партийными и хозяйственными руководителями на заседаниях Совета Министров РСФСР, партийных активах, на Бюро ЦК КПСС по РСФСР. Иногда эта критика звучала в резкой форме, и дух ее, конечно, был один — все сводилось к тому, что мы пропагандируем капиталистические методы хозяйствования или хотим «рыночного социализма». Но это уже не было единственной реакцией на такие публикации, повторяю, уже в это время шла подготовка к мартовскому пленуму, который стал событием в истории, по крайней мере, нашего сельского хозяйства, да и в экономическом развитии страны вообще. А может быть более всего — в развитии общественного сознания, мышления хозяйственников. Зародов чувствовал, что наряду с постоянной критикой, наряду с нажимом со стороны одних людей, он испытывает поддержку со стороны других. И, наконец, настал день, когда прозвучал доклад Брежнева о неотложных мерах развития сельского хозяйства. Это была, по-моему, высшая точка в развитии той реформы, верх смелости, даже сентябрьский пленум по промышленности, более основательно разработавший программу реформ, по сути, в теоретическом смысле не дотягивал до мартовского. Да, но только вот сейчас-то ясно, что в доклад Брежнева его создатели много чего напихали, сам он произнес его, далеко не испытывая симпатии к изложенным в нем идеям, и они, эти идеи, так и остались только на бумаге. Поговорили, пошумели о реформах, но вся система хозяйствования оставалась прежней. А уж после сентябрьского начался откат от реформ все дальше и дальше.

Но тогда-то мы были полны иллюзий. Накануне пленума, совсем незадолго, мы опубликовали двойной «чердак» — то есть весь верх внутренних полос был занят одной статьей — «Проблемы сельской экономики». В ней подводились итоги всех

дискуссий и в концентрированном виде излагались предложения по совершенствованию «экономических методов хозяйствования». Зародов очень волновался по поводу этой публикации. Я же после завершения работы над статьей оказался в больнице из-за крайнего переутомления. Когда шла статья, я попросил спецкора отдела Светлану Ярмолюк дать почитать ее Лисичкину — для перестраховки. Он выразил свой восторг и особо обратил внимание на одну фразу: «дать «поработать» закону стоимости, смелее отдавая предпочтение торговле перед распределением». Сколько его лупили за один этот закон стоимости! Неужели Зародов осмелится это опубликовать?

Светлана имела неосторожность сказать Константину Ивановичу, что молодец, мол, он — не смутившись, подписал статью, как есть, даже со всем тем, что там есть смелого. «Чего же смелого? — спросил Зародов, — что ты имеешь в виду?» Она рассказала, что Лисичкину уж очень понравились некоторые положения статьи. Зародов вцепился в Светлану: какие именно? Он почувствовал вдруг, что его подстерегает что-то такое, чего он не понимает. Он, кстати, не раз говорил, дескать, мало что понимаю в экономике, и вы не подводите меня. А тут прямо сообщают, что в столь принципиальной статье, публикуемой накануне пленума, есть нечто, имеющее то ли скрытый, то ли чересчур крамольный смысл. Он буквально допекал Светлану, чтобы сказала, какие это фразы, а она, уже поняв, что их могут просто вычеркнуть, теперь молчала, как партизан. К счастью я в это время позвонил ей из больницы и, узнав обо всем, тут же связался с Зародовым, сумел уговорить его, что ничего там такого особенного нет, а известинцы могут выражать восторги по поводу того, что мы в «Советской России» уже сто раз публиковали.

Статья не вызвала неприятностей. Напротив, снова Константину Ивановичу позвонили Воронов и Полянский и попросили дать обстоятельную записку по результатам наших дискуссий с конкретными предложениями к пленуму ЦК. И мы такую записку дали.

Зародов потом рассказывал, как он сидел на пленуме, слушал речь Брежнева, выступления и думал: «За что же меня раньше били-то, за что мне столько синяков наставили? Оказывается, мы во всем были правы, во всем нашли верные подходы, сейчас они одобряются и высшим руководством, и участниками пленума, так за что же я столько тычков перетерпел?»

После пленума у нас состоялось партийное собрание. Зародов выступил очень взволнованно, немного торжественно, говорил, как здорово сельскохозяйственный отдел провел всю эту дискуссию, как здорово, что целых шестнадцать наших

предложений (это по его подсчетам) было принято и непосредственно вошло в документы пленума. Он всячески превознес тогда наш отдел и даже предложил меня премировать. Я считал, что правильнее отметить весь отдел, а коль нет средств на премирование всех, то просто отметить благодарностью. Так и сделали, что имело даже некоторые последствия, о которых расскажу дальше.

Конечно, я понимаю теперь: не было такого, чтобы непосредственно наши предложения были включены в решения пленума или доклад, хотя возможно, что кто-то этими материалами так или иначе воспользовался. Главное в том, что идеи, которые мы пропагандировали, витали в воздухе, их высказывали многие. Мы были среди тех, кто правильно уловил ход событий. Но естественно и то, что мы торжествовали, естественно, что немного даже преувеличивали свою роль в происшедшем, хотя и не сознательно преувеличивали. Нам казалось, что действительно приняты наши предложения, и мы испытывали даже ощущение счастья. Правда состояла в том, что в период до и сразу после октябрьского пленума ЦК (1964 года, свалившего Хрущева) «Советская Россия» была одной из немногих газет, которые смело выступали по экономическим проблемам. Другие органы печати стали браться за острые и опасные темы уже ближе к самому пленуму, когда их редакторы уже знали, что там готовится.

А Зародов, приехав домой с того партийного собрания, почувствовал себя плохо. Вызвали неотложку, оказалось — страшнейший инфаркт. Он все вынес в процессе самой борьбы, вынес и критику, и подначки, и угрозы, не вынес момента расслабления после борьбы, расслабления человека, который понял, что он, в общем-то, выиграл. Так он объяснял это сам, хотя порою вроде бы в шутку, но в связи с серьезными поводами, говорил:

— Это ты мне первый инфаркт сделал!

Наверное, надо сказать, что сложность его положения была во многом связана с конфликтом двух главных лиц в руководстве Российской Федерации: Кириленко, фактически возглавлявшим в то время Бюро ЦК КПСС по РСФСР (формально председателем его в 1964-66 годах был Брежнев), и Вороновым, Председателем Совета Министров республики. Они не просто дискутировали, они боролись за свое положение в системе власти, за близость к главному властителю, и потому борьба была жесткой.

Сейчас много говорят и пишут о противоборствующих кланах в высшем руководстве, связывая это с рождением рынка, коррупцией, мафией. Как будто все это неожиданно возникло,

чуть ли не вчера. Наивно. И кланы существовали в те «социалистические» времена, и борьба между ними шла беспощадная, как «стрельба на поражение». Зародов в силу убеждений и каких-то традиций, прежних контактов, был на стороне Воронова, часто пользовался его поддержкой, сам ему что-то подсказывал, и Кириленко считал его своим противником.

После болезни Константин Иванович стал искать работу, которая позволила бы ему поменьше тратить нервов, уйти от столкновений — не просто их выдерживать с больным сердцем. Удалось это ему далеко не в полной мере, пожалуй, и совсем не удалось, скорее, это вообще были иллюзии, что такое удастся. Так или иначе, он стал первым заместителем главного редактора «Правды», заместителем Михаила Васильевича Зимянина, в то время только что пришедшего в «Правду». А мы, сотрудники «Советской России», оказались сначала без хозяина, а через некоторое время — под началом генерала, бывшего редактора «Красной звезды» Московского.

Однажды, в ноябре 1965 года, я написал передовую статью «Стратегия животноводства», посвящена она была самому заурядному делу — подготовке к зимовке скота. Но я пытался, как всегда, повернуть внимание читателя к экономике, придать статье проблемный характер. Неожиданно это вышло мне боком. Чтобы понятно было почему, придется коротко сказать о содержании статьи.

Накануне зимовки, говорилось в ней, стоило бы разобраться, правильно ли соотносятся в хозяйстве кормовая база и поголовье скота. Если между ними нет соответствия, колхоз несет убытки. И далее:

«Большой эффект без особых затрат может дать правильная работа со стадом. Если в хозяйстве постоянно анализируют, какая корова приносит уже не прибыль, а убыток, и заменяют ее в случае убыточности, если рассчитывают, что доходнее — двух бычков откормить до двухсот килограммов или одного до четырехсот, если проверяют, выгодно или не выгодно содержать свиноматку при таком- то потолке приплода, если, короче говоря, соизмеряют темпы оборота стада с экономической целесообразностью, в этом хозяйстве выиграют и на продуктивности и на рентабельности».

Что тут, казалось бы, можно возразить? Но именно за эти самые строки мне и предложили покинуть редакцию в 24 часа. Опять смешно? Это сейчас смешно, а тогда все было очень серьезно.

Еще тогда, когда я только написал передовую, позвонил Зародову, по другому, правда, поводу, но сказал ему о статье.

Зародов заметил: поостеречься тут не грех, больно острые споры об этих вещах идут, поэтому показать бы передовую в сельхозотделе ЦК.

Понял я, что Константин Иванович опасается не зря, что-то знает, и отправился со статьей в сельхозотдел Бюро ЦК КПСС по РСФСР. И.о. заведующего отделом Цыбизов читал передовую как-то мрачно, все время что-то подчеркивая карандашом, а после прочтения предложил мне вычеркнуть чуть ли не все. Поспорили, а затем стали разбираться, что можно и нужно сказать. В конце концов, сошлись на компромиссном варианте: то, что его уж особенно раздражало, я убрал, а то, в чем мне удалось убедить его, он согласился оставить. То есть статья была фактически им одобрена и вскоре напечатана.

Прошло два или три дня после ее публикации, я собирался в командировку. Уже был на руках билет, и до отхода поезда оставались буквально часы, как вдруг меня вызвал заместитель главного редактора…

Надо заметить, что в редакции при Зародове сложились как бы две группировки, которые по-разному подходили к любому делу. Скажем, одна выступала за товарно-денежные отношения, за развитие экономических методов управления и т. д., другая стояла на традиционных позициях, сложившихся во времена администрирования, а может быть, и во времена более отдаленные. В какой-то мере эти группы замыкались на двух заместителях главного редактора, хотя нельзя сказать, что они возглавляли эти группировки, да и четких границ у последних не было. Но так или иначе, с одним из замов мы не раз вступали в спор на планерках, на летучках, просто в процессе работы и, надо сказать, что после ухода Зародова я все больше и больше испытывал давление с его стороны. У нас возникали конфликты, когда он пытался что-то поправить в статьях отдела, и уже некому было их разрешить, как прежде это делал Зародов. Некоторое время, до прихода Московского, этот зам. был, собственно, главным в редакции, ну а в период, о котором я говорю, Московский только-только сел в редакторское кресло, даже еще не успел, по-моему, составить себе представление о взаимоотношениях в редакции, о людях.

Короче говоря, меня позвал этот зам. и категорично заявил:

— В командировку вы не поедете, сдайте билет.

— Почему же? — удивился я. Не столько даже факту запрета, бывало ведь всякое, сколько тону заявления.

— Я говорю вам, что вы в командировку не поедете.

Он поначалу как бы не хотел раскрыть мне причины отказа, но я возмутился и сказал, что поеду уже через час, если он не

объяснит мотивы решения. И тогда мне было объяснено, что передовая статья о животноводстве вызвала большое неудовольствие в верхах, предстоит разбирательство, которое повлечет за собой, видимо, достаточно серьезные для меня последствия. В такой вот все было сказано угрожающей, но неопределенной форме… Я вспылил и заявил: черт с вами, разбирайтесь, но пока вы разбираетесь, я поеду в командировку. Вернусь, тогда поговорим. И ушел.

Через несколько минут снова был вызван и услышал следующее: товарищ Кириленко оценил вашу передовую как глубоко ошибочную, она дезориентирует колхозы и совхозы, благословляя на уничтожение поголовья скота. Люди, виновные в этом, должны понести строжайшее наказание. «Люди» — это я, конечно.

Тогда я сказал, что статья согласована в сельхозотделе ЦК. На это зам. ответил, что вопрос, почему появилась такая передовая, и был сначала задан Цыбизову, исполнявшему обязанности заведующего сельхозотделом. Тот заявил, что он до публикации статью не видел, что Волковым она написана и напечатана самовольно. (Смешно, но только сейчас я подумал: откуда же он знал тогда, кем написана статья, если сном-духом о ней не ведал? Передовые ведь идут без подписи.) Более того, руководящий товарищ высказал и более широкие претензии в адрес заведующего отделом редакции: плохо связан с ЦК, не советуется, не согласует принципиальные статьи, и даже тогда, когда согласование происходит, он правит статьи и публикует все по-своему. Такое же мнение высказали и работники отдела пропаганды, его заведующий. В результате, сказал зам. главного, предложено вас с работы снять на основании того, что вы не сработались с двумя отделами Бюро ЦК КПСС по РСФСР.

— Какая честь! — невольно воскликнул я, имея в виду, что мы вроде бы на равных с этими высокими учреждениями.

— Короче говоря, — холодно сказал зам, вам предлагается выбор: завтра (он посмотрел на часы), завтра в это же время, в четыре часа, состоится заседание редколлегии, которая обсудит ваше поведение. Если за это время вы подадите заявление об уходе по собственному желанию, редколлегия просто удовлетворит вашу просьбу, хотя о причинах она будет информирована. Именно о том, что вы не сработались с двумя отделами ЦК. Если же вы заявление не подадите, то редакцию будут слушать на Бюро, и вы сами понимаете, что это обойдется вам гораздо дороже, да и не только вам.

Я взял буквально у него из-под носа листок чистой бумаги и сказал:

— Двадцать четыре часа для меня много, хватит и трех минут.

И тут же написал заявление. Хотелось написать что-то дерзкое, но в суете в голову не пришло ничего умного, а вместе с тем всплыла в памяти формулировка, с которой был снят Хрущев. Я и написал: «В связи с резким ухудшением состояния здоровья прошу освободить меня от должности редактора отдела по сельскому хозяйству и члена редколлегии «Советской России». Ну, это для того хотя бы, чтобы нелепость текста и его узнаваемость показывали любому читателю, насколько все это делалось «по собственному желанию».

Позднее я узнал подробности того, что произошло. Оказалось, что в Москву приехала какая-то сельскохозяйственная делегация, кажется, тульская, и была у Воронова. Он в ходе беседы заметил: «Обязательно прочтите в «Советской России» статью «Стратегия животноводства», наконец-то газета правильно поставила вопрос о поголовье и кормовой базе». В тот же день Воронов выступил на заседании Совета Министров РСФСР, где также сослался на нашу передовую как на образец правильного подхода к проблеме. А тульская делегация отправилась к Кириленко. В ходе разговора возникла та же тема, но указания партийного начальства оказались прямо противоположными совминовским. Туляки растерялись и выложили Кириленко все, что услышали от Воронова, сказали и про передовую. Вот здесь и поднялся великий шум. Цыбизов, которого первым позвали «на ковер», сразу же свалил вину на меня, спасовав перед гневом высокого начальства.

Наверное, нужно пояснить и то, почему оказался против меня и отдел пропаганды. Конечно, должен признать, что я не любил «советоваться». Разумеется, ходил на совещания, выслушивал инструкции, спрашивал что-то по принципиальным вопросам, но не любил «согласования» конкретных статей. Сотрудник газеты — человек заинтересованный в опубликовании хорошей, особенно острой критической статьи. Но почему, собственно, в этом должен быть заинтересован какой-нибудь аппаратчик? Когда ему приносят нечто для согласования, он видит в этом только подвох, то, что кто-то пытается свалить на него ответственность. Но, скорее всего, в отделе пропаганды не предъявляли бы ко мне слишком больших претензий, если бы не было одной вроде бы незначительной истории…

На одном из заседаний нашей редколлегии, где присутствовал заведующий отделом пропаганды Халдеев, обсуждалось некое персональное дело, связанное с тем, что наш корреспондент неправильно, по мнению местных властей,

обрисовал ситуацию в области. Эти власти требовали строго наказать его. Опровержение статьи было явно несостоятельным, хотя опровергателям удалось зацепиться, как всегда бывает, за какие-то мелочи. И я защищал корреспондента. Против меня резко выступил тот самый зав. пропагандой и нес чушь. Я слушал его с откровенно пренебрежительной физиономией, а он от этого еще больше распалялся и начал не то чтобы кричать, а говорить подчеркнуто выразительно, как актер на сцене, отделяя слово от слова да еще этак приближая свое лицо к моему, поскольку мы сидели напротив друг друга за одним столом.

— …Центральный комитет вам этого не позволит!

Я не выдержал и сказал, что, мол, вы еще не Центральный комитет, а работник аппарата, вам лучше бы и не говорить от имени ЦК. Он, насколько я помню, обидчиво замолчал, но тут уже по мне «врезал» и Зародов, это было еще при нем. Правда — так, как это умел делать только он: достаточно для того, чтобы формально продемонстрировать внешне негативную реакцию на мой бунт, но по сути обсуждаемого вопроса поддержал мою позицию. А руководящий товарищ запомнил неповиновение, чиновники его типа таких вещей не терпят и не прощают, потому что если бы терпели и прощали, то была бы подорвана их власть. Вот он и вспомнил все в нужный момент, присоединился к тем, кто пожелал выбросить меня из редакции.

Подав заявление об уходе, я пришел к себе в отдел, собрал ребят, говорю: может быть, кто-нибудь сбегает за пол-литрой что ли, потому как я уже, можно сказать, уволен из редакции. А я пока позвоню кое-куда, чтобы узнать насчет возможной работы. Естественно, поднялся шум, все были шокированы этим сообщением, действительно кто-то побежал за бутылкой, а я сел на телефон и позвонил Диме Мамлееву в «Известия»:

— Ну, вот теперь я готов вернуться к вам. Звали, так берите.

Шутя, конечно, я как бы ловил его на слове, потому что и он, и другие известинцы, с которыми у меня были прекрасные отношения, при встрече неизменно спрашивали: когда, наконец, к нам вернешься? Может быть, это было не всегда серьезно, так, между прочим говорилось, но вот я Мамлееву это и припомнил. Готов, говорю, вернуться, потому как сегодня меня из «России» вытурили. В двух словах объяснил, в чем дело. И знаете, такие моменты запоминаются… Он сказал:

— Не клади трубку, подожди минуточку.

Прошло буквально каких-нибудь десять минут, а может даже меньше, и я снова услышал голос Мамлеева:

— Саш, пошла уже машина, запиши номер, будет сейчас у тебя, у подъезда. Садись и приезжай, тебя ждет Гребнев.

Гребнев был первым заместителем главного редактора «Известий». В то время Аджубея там, естественно, уже не было, а новый главный редактор меня не знал. Поехал я и, надо сказать, был просто поражен теплотой приема. О Гребневе известинцы вспоминают по-разному и не всегда самым лучшим образом. Вспоминают его осторожность (прозвище у него было «тишайший»), вспоминают его знаменитое: «Иди, иди, организуй свою газету и там печатайся, а в нашей газете этого не будет» или «Иди, иди и организуй свою партию», что говорилось, когда он снимал статью, а автор с ним спорил. Но все-таки не зло вспоминают. Он был истинным газетчиком, как и все известинцы. И когда в трудный момент я пришел к нему, он встретил меня, как говорится, с распростертыми объятиями, усадил в кресло и сразу сказал:

— Наверное, ты поймешь, что мы не можем предложить тебе сейчас должность члена редколлегии. Спецкором секретариата пойдешь?

Предложение было просто-таки прекрасным, потому что спецкор секретариата — живая и уважаемая должность в редакции. Я даже растрогался. Сказал, что, конечно же, согласен. Весь разговор продолжался буквально минуты, мы условились о повторной встрече, уже после заседания редколлегии в «Советской России», и я уехал в свою, теперь уже бывшую редакцию. Там в отделе уже накрыли стол, то есть один из письменных столов, как это было принято у нас в торжественных или грустных случаях, стояли стаканчики, лежала какая-то колбаска…

На другой день с утра мне позвонил Зародов:

— Ты что там завел какие-то шашни с «Известиями»? — услышал я его возмущенный голос. — Не мог что ли немножко подождать? Ведь я же тебе передал через Егора, что позову в «Правду», чего уж немного-то не потерпел?

— Терпел, — говорю, — Константин Иванович, но меня просто увольняют сегодня.

— Как увольняют?! — удивился он.

Через несколько минут я уже был этажом ниже, там, где помещался кабинет первого заместителя главного редактора «Правды». Когда рассказал, что случилось, Константин Иванович, глазом не моргнув, предложил:

— Иди спецкором к нам. Большего я тоже, к сожалению, тебе предложить пока не могу. Но спецкора предлагаю. Ты посиди, я сейчас схожу к Зимянину, чтобы уж все было точно.

— Константин Иванович, подождите, я же принял предложение «Известий»!

— Да, — задумался он, — отказаться нехорошо…

Он, кстати, и узнал о том, что я веду кое-какие переговоры в «Известиях», как раз от Гребнева. Опытный известинский зам., готовя мне место в редакции, счел нужным позвонить Зародову и, ничего не сказав о моих проблемах, просто завел разговор, что, мол, собирается к нам перейти Волков, как ты его оцениваешь… Зародов очень хорошо обо мне отозвался, но тут же и начал звонить мне. Теперь он предложил:

— Собери-ка ты вместе друзей-известинцев, правдистов, россиян и посоветуйтесь, как быть. Но мое мнение такое: если ты пойдешь в «Известия», то получится, что тебя подобрали в безвыходном положении бывшие твои коллеги и друзья, а если пойдешь в «Правду», то картина будет совсем иная — это вроде как повышение даже. Смажется скандальность этой истории, и она быстрее забудется…

Не помню уже — сразу он пошел к главному редактору или это было позднее, но пошел. Подробно рассказал ему всю историю и честно предупредил: начнутся, конечно, звонки, будут, конечно, давить. «Х… с ним, отобьемся», — ответил Зимянин, набиравший в то время силу. Убедительная для меня, надо сказать, была формулировка!

И вот заседание редколлегии «Советской России». Во главе стола сидит Московский, кругом — все члены редколлегии, я, как подсудимый — на противоположном от Московского конце стола. Генерал сообщил собравшимся, что была опубликована ошибочная статья, что Волкову предъявлены очень серьезные претензии по работе, связанные с тем, что он не сработался с двумя отделами Бюро ЦК КПСС по РСФСР, не советовался, не согласовывал материалы, и его предложено уволить. Но для того, чтобы не создавать излишних осложнений, ему разрешено подать заявление об уходе по собственному желанию, что он и сделал.

Мне казалось, что после этого, собственно, не должно быть никакого обсуждения, потому что все всем ясно. Ну, в крайнем случае, нормальные люди говорят: «Извини, старик, переехало тебя, сочувствуем, но помочь ничем не можем, давай расстанемся по-доброму». Произошло же нечто совсем иное, чрезвычайно меня потрясшее.

Первым стал вдруг высказываться заведующий отделом пропаганды редакции Вася Царев, сосед мой по казенной даче, с которым были знакомы еще по работе на Алтае. Он был там собкором «Советской России». Не так, чтобы уж очень дружили, но сходились во взглядах на рабочие проблемы, общались даже семьями, по-соседски вместе распивали бутылочку вина. Короче, держал я его если не за друга, то за хорошего приятеля. И вот он

вдруг произнес речь. Суть ее сводилась к следующему: «Мы Александру Ивановичу и раньше говорили, что он недостаточно прислушивается к мнению Центрального комитета партии, недостаточно часто там бывает, но он игнорировал наши советы». Ну, хоть бы раз что-то подобное он мне сказал: оборжали бы его! Он продолжал что-то говорить, а мне уже кровь в голову ударила, хотя до этого был совершенно спокоен. Следом, кажется, зав. промышленным отделом что- то такое же стал лить на меня, но это-то хоть было понятно: его Зародов нередко попрекал примером нашего отдела. Но потом третий начинает в том же духе, и я вдруг делаю открытие, что вовсе не коллеги и союзники сидят вокруг меня, а самые что ни на есть враги мои! Хотя нет, никакие не враги, все гораздо проще: мелкие людишки, которые стремятся продемонстрировать новому редактору свою «политическую зрелость». Это поразило меня: как же мало нужно людям, чтобы они тебя предали и продали!

Но когда очередь дошла по кругу до Лазаря Лившица, зав. отделом информации, ход «судебного процесса» нарушился.

— Вы ждете от меня, чтобы я что-нибудь про него плохое сказал, понимаю, что в таком случае этого и ждут, а я не могу ничего плохого сказать, поэтому и говорить не буду.

Лазарь как-то робко это все произнес, застенчиво, извинительно, но ведь по сути мужественно — уже потому, что вразрез со всеми предыдущими ораторами. Замечу, что Лазарь-то как раз отнюдь не был тем, с кем мы хотя бы как- то общались вне работы, дружили. У нас были нормальные добрые отношения, но чисто рабочие, как часто бывает в большом коллективе: «Привет, как у тебя дела» и не больше. Его высказывание, приведенное здесь, я помню и теперь слово в слово.

Когда очередь дошла до ответственного секретаря Сергея Цукасова, он сдержанно, но пошел дальше. Напомнил, что совсем недавно, после мартовского пленума ЦК, главный редактор объявил благодарность сельхозотделу, его заведующему за отличную работу в ходе подготовки к пленуму, что работа отдела всегда высоко ценилась в коллективе. Он не очень развивал эту тему, однако сделал, пожалуй, самое мудрое из того, что можно было сделать. Мы, мол, его критикуем, предъявляем какие-то претензии, тогда как от нас ничего не зависит, а стоило бы подумать о дальнейшей судьбе нашего товарища, поинтересоваться хотя бы, где же он будет работать, есть ли у него что-то на примете. И, уже обращаясь ко мне, спросил:

— Александр Иванович, ты что-нибудь присмотрел уже или нет?

Ну, прямо спас он меня в каком-то смысле! Зная, что Сергей и

без того обо всем осведомлен, я понял эту замечательную «подачу» и мгновенно на нее среагировал. До того, прямо скажу, было желание что-нибудь этакое выкинуть, стол что ли перевернуть или выругаться крепко, но понимал, что это глупо, а адекватных, как говорят, средств выразить свое возмущение не находил. Теперь же вдруг почувствовал себя опять совершенно спокойно. Усмехнулся даже про себя и ответил, что еще ничего не решил, но у меня есть два предложения — от руководства «Правды» и «Известий», сейчас вот думаю, какое принять.

Это произвело оглушающее впечатление, «фонтан» мгновенно заткнулся, и редколлегию быстро-быстро свернули. Решение было принято — уволить по собственному желанию, так записали и в трудовой книжке. Но где-то в личных моих делах осталась и другая запись — насчет несработанности с руководящими органами. Осталась, и тот, кто хотел ее вспомнить, мог опереться на сей документ, что и произошло потом.

Вечером в моем доме, действительно, собрались и россияне, и правдисты, и известинцы, там были и Мамлеев, и Цукасов, и Черниченко, который незадолго до этого перешел в «Правду» по приглашению Зародова. Мы взвесили все аргументы, решая, куда же мне лучше пойти. И даже Мамлеев, который искренне хотел, чтобы я вернулся в «Известия», согласился, что аргументы Зародова весомы.

Надо еще отдать должное Воронову. Как раз в самую заваруху, хотя и длилась она всего пару дней, раздался вдруг звонок от его помощника. Он сказал, что Геннадий Иванович знает о происшедшем со мной и не хотел бы оставить это без последствий, готов вмешаться в ход событий, помочь. Поэтому, если я согласен, могу прийти к нему и рассказать обо всей ситуации. Я попросил передать Геннадию Ивановичу благодарность за внимание, но сказал, что, наверное, не приду, потому что понимаю: в «Советской России» мне больше не работать, не будет уже такой хорошей, доброй, деловой атмосферы, как при Зародове, а будут всякого рода подлавливания и подсиживания. Мне гораздо приятнее продолжить работу вместе с Константином Ивановичем в «Правде», как мы об этом и договорились.

Смешно было в этом случае качать права. Даже при высокой поддержке уцелеть в редакции я мог только при одном условии — если признаю свои «ошибки», покаюсь, пообещаю, что дальше буду послушным, да и на деле буду послушным, стану бегать с каждой заметкой на согласование в отделы ЦК… Ясно, что это было для меня неприемлемым.

Вот так начиналась моя история в качестве «гомо

экономикус», так же она и продолжалась. Экономика в то время, по-моему, оказалась самой опасной сферой деятельности для журналиста.

Как мы боролись за секретность и бдительность

Партийное собрание в тот раз мы проводили в редакционном ресторане, потому что в зале, обычно используемом для этого, демонтировали аппаратуру, оставшуюся после большого совещания представителей компартий по работе журнала «Проблемы мира и социализма». Оно только что завершилось. Открывая наше собрание, я просто предоставил слово шеф-редактору Зародову, поскольку повод для этого мероприятия был необычным.

Константин Иванович, выйдя на трибуну, сообщил, что принято закрытое постановление ЦК КПСС о более строгом соблюдении режима секретности в работе. Точно уже и не помню, как оно называлось, это постановление, но речь шла именно о том, что почему-то, опять же не помню — почему, необходимо повысить бдительность, усилить охрану партийных и государственных тайн, предотвращать утечку информации… Константин Иванович только начал развертывать все эти тезисы применительно к нашей редакции, как вдруг в помещение буквально вбежал один из наших переводчиков и закричал:

— Там все слышно, на всю улицу!

— Что слышно?

— Речь ваша, Константин Иванович, про секретность и бдительность! Из репродуктора!

Шеф заволновался:

— Как же так получилось? Позовите срочно связиста!

Через пару минут в дверях показался чешский специалист по связи, инженер, который налаживал работу микрофонов в зале, где проходило большое совещание, и прочую радиоаппаратуру. Скромный такой, тихий парень с розовыми щечками. Он робко остановился у входа в зал.

— Что там у вас происходит? Почему наше собрание транслируется на всю Прагу? — строго спросил шеф.

Радист объяснил, что во время совещания работала система вызова автомашин участников встречи. Скажем, в обеденный перерыв выходит из зала делегация Колумбии во главе с генсеком Виейрой и греческая делегация во главе с генсеком Флоракисом — дежурный диспетчер объявляет по радио: машины номер такой-то и такой-то — к подъезду! Эти машины стояли на улочке сразу за зданием бывшей семинарии, а теперь — редакции журнала. Поскольку делегаций было много, в последний раз,

кажется, 99, ряд этих машин занимал всю улочку, и объявление дежурного должно было звучать достаточно громко. Теперь вот и доклад шефа о секретности звучал так же громко, по крайней мере, почти на весь район Дейвице.

— Мы эту систему еще просто не успели отключить, — пояснил наш специалист по радиосвязи. — Что-то она никак не отключается.

Пришлось нам ждать, пока репродукторы отключат, и секретность собрания будет восстановлена.

«Новый класс» и мы

Принимали меня в «Правду» сложно. Когда я сидел в приемной главного редактора Зимянина и ждал вызова на заседание редколлегии, где меня должны были утвердить спецкором секретариата, сначала ничуть не волновался: «за» главный, «за» первый зам… Ну, могут быть неприятные вопросы — отвечу. Однако шло время, а меня не вызывали. Двадцать минут, тридцать, сорок… Между тем, даже из-за двойных дверей стали доноситься возбужденные голоса, какие-то выкрики… Когда меня, наконец, пригласили, при первом взгляде на собравшихся можно было подумать, что попал в парилку — красные, набухшие лица, особенно у Зародова и Зимянина. Главный как-то раздраженно спросил меня:

— Александр Иванович, в нашей предварительной беседе я предложил вам должность спецкора секретариата. Члены редколлегии считают, что целесообразно пригласить вас на должность спецкора сельхозотдела. Мне кажется, что это не имеет принципиального значения, но я должен, прежде всего, спросить вас: согласны ли вы пойти в отдел?

Ничего себе «не имеет принципиального значения»! Журналисты знают, что тут за разница: спецкор при секретариате — человек, скажем так, привилегированного положения. Он чаще всего сам выбирает тему для статьи и то, куда поехать в командировку, а, вернувшись, «отписывается» без помех — ежедневно ходить на работу он не обязан, на дежурства не назначается, с письмами работает, если только сам решил что-то интересное поискать… Спецкор отдела — совсем другое. Это, по сути, тот же литературный работник, в многозначительном сокращении «литраб», только более высоко оплачиваемый. На нем все — от заказа и редактирования чужих статей до их многократной вычитки при прохождении в номер, дежурства, ответы на письма читателей. Мне предлагалось снижение в ранге, ну, скажем, от офицера до ефрейтора.

Рассказываю я об этом сейчас гораздо дольше, чем длилось мое раздумье на редколлегии. То есть его просто не было. Я понимал, что ситуация серьезна. Покосился на Зародова. Он будто невзначай медленно склонил голову: надо соглашаться.

Ответил я примерно так: понимаю, что значит работать в «Правде», понимаю и то, что меня не все хорошо знают и хотели бы присмотреться. Я согласен. Надеюсь, однако, что мне не закрывают на будущее дорогу и в спецкоры секретариата, если дело у меня пойдет. А если не пойдет, могу обещать, что уйду

сам, никого не обременяя трудностями увольнения, это просто не в моих правилах.

Атмосфера вдруг как-то сразу разрядилась. Только Воробьев, редактор по селу, отлично знавший меня — вместе же сидели на разных совещаниях в ЦК — этак озабоченно, будто тревожась о чем-то, спросил:

— Ты, Александр Иванович, понимаешь, что ведь и с письмами придется работать…

Я улыбнулся как можно шире:

— Вы-то, Николай Яковлевич, лучше всех знаете, что на прежнем месте я их порой по полсотни в день обрабатывал, чего уж этим-то меня пугать!

И утвердили единогласно.

Потом Зародов рассказал мне, в чем было дело. Бучу затеял Борис Аверченко, ответственный секретарь, который знал меня еще по работе на Алтае: он был там корреспондентом «Правды», а я — «Известий», сотрудничали, не ссорились, и вот, однако… Он настроил против меня и против Зародова всех членов редколлегии, утверждая, что Зародов начинает «тащить своих» на руководящие посты в пику старым правдистам, что-то еще наплел про мой строптивый характер, даже про болезни. Сложилась такая ситуация: «за» — как раз только главный редактор и первый зам., это из девятнадцати членов редколлегии! Новому главному, а Зимянин только что пришел в «Правду», не хотелось терять лицо. Он грохнул кулаком по столу:

— Вы против? Тогда я приму решение сам!

Аверченко тут же среагировал:

— А вы проверьте, пойдет ли он, скажем, спецкором в отдел! Не-е-ет! Он на черновую работу не пойдет! Спросите вот Зародова — пойдет?

Зародов заверил, что пойду, что Аверченко умышленно характеризует меня искаженно.

— Представляешь, — говорил мне потом Константин Иванович, — как бы они торжествовали, если бы ты отказался! Я так волновался, пока ждал твоего ответа!

От Зародова я сразу попал к Аверченко, он сам и позвал.

— Ну, ты хитер! — начал он. — Сразу всех купил!

— А ты вот мне объясни, зачем всю эту мерзость затеял? — зло спросил я.

— Объясню. Все очень просто. Я же понимаю, что Зародов тянет тебя на должность редактора по селу, а мне это место нужно самому! Я уже понял, что ответственным секретарем мне при Зимянине не усидеть. Вот и вернусь в сельхозотдел — в самый раз.

— Спасибо за откровенное объяснение: цинично, но хоть понятно теперь.

— Ну и хорошо, что понятно, обижаться не будешь. Кстати, я подготовил тебе удостоверение, посмотри, что там написано: спецкор редакции!

Я посмотрел и вернул документ обратно:

— Перепиши, как положено: спецкор отдела!

Он начал меня уговаривать, представляя себя благодетелем, но потом признался, что здесь принято писать всем одинаково: спецкор редакции.

Вот так сразу я и познакомился с нравами этой «конторы».

Сложность положения в ней даже для главного редактора состояла в том, что почти все редактора отделов и политические обозреватели либо пришли из ЦК, либо имели теснейшие связи в «верхах», свои «выходы» на членов Политбюро. У каждого был свой покровитель, которому все, что происходит в редакции, докладывалось, подавалось в нужном соусе. И уволить кого-либо было крайне сложно, если человек сам не ухитрился вляпаться в слишком уж предосудительную с партийной точки зрения историю.

С обновлением руководства «Правды» в коллективе образовались как бы вкрапления новых людей, пришедших с Зимяниным и Зародовым. Проблема состояла не в корпоративности по принципу «новые-старые», а в том, что, скажем, в среду агрономов и зоотехников сельхозотдела влились люди, которых увлекали проблемы экономического и социального характера, совершенно иной, чем прежде, подход к анализу причин отставания сельского хозяйства. Так и в других отделах — противоречия возникали если не на идейной, то на концептуальной основе. «Новые правдисты» оказывались более демократичными во взглядах, приверженными не сталинистским, а совсем уже иным ценностям, хотя я затрудняюсь сейчас в их обобщенной характеристике. В хозяйственной сфере это был интерес к «экономическим методам» управления, в противовес административным. Именно в этой сфере произошли наиболее острые столкновения с традицией и внутри редакции и вне нее.

Одной из первых моих командировок была поездка в Липецк с заданием написать о стиле работы обкома КПСС. Это была типичная «лицензия на отстрел»: кому-то нужно было ударить по первому секретарю. Оснований для критики было в данном случае предостаточно, область развивалась плохо. О том, кто дал наводку, я не имел представления, да и еще не очень сознавал тогда, что имею дело именно с «лицензией». Она, кстати, отнюдь не означала, что для журналиста все будет просто: один-то

благословил на критику, а кто-то другой, возможно и более влиятельный, мог быть против.

Надо сказать, что в годы моей работы в «Правде» «новый класс» уже утверждался у власти и не был склонен к покорности, как прежде. Областной правящий люд в случае критики его мог и зубы показать кому угодно. В этом «классе» уже формировались свои кланы, земляческие, отраслевые, просто по принципу приверженности определенному лидеру. Это проявлялось, в частности в том, что на каждую серьезную критическую или постановочную статью в газете следовал ответ, опровержение или оспаривание, которые направлялись чаще всего даже не в редакцию, а в ЦК КПСС. Нам приходилось в свою очередь огрызаться, при этом писать записки, в несколько раз превышавшие объем статьи.

Просидев в Липецке больше недели, я пришел к выводу, что, конечно, местный стиль руководства мало чем отличается от методов работы других обкомов, но все же это вполне достойный образец администрирования, противоречащего духу реформ, которые, как нам хотелось верить, начаты мартовскими и сентябрьскими партийными решениями. То есть я был готов критиковать этот очень противный мне стиль от души, поставить — в более широком плане — проблему самого подхода к управлению сельским хозяйством, в частности и проблему подмены профессионального управления бестолковыми и неэффективными партийными директивами: все руководство селом сводилось к принятию решений бюро и пленумов. Так плодились и плодились бумаги, чем имитировалась, подменялась реальная управленческая деятельность. С этим, кстати, и теперь, в новой России, мы сталкиваемся на всех уровнях управления.

Собрав и осмыслив материал, я встретился с тем, в чей адрес была направлена основная критика — первым секретарем обкома Павловым. Изложил ему свои наблюдения и выводы. Не удивился, что он стал возражать. Но вот как!..

Нет, ни слова не было сказано по существу дела, не получилось, как я надеялся, даже рассуждений о необходимости осмысления методов партийной работы, что дало бы мне возможность смягчит критику, мол, секретарь обкома сам задумывается над этой проблемой… Павлов хмуро выслушал мой отчет и тут же сказал, что он только что вернулся из Москвы, где был на приеме у Леонида Ильича Брежнева, и Леонид Ильич очень хорошо отозвался о работе областной партийной организации. Поэтому он, секретарь обкома, с моей критической оценкой согласиться не может.

Это была, разумеется, не просто информация, не пахло здесь

и аргументами по сути дела. Я точно уже не помню слов, но в них звучала прямая угроза: попытаешься написать что-то критическое, ответим контрударом. Можно было ждать и превентивного удара. Я понимал, что за моим отъездом должны последовать звонки «наверх» и старался продлить беседу, побольше сказать, побольше проверить. Мой собеседник в конце дискуссии прямо спросил: «Вы все-таки собираетесь опубликовать критическую статью?» Я дипломатично ответил, что решать вопрос о публикации статьи мне не дано. Это право редколлегии и главного редактора газеты, однако я представлю свою точку зрения, которая будет именно такой, как я ее изложил в беседе.

Не знаю, звонил ли Павлов кому-нибудь, скорее всего не бездействовал, но статья была опубликована — с жеваным заголовком «Требование времени». По иронии судьбы случилась такая забавная коллизия: на пленум обкома партии (или это была партийная конференция, я уже не помню, где обсуждалась статья) поехал представителем ЦК КПСС тот самый бывший заведующий отделом пропаганды Халдеев, который снимал меня с работы, и он был вынужден «проводить партийную линию», то есть поддерживать критическое выступление «Правды», мое выступление. Было, как говориться, чему улыбнуться.

Самое интересное, пожалуй, началось в 1966 году, когда у нас в сельхозотделе сложилась своеобразная внутренняя группа из «новых правдистов». Получилось так, что редактор отдела занимался главным образом оперативными делами (сев, уборка урожая, сенокос и прочее), а я, став заместителем редактора — экономикой, социальными проблемами села и другими не сиюминутными вопросами. Поначалу не хотел браться за административную работу, но Зародов настаивал: «не зря же мы тебя сюда брали, рано или поздно тебе придется стать и редактором отдела, никуда ты от этого не денешься». Нет, это не сбылось, но тогда он уговорил меня, что для всей нашей команды необходимо, чтобы я взялся за организационную работу, если собираемся что-то сделать в «Правде». Да и у меня после того, как я «загремел» из «Советской России», все уже поулеглось, поуспокоилось. Меня тоже разбирал какой-то зуд — не просто написать отдельную статью, а формировать определенную линию в газете. И вот в это время в редакцию пришел Лисичкин.

Легко сказать — пришел. Его, собственно говоря, потихоньку выживали из «Известий». Может быть, сказалось то, что он был приглашен туда во времена Аджубея. Может быть, не складывались отношения с новым руководством, но главным все-таки было другое. Он выпустил «План и рынок», книгу, которая вызвала очень большое неудовольствие в высоких партийных

кругах и подверглась критике. Я оцениваю эту работу как самую радикальную для того времени постановку вопроса о необходимости рынка. Конечно, сейчас Лисичкин сам углубил бы какие-то положения книги, но в те времена она была действительно новаторской и немыслимо смелой. Позднее, читая, скажем, Александра Вацича, Поповича и других крупных экономистов Югославии, я убеждался, что Лисичкин находился под большим влиянием их трудов. Но, наверное, это-то особенно и раздражало наших партийных и хозяйственных руководителей, они со сталинских времен терпеть не могли Югославию — за строптивость, за избранный ею путь независимости, неприсоединения, самоуправления и рынка. Лисичкина же, как и многих из нас, особо интересовала проблема рынка в условиях господства общественной собственности, чем югославские экономисты занимались основательно.

Позволю в связи с этим небольшое отступление. В начале горбачевской перестройки было модно говорить об отставании экономической науки. Слыша это, я всегда задавал вопрос: объясните мне, от кого отстали Чаянов, Кондратьев, Юровский, Челинцев… — те репрессированные (мы привыкли уже употреблять это иностранное слово вместо «убитые») экономисты, которых в годы перестройки реабилитировали — только за один раз пятнадцать человек?

Сегодня я думаю о четырех поколениях советских экономистов, каждое из которых оказалось перед необходимостью сказать свое слово в науке, и об их судьбе. А, может быть, точнее было бы вести речь о четырех высоких волнах экономической мысли, поскольку порою одни и те же люди оказывались в центре событий разного времени.

Первое поколение — экономисты 20-х — 30-х годов, некоторых из них я выше назвал. Они сказали свое слово: Чаянов — «кооперация». Столетие со дня его рождения отмечали не только у нас, даже более почтительно не у нас, а в Латинской Америке, в Италии и других европейских странах, где развита кооперация. Кондратьев сказал: «длинные циклы». Его выводы использовали тоже во всем мире и долгое время игнорировали у нас. Юровский — соавтор денежной реформы, золотого рубля… Другие экономисты того времени также были широко известны своими трудами, связанными с идеями нэпа. Представителей этой волны физически уничтожили.

Вторая волна экономической мысли медленно поднималась после XX съезда партии, не все сразу оправились от вынужденного молчания, но оправились. Это было уже, строго говоря, не одно поколение-люди старшего возраста, такие, как

Немчинов, Новожилов, Леонтьев, Бирман, Венжер, но как раз тогда появился и молодой Лисичкин, который, на мой взгляд, сразу занял позицию на острие общественной и научной мысли. Стали известны и другие молодые имена. Здесь не назвать всех, не стоит и пытаться определить место каждого. Но люди этой волны тоже сказали свои ключевые слова, хотя и не новые, но по-новому вписанные в контекст современной им реальности: «закон стоимости как регулятор экономики», «товарно-денежные отношения», «работа на себя», то есть преодоление новой отчужденности производителя, возникшей на основе огосударствления производства. Они подготовили теоретическую базу для реформ 1965 года, загубленных, но давших импульс общественной мысли, ее созреванию к реформам перестроечных и постперестроечных времен.

В «братских социалистических» странах были свои имена. Возникали международные контакты, сыгравшие свою роль в преобразовании всего «лагеря». Этому поколению физическое существование было позволено, но его представителей подвергли политическому остракизму, общественной изоляции, которая выражалась, прежде всего, в запретах печататься, не провозглашенных, но последовательно реализовывавшихся. Лисичкин ощущал это на себе больше многих других. Я знаю это не косвенно: вместе пережили многое в «Правде», а в журналах «Вопросы философии» и «Рабочий класс и современный мир» по звонкам из отдела науки ЦК сняли наши совместные статьи. В «Центрнаучфильме» приняли и даже оплатили сценарий, но не выпустили научно-популярный фильм «Что такое колхоз?» после заключения чиновников из Министерства сельского хозяйства (жаль — не помню фамилии того бессовестного критика, который написал: «где это они увидели в современной деревне тяпку?») На «Ленфильме» тоже приняли и оплатили сценарий художественного фильма, назначили режиссера, причем хорошего, Игоря Масленникова, но тоже вдруг все рухнуло: арестовали Володю Марамзина, которого «Ленфильм» присоединил к нам как специалиста по диалогам. Его судили за то, что собирал для издания стихи Бродского, будущего лауреата Нобелевской премии, а еще напечатал в Париже свои рассказы… С перепугу «Ленфильм» не только не стал снимать наш фильм, а даже разогнал и ликвидировал Третье творческое объединение, с которым мы имели дело.

Мы смеялись с Лисичкиным, что не пробовали пропагандировать свои идеи только с помощью балета и то лишь потому, что и тут не обманули бы бдительного чиновника.

Третья волна была вызвана перестройкой, то есть с нею

возникли, хотя и не сразу, условия для откровенного обсуждения экономических проблем, теоретических вопросов. Заговорили в полный голос те, кто вынужден был полтора- два десятилетия молчать, появились и новые имена. Волна экономической мысли хлынула, прежде всего, через публицистику, потому что научные книги издаются крайне медленно, а научные журналы, по-моему, были тогда самыми консервативными изданиями, иные даже ретроградскими. В них, за редким исключением, господствовала «официальная наука». Публицистика оказалась впереди и потому, что жизнь требовала отказа от догм, а, следовательно, опоры, прежде всего, на конкретные факты действительности. Но в этом же обнаружилась и слабость: осмысление этих фактов, всей новизны в общественном развитии на уровне теории оказалось как бы клочковатым, не сложилось в нечто целостное. Экономисты этой волны лишь вернулись к основным идеям прошлых поколений (что естественно, поскольку они не были реализованы), но не сказали своего нового слова. Более того, они скоро опустились (многие, во всяком случае) до какой-то завистливой и бесплодной критики следующего поколения.

А оно, четвертое, сказало просто — «капитализм». Смело, бесхитростно, многие вещи были названы своими именами, но я и теперь еще не готов судить, было ли это точно, тонко и хорошо…

Но вернемся в прошлое…

Лисичкин, еще будучи редактором отдела сельского хозяйства в «Известиях», вынужден был подготовить и опубликовать в газете выступление против самого себя — письмо группы экономистов, которые критиковали его с явно демагогических позиций. Конечно же, он им и ответил. Вокруг него складывалась довольно трудная ситуация, и редакция, прямо скажем, стремилась от него избавиться. Ему предложили поехать корреспондентом в Югославию, он отказался. Вот в это время, взяв его книжку «План и рынок», два экземпляра, я отправился к Зародову и Зимянину. Тому и другому сказал одно и то же: есть замечательный экономист и публицист, с опытом работы и за рубежом, а вместе с тем, и председателем колхоза — награжден за эту работу орденом «Знак почета». Экономист, который написал прекрасную книгу, созданную под влиянием новых партийных документов, мартовского и сентябрьского пленумов ЦК партии, и книга эта, надо сказать, стояла на полках в зале Кремлевского дворца съездов во время XXIII съезда КПСС. (Это было с моей стороны не просто политесом — верилось опять, что после столь серьезных решений об экономической реформе что-то

изменится. Но и сослаться на них вовремя было не лишним). Я советовал своим начальникам прочесть эту книгу и главное — пригласить ее автора на работу в «Правду» экономическим обозревателем.

Зимянин, как я говорил уже, став главным редактором, был полон честолюбивых замыслов и шел навстречу новациям, но все-таки сейчас-то я понимаю, что главную роль сыграло мнение Зародова, его уже довольно глубокое понимание экономических проблем, его желание переделать «Правду», хотя бы так же, как «Советскую Россию». И он оказывал на Зимянина большое влияние. Так или иначе, после довольно сложных переговоров правдистов и известинцев на высоком уровне удалось перетащить Лисичкина к нам.

Собственной рукой я написал бумагу о статусе экономического обозревателя «Правды», потому что раньше такой должности не было. В этом документе определялись его права, круг обязанностей, в число которых входили не только подготовка собственных обзоров, статей, но и информирование отделов, руководства редакции о состоянии дел в экономике, организация принципиальных авторских выступлений… Пытался даже зарплату Лисичкину повыше назначить, обосновывая это тем, что обозревателем, как минимум, должен быть кандидат наук, следовательно, меньше законных кандидатских 300 рублей предлагать ему нелепо. А поскольку это еще экономический обозреватель «Правды», то ставка должна быть 350–400 рублей. Но это был единственный пункт, с которым начальство не согласилось — резанули до 300, говоря, что будет еще и гонорар (невелик он оказался, когда Лисичкина прижали с публикациями).

И тогда сложилась такая компания: заместитель редактора сельхозотдела, то бишь я, в круг обязанностей которого входило заниматься главным образом экономическими и социальными проблемами села, экономический обозреватель Лисичкин, спецкор секретариата Черниченко, который писал в основном для сельхозотдела, и Виталий Степанов, сотрудник отдела, который работал с писателями, что ему было специально поручено.

Нас объединяло многое, но, конечно же, мы были и очень разные, потому, пожалуй, удачно дополняли друг друга.

Черниченко к тому времени созревал как публицист, если можно так выразиться — «на уровне писателя». Я знал его еще по «Алтайской правде» и «Советской России», и он всегда поражал меня своей способностью к упорнейшему труду. Однажды я зашел в кабинет, где он работал, но его там не оказалось, и я уселся в его кресло, чтобы подождать. На столе и на полу лежали листы

бумаги, что-то было уже скомкано и брошено в корзину. Разглядывая эти листы, я вдруг обнаружил, что на них один и тот же текст, только как бы развивающийся ступеньками. На чистом листе написана одна фраза, а вторая уже зачеркнута и лист отброшен. На втором — две фразы, а третья зачеркнута, и лист тоже выброшен… Так до заполненной целиком страницы. Передо мной вдруг открылась картина гигантских усилий, предпринимаемых для создания текста.

Так же в каком-то смысле он создавал и себя, сознательно и упорно начиняясь разнообразной информацией, ступенька за ступенькой одолевая агротехнические и экономические премудрости — знания о выращивании пшениц, о сортах, о мировом рынке зерна. А вместе с тем он «накачивал», как культуристы накачивают мышцы, свой литературный язык. Он упорно учил себя владеть словом, постоянно искал новые слова, и ребята даже подсмеивались над ним: ну, Черниченко опять где-то подцепил словечко — повторяет через пол-абзаца. Однажды, например, в разговоре со мной Юра несколько раз употребил слово «экстраполяция», которое тогда не было в ходу и, наверное, удивившись, что я никак не реагирую на этот факт расширения его эрудиции, задиристо спросил:

— А ты знаешь, что такое экстраполяция?

— Знаю, — ответил я. Он вдруг как-то сник, стушевался и неожиданно для меня, то ли почти по-детски обиженно, то ли даже с самоуничижительной откровенностью признался:

— А я не знаю…

Замечательны его рабочие блокноты. Однажды случайно увидев один такой блокнот, я попросил дать его и еще один-два моей дочери, учившейся тогда на факультете журналистики. Она была так поражена содержанием этих блокнотов, что написала о них дипломную работу, удивившую своим оригинальным содержанием и преподавателей.

Вот на одном листочке нарисована церквушка, а стрелочки указывают, где у нее что: маковка, придел, притвор… Не помню уже что еще, но тут и архитектурные термины, и церковные понятия, и перевод надписи на церковнославянском языке. А через несколько строчек — описание рыжей и тощей коровенки, которую ведут на бойню — как предчувствует она смерть, упирается, ревет, а ей выламывают хвост, чтобы шла… У Томки, дочери, аж слезы выступили, когда она переписывала эту зарисовку в дипломную работу. Ну, а дальше выписки из Докучаева и еще таблица, кажется, содержания белка в различных сортах пшеницы…

Это все не просто из любознательности, не просто даже для

конкретной статьи — это вклад в формирование себя, в самосотворение очеркиста, писателя — так, по крайней мере, это воспринимаю я и всегда привожу Черниченко как пример трудолюбия, пример того именно, что человек может и должен создавать себя.

Хочется сравнить Черниченко со Стреляным, который в то время неформально примыкал к нашей группе. Он тоже чрезвычайно упорен в работе, жаден, я бы сказал, на каждую свою рабочую минут. Но у него, может быть, больше, чем у всех нас, от генов, от природного дара и чутья на слово. К нам он пришел и как-то примагнитился еще в «Советской России». Толя работал в «Комсомолке» и дружил с молодыми ребятами из нашей газеты. Однажды у одного из них никак не клеился очерк об Иннокентии Баракове, известном в то время начальнике производственного управления на Ставрополье, новатора в экономике. Раза два я возвращал автору этот труд, он переделывал, маялся, но не шло. И вдруг заболел, не пришел на работу. Я посетовал на это при Стреляном, он попросил посмотреть очерк, поскольку знал Баракова, а на другой день принес мне почти целиком переписанный материал. И как! Я сразу сдал его в набор.

Работать со Стреляным в одной газете не довелось, хотя и в «Советской России», и в «Правде» мы предпринимали попытки взять его к себе, а так вот неофициально там и тут сотрудничали. То есть он часто приходил к нам, обсуждали что-то вместе, и не раз он также брал вдруг какую-то статью и редактировал или переписывал — ради удовольствия и ради солидарности. В довольно широком кругу журналистов и экономистов было тогда ощущение общности дела, общности идей, которые мы пробивали, взаимопонимание было развито до того, что сам сейчас удивляюсь. У меня особенно — с Лисичкиным. Был такой случай, уже много позже, что я дал за него интервью одному зарубежному изданию (нужно им было срочно, а Геннадий находился в командировке). Он потом не поправил в гранках ни слова. Только полная уверенность, что так и будет, позволила мне пойти на этот шаг. Когда же к материалу потребовалась фотография, я позвонил ему: мол, извини, но в этом пока заменить тебя не сумею, потренироваться еще надо. Он, чтобы поставить точку в этом эпизоде, сфотографировался в моем кабинете за моим столом.

Наверное, с Лисичкиным нас объединяли не просто схожесть, а потом и общность взглядов на экономику, а нечто большее — само их происхождение. В том смысле, что и у него и у меня они формировались на основе жизненных наблюдений, в работе близко к земле. Конечно, газета — не колхоз, но все равно то, к

чему я пришел, было пропущено через заинтересованное и даже болезненное осмысление реальной практики, связано с глубокими переживаниями, с борьбой и страданием в конкретных жизненных ситуациях. Не могу забыть, простить себе, как отказался напечатать в «Алтайской правде» статью профессора Орловского из Алтайского сельхозинститута, в которой он в целинные годы предостерегал от распашки засоленных и подверженных эрозии земель. Казалось, что больно уж много он зачислил в не подлежащее распашке, что чрезмерная осторожность навредит делу. А он, как сейчас помню, невысокий, с бородкой, смотрел на меня мягкими темными глазами и говорил:

— Я не обижен на вас, молодой человек, но поверьте мне: придет время, и вы обязательно вспомните об этом предостережении, пожалеете, что не напечатали статью… И меня вспомните.

Вспоминал каждый раз, как слышал о засолении целинных земель, о пыльных бурях и прочих бедах, связанных с неосмотрительной распашкой степи… Эта школа — не аспирантура.

Лисичкин был к земле много ближе. Он окончил Институт международных отношений, но, недолго пробыв на дипломатической работе, поехал добровольцем на целину, в Казахстан, стал председателем отстающего колхоза. Приехал туда, полный иллюзий, что нужно только делать все строго по науке, по книгам, которые основательно изучил, и все получится. Однако жизнь совсем не укладывалась в рамки картины села, нарисованной в книгах… «Занарядили» колхозу несколько сотен цыплят, а разместить их негде. Поселили в клубе, а они, как Геннадий писал потом, «не понимают оказанной чести» и дохнут пачками. Колхозникам надо платить за труд, а нечем. Повез на рынок молоко, выручил что-то, но ведь немного продашь, если это молоко положено «сдавать» государству. Так вот начался его научный поиск. Тогда определился характер этого поиска: смелость, нетерпимость к ложным конъюнктурным выводам и стремление скорее поделиться мыслями, которые кажутся важными, с теми, кто сегодня работает на земле и ищет ответа на те же вопросы.

Лисичкин и теперь говорит: «Мой колхоз». Так же, как Виталий Степанов — «Мой совхоз». Он тоже прошел целину: десятый класс из районного центра на Алтае в полном составе во главе с учителем литературы и русского языка, выпускником Ленинградского университета, поехал создавать новое хозяйство на пустом месте в голой степи. Так же и Черниченко может

сказать «мой район» — о том районе степного Алтая, где он много лет был корреспондентом краевой газеты. Такая вот собралась у нас компания.

В то время, как сказал уже, у нас складывались широкие контакты, сотрудничество с журналистами из других газет. В «Известиях» работали бывшие сотрудники сельхозотдела «Советской России» Светлана Ярмолюк и Олег Павлов, приезжал к нам посоветоваться по экономическим публикациям Анатолий Аграновский, один из самых блестящих, по моему мнению, публицистов того времени, оставались дружескими связи и со многими другими известинцами. В «Комсомолке» тоже работали единомышленники. Стреляный перешел уже тогда, кажется, в «РТ» («Радио и телевидение»), но по-прежнему заходил к нам в «Правду», и мне запомнился связанный с этим немного смешной и вместе с тем очень серьезный эпизод.

Черниченко приехал из командировки и рассказал о председателе колхоза, который чрезмерно даже с его, защитника промыслов, точки зрения увлекается побочными производствами: делает веревку, какие-то там, кажется, были еще рубильники… Лисичкин возразил: правильно делает, если производством огурцов и молока даже под Москвой не может заработать на прокорм крестьянам. В разгар спора заглянул Стреляный и со всем присущим ему азартом включился в него. Поднялся гам, который пришлось упорядочивать. Мы организовали дискуссию по принципу судебного процесса: Лисичкин выступал в роли подсудимого, председателя колхоза, Черниченко — прокурора-обвинителя, Стреляный — защитника, а я — судьи. Моя задача состояла не в разрешении спора, а в оценке аргументов, их убедительности.

Суд вынес такое решение: Черниченко и Лисичкин выступят в «Журналисте» каждый со своей точкой зрения. Но, к сожалению, судебный процесс состоялся и в жизни, председателя осудили. Поэтому наши «прокурор» и «подсудимый», оба вместе выступили в защиту председателя — так появилась статья «Молоко и веревка», которую и сейчас многие помнят. Почему в «Журналисте»? Потому, во-первых, что материал получился слишком большим для газеты, во-вторых, и это было, пожалуй, более важным, Егор Яковлев, в то время редактор «Журналиста», мог решиться на большее — по остроте постановки вопроса — в сравнении с тем, на что была готова «Правда». Мы все тогда с «Журналистом» сотрудничали, печатались в нем, пока Егора не сняли. (Поводом была какая-то чепуха, а сутью — стремление к независимой позиции.)

Кроме профессиональной журналистской команды, вокруг

отдела формировался очень сильный коллектив нештатных авторов — экономисты, партийные работники, писатели.

С приходом Лисичкина мы сразу же развернули работу с экономистами, поставив себе задачу — сплотить вокруг «Правды» интересных, молодых в основном специалистов. Пригласили на встречу в редакции целую группу уже заявивших о себе научных сотрудников, среди которых был и молодой доктор экономических наук Леня Кассиров, кандидаты экономических наук Володя Морозов, выпустивший в качестве редактора в издательстве «Экономика» лисичкинскую книжку «План и рынок», Ипполит Карлюк, задиристый в то время научный сотрудник Института Госплана СССР, Алексей Емельянов из МГУ, Миша Лемешев… («иных уж нет, а те далече» — идеологически далече, прежде всего).

Собрали мы их в редакции и попросили высказаться о проблемах сельской экономики, поставив один, собственно, вопрос: почему дела идут не так, как хочется, почему реформа развивается не столь успешно, как, казалось бы, должна, что тормозит преобразования в сельском хозяйстве и что сейчас надо делать? И чуть не каждый начинал свое выступление с того, что, конечно, газета это не напечатает, но он хотел бы прямо и откровенно сказать… Мы отвечали: вот и говорите откровенно, а мы уж будем при публикации подстилать соломки. Если же вы станете сами себе редакторами и цензорами, у нас ничего не получится, ни «круглого стола», ни сотрудничества.

По сути, я повторил слова Зародова, который еще в «Советской России» однажды, собрав заведующих отделами, сказал:

— Пусть в редакции будет только один консерватор-я.

И получилась очень любопытная дискуссия. Стенограмма ее от 7 апреля 1966 года и теперь у меня хранится. Перечитал сейчас ее и опубликованный вскоре материал, который сам же готовил — что-то устарело, что-то видится уже иначе, но тогда это был шаг вперед в осмыслении экономической реформы. Да еще такой шаг, который заметили в ЦК, проявили неравнодушие к выступлению газеты. О том, в чем оно выразилось — чуть дальше.

С этого у нас началось сотрудничество с экономистами, которое заключалось не только в том, что они писали свои статьи, — кто-то и не писал, а кого-то мы не смогли напечатать, все было — но они приводили друзей с их материалами, а главное — у нас образовался, как теперь бы сказали, постоянный редакционный совет по экономике.

Как-то «Правде» поручили разработать предложения по

совершенствованию экономики для доклада Брежнева — такие поручения редакции получали часто, до последних дней существования ЦК КПСС. Мы обзвонили этих ребят, они мгновенно съехались, сели все вместе за длинный стол в редакторском кабинете и коллективно сочинили «записку» — довольно интересный материал, который тоже у меня хранится. Но он не был, к сожалению, использован Генеральным секретарем, всего скорее и не дошли до него наши писания. Но в том ведь его вина!

По содержанию в нашей работе можно было выделить два направления: постановка проблемных, теоретических вопросов реформы и анализ практики. Теорией должен был заниматься соответствующий отдел редакции, но он и назывался-то не случайно отделом пропаганды, а не теории. Он печатал, как правило, скучнейшие статьи, «подвалы», плотно нафаршированные цитатами, печатал с целью разъяснить с ортодоксальных марксистско-ленинских якобы позиций, а по сути — официально принятых, тот или иной актуальный вопрос, «вооружить», как говорили, прежде всего, лекторов, пропагандистов, преподавателей казенным идейным оружием. Или — клеймили разного рода «уклонистов», как в стране, так и за рубежом. Я помню, например, как известный политический обозреватель, ни уха, ни рыла не смысливший в экономике, «разоблачал» одного из теоретиков «Пражской весны» Оту Шика, директора академического института экономики Чехословакии. Читая эту ахинею, можно было смеяться или плакать, но никак не воспринимать всерьез.

Наши теоретические статьи по содержанию были ограничены в основном одной темой: рынок. Только само это слово почти не употреблялось, поскольку до ярости раздражало партийных хранителей чистоты официальной теории, и мы пользовались эвфемизмами: «товарно-денежные отношения», «закон стоимости»… А по форме статьи строились так, чтобы нас не упрекнули в подмене других отделов, то есть мы всегда отталкивались от фактов реальной жизни, сельской жизни, своих наблюдений, от замеченных парадоксов. Например, моя статья о проблемах производительности труда начиналась с такого факта: председатель колхоза и главный его бухгалтер, только что бойко, на память называвшие любые данные о надоях, привесах, урожаях, смущенно замолкли и полезли в бухгалтерские книги, как только их спросили о производительности труда в хозяйстве. А она вроде бы, по Ленину, «самое важное, самое главное для победы нового общественного строя». В чем же дело? А в том, что показатель этот в существующем виде руководителям хозяйства

на дух не нужен, тем более что он вступает в противоречие с показателями доходности и тем самым дезориентирует организаторов производства. Тут и начиналась разборка для начала с Центральным статистическим управлением, поскольку оно разрабатывало инструкции хозяйствам об этих показателях, а далее — с тем, почему одни показатели строятся на стоимостных основах, а другие — все еще на натуральных, хотя «мартовский пленум ЦК КПСС уже дал правильное направление…» Без последнего было не обойтись.

Замечу, что в ЦСУ СССР разозлились и написали на меня кляузу в ЦК КПСС. Одна замечательная женщина, Клара Панкова, выкрала эту кляузу на одну ночь. Моя жена за эту ночь ее перепечатала. Таким образом, я был подготовлен к разговору в ЦК, а потом, не называя имен, «рассмотрел» концепцию статистиков в новомировской статье. По цепочке знакомых я выразил свое «фэ» экономистам-теоретикам, которые предпочитают вести дискуссию при посредстве высшего партийного учреждения. Мне по той же цепочке ответили: как же еще, если автор выступил в органе ЦК — «Правде», какое издание возьмется вести с ней полемику. Тогда я сообщил, что моя более подробная статья будет напечатана в «Новом мире», уж с ним-то полемизируй, сколько хочешь, за это разве что похвалят… Ну, это так, между прочим, немножко о ситуации и нравах…

Благодаря поддержке Зародова мы иногда все же влезали в чужую епархию, то есть прямо выступали по сложным вопросам теории.

Одной из первых статей Лисичкина в «Правде» была статья о нэпе, которую он написал еще для «Известий» и которая была там забракована. В ней доказывалось, что нэп — не просто новый порядок взаимоотношений между городом и деревней или «уступка» мелкому частному предпринимательству. Суть нэпа автору виделась в том, что товарно-денежные отношения признавались в системе тех экономических отношений, которые базируются в основном на общественной собственности. Тогда эта мысль была смелой до невозможности, постановка вопроса — вызывающей. И это был шаг в развитии экономической мысли в реалистичном направлении.

Эту тему мы стремились развить в другой статье, а именно — предприняли попытку возврата к идеям экономистов 20-х — 30-х годов и их реабилитации. Наши друзья из молодых экономистов работали над этой проблемой.

Наташа Наставина и организовала статью «Белые пятна» на карте экономической науки», подписанную известными именами — В. Новожилов, Л. Леонтьев, А. Бирман. Статья была

подготовлена и даже набрана.

Что нас привлекало в том прошлом? «Многие советские экономисты в 20-е — 30-е годы, — говорилось в статье, — правомерно отвергали тезис о несовместимости задачи построения социализма с сохранением товарного производства и его категорий». Тогда для нас было важно именно это: доказательство, что рынок возможен и должен существовать «при социализме», то есть в современной нам реальности. Если даже и появлялась мысль, что социалистическая система в том виде, как она сложилась в нашей стране, неэффективна, нежизненна, то мы должны были гнать ее от себя, когда готовили публикации для «Правды». Как говорил уже, чаще писали не о рынке, а о «товарно-денежных отношениях», но и при этом нас критиковали за то, что не подчеркиваем их специфический характер в условиях социализма. Помню, даже в передовой о мелиорации, которую мы написали с Лисичкиным и которую Зимянин послал на просмотр в Политбюро, Суслов своей рукой повсюду, где упоминалось о товарных отношениях, вставил: «социалистические». Смешно, кстати, было наблюдать, как главный редактор «Правды» самолично принимал по телефону правку «членов» в той передовой.

Кстати уж, об уровне экономической грамотности, уровне мышления тех самых «членов» и секретарей ЦК. Однажды я по какому-то поводу был приглашен Федором Давыдовичем Кулаковым, в то время секретарем по сельскому хозяйству. Беседа вышла за рамки частной проблемы, и Кулаков решил вдруг со мной посоветоваться: как бы найти возможность сравнивать хозяйства разного профиля производства: например, зерновое и животноводческое. Мы думаем, сказал он, что полученный продукт во всех случаях можно свести к универсальным единицам, а именно — пересчитать в «мясоединицы». Учитывая, например, сколько зерна уходит на килограмм мяса при откорме, можно определить, какое количество «мясоединиц» получено с гектара в зерновом совхозе. Как вы оценили бы такую систему? — поинтересовался секретарь.

Я сказал, что, еще работая на Алтае, задумался над той же проблемой и даже написал в «Известиях» статью, в которой сравнивал два хозяйства по производству больших калорий в расчете на гектар пашни, переведя в них всю продукцию. Но тогда, когда занялся экономикой основательнее, с удивлением осознал, что изобретаю велосипед. Человечество уже давно «изобрело» всеобщий эквивалент — деньги. Ничего лучшего не придумано.

— Что вы! — замахал руками Федор Давыдович. — Как

можно при наших ценах что-то сравнивать в деньгах, ведь на Ставрополье, например, рентабельность молока на нуле и ниже, а подсолнечника — семьсот процентов.

— Не значит ли это, что нужно совершенствовать то, что уродливо, то есть цены, а не уродовать все остальное?

— Ну, это вы далеко заходите…

Реабилитация экономистов-рыночников 20-х — 30-х годов, как нам представлялось, очень много бы дала и науке и практике.

«История развития советской экономической мысли 20 — 30-х годов, — писали авторы статьи, — не изучается с тем вниманием, которого она заслуживает. Более того, до сих пор не преодолено пренебрежительное, специфически «проработочное» (то есть критическое, даже разоблачительное — А.В.) отношение к трудам этого периода. В результате многие экономисты воспринимают как откровение идеи, высказанные три-четыре десятилетия назад отечественными учеными, или вынуждены пользоваться информацией об этом периоде из «вторых рук».

Зимянин, однако, колебался и попросил меня свести его со Львом Абрамовичем Леонтьевым, членом-корреспондентом АН СССР, чтобы выслушать его аргументы.

Помню, мы сидели втроем поздно вечером в кабинете главного редактора часа, наверное, два. Зимянин даже записывал, что говорил Лев Абрамович. Соглашался, выспрашивал детали, просил пояснений. И мы ушли от него обнадеженные.

А на другой день Михаил Васильевич сказал, что просит не возобновлять разговор об этой статье. Сейчас, конечно, яснее уже, что не в его силах было добиться реабилитации, но тогда-то мы еще верили, что идет последовательный процесс демократизации, возвращения к ценностям прошлого, верили в необратимость перемен.

Однажды Лисичкин привел двух молодых экономистов, Белкина и Ивантера (теперь-то очень известные имена!), они принесли статью о банках. Статья должна была бы, собственно, идти по промышленному отделу, но этот отдел не очень-то увлекался рыночными отношениями. А тут откровенно шла речь о том, что банки в пору развития товарно-денежных отношений могут быть тем механизмом регуляции, который способен воздействовать на рынок. Авторы чувствовали себя неловко, они не очень верили в то, что в «Правде» может быть опубликована их статья, Сразу сказали, что, конечно, выступление может вызвать недовольство банковских работников. Я предложил: «Давайте, ребята, сделаем очень просто — пригласим кого-то из банка и посоветуемся. Вы побеседуете, поспорите и укрепите свои аргументы. По крайней мере, будете знать заранее, что вам могут

поставить в вину». Они согласились, но когда я снял трубку и позвонил первому заместителю председателя Госбанка СССР Воробьеву (председатель в то время был болен), они даже немного побледнели, во всяком случае, на лицах появились признаки некоторого беспокойства. Не раз я замечал подобное смущение у смелых людей при прямом обращении к высокому начальству, так же, как чувство вины, перебирание в уме, не грешен ли в чем, когда вызывают в милицию, суд или, не дай Бог, в КГБ. Знает человек, что не в чем его винить, а все равно беспокоится, будто может всплыть что-то… Изжило ли это молодое поколение?

Мне ответил помощник, я попросил, чтобы Воробьев к нам приехал посмотреть статью. Помощник очень возмутился, что я предлагаю столь значительному лицу приехать в редакцию. Он считал, что авторы должны явиться к нему сами, и авторы уже, можно сказать, вскочили, чтобы туда идти. Но я настаивал на своем. Я понимал, что если просто отпустить ребят на такое свидание, то их крепко поколотят, они, возможно, потеряют уверенность и не смогут дать нам статью.

Воробьев приехал. Это был высокий лобастый мужчина, очень солидный, очень уверенный. Я начал разговор так:

— Познакомьтесь, пожалуйста, с авторами статьи, которую мы хотим напечатать. Они здесь высказывают свое мнение о работе банков.

— Зачем же вы хотите советоваться со мной, если все решили? — спросил Воробьев, почувствовав, и правильно, нарочитость в моем заявлении о публикации.

— Затем, чтобы не допустить грубых ошибок, — сказал я. — Все-таки, какими бы они ни были специалистами, им трудно конкурировать с вами, практиками, это, во-первых, и, во-вторых, мы хотели бы знать ваше мнение о статье до публикации. Статья выражает их точку зрения, вы же в случае принципиального несогласия можете также рассчитывать на публикацию вашей статьи, вашей точки зрения.

Воробьев взялся тут же прочесть текст. Прочел и сказал, что действительно у авторов есть точка зрения, которая заслуживает внимания, и коль редакция решила печатать статью, то, разумеется, никаких возражений быть не может, но он все-таки советовал бы обсудить ее вместе с другими заместителями председателя Госбанка (их было то ли одиннадцать, то ли тринадцать), выслушать аргументы, а уж дальше поступать по своему разумению. Все мы согласились, что это разумно, что авторам стоит узнать все аргументы «за» и «против».

Статью опубликовали, внеся небольшие коррективы после

дискуссии. В день публикации раздался звонок. Звонил заместитель председателя Совета Министров СССР. На летучке редактор промышленного отдела, которому звонили, изложил смысл разговора и одновременно свою позицию: статья призывает к капиталистическим методам хозяйствования. Я ответил довольно резко:

— Во-первых, нечего поднимать панику по поводу того, что кто-то имеет другое мнение, даже если это высокопоставленное лицо. Пусть это лицо возьмет чистый лист бумаги и напишет свою статью. Во-вторых, наш материал обсудили одиннадцать вполне социалистических заместителей председателя вполне социалистического Госбанка СССР и в принципе одобрили, поэтому все эти измышления насчет капитализма я не принимаю.

Надо сказать, Зимянин меня сразу поддержал, заявив, прежде всего, что газета не должна немедленно начинать дрожать, как только кто-то высказал замечания.

Так у нас, в общем-то, переплетались теоретические и практические проблемы. Но то, что я назвал анализом практики, тоже имело четкий вектор. Газета атаковала административные методы хозяйствования, критиковала аппарат, который стремился торпедировать реформу. На «форумах» (модное тогда слово) говорили одно, а вслед их решениям на второй же день на места шли инструкции прямо противоположного содержания. В то время, я помню, Ипполит Карлюк на заседании экономического отделения Академии наук СССР размахивал «Правдой» и шумел: «Вот как надо ставить вопросы экономики!» Не в том смысле, что это официальный орган, совсем в ином: признавалось, что «Правда» в то время была в каком-то смысле на передовых позициях в области экономической теории и борьбы за последовательность в реформах.

Конечно, ни в коей мере не хотел бы преуменьшить заслуги других органов печати, экономистов, боровшихся в то время за реформу и ее воплощение в жизнь. Попытки нарисовать широкую панораму этой борьбы уже были и будут, я же, не претендуя на это, стремлюсь рассказать лишь о том, что происходило в газетах, где довелось работать, о том, что наблюдал сам в непосредственной близости.

Как я говорил по-немецки

Однажды в Германии в отеле я позвонил в рецепцию и на немецком вроде бы попросил разбудить меня в 8 утра. Девушка захохотала и сказала только Gut, Gut!

Утром я спросил приятеля, что же ее рассмешило, и повторил ему просьбу. Тогда хохотать стал он. Оказывается, я вместо wecken Sie bitte (разбудить) сказал washen (вымыть или выстирать меня в 8 утра). А причина в том, как нас учили языку, мое поколение. Учили ПАССИВНОМУ владению, то есть умению только читать, а не говорить. И сами преподаватели часто не знали языка толком.

Когда Герман Титов перешел в 8 класс, оказалось, что у них в школе нет преподавателя немецкого, как, впрочем, и английского или другого иностранного языка, и в аттестате выпускникам в соответствующей графе проставят черточку. С этим не поступить в институт. И Степан Павлович, отец, преподававший в той же школе русский язык, решил сам изучать и преподавать немецкий. Все бы хорошо, но он дошел до буквы «о» с двумя точками вверху. В учебнике написано, что это называется «о умляут». Но как же это произносится? Где проконсультироваться? Узнал, что в райцентре есть стоматолог — немка. Пришел, выстоял очередь, сел в кресло.

— Что у вас болит, — спросила врач.

— Сердце, — ответил Степан Павлович.

— Тогда вам надо к кардиологу.

— Нет, вы просто скажите мне, как произносится О умляут?

— Тогда вам, пожалуй, надо к психиатру, — изменила точку зрения врач.

Но Степан Павлович объяснил, что сердце болит за ребят, которые получат неполноценный аттестат. В конечном итоге они договорились, и целый год старший Титов регулярно ездил на прием к стоматологу. А Герман и его однокашники получили нормальный аттестат.

Писатели, новаторы и консерваторы

Как я сказал уже, «Правда» в то время широко привлекала к сотрудничеству писателей-деревенщиков.

Виталий Степанов был чрезвычайно приспособлен к работе с писателями, хотя бы потому, что он умел слушать. Усаживал гостя в своем кабинете, предлагал чайку и провоцировал к рассказам, из которых уже потом возникала тема выступления в газете. Так появились в «Правде» публикации даже тех авторов, которых в ЦК КПСС не жаловали, и от которых по этой причине во многих изданиях открещивались как черт от ладана — Ефима Дороша, Георгия Радова, Сергея Крутилина, Александра Яшина, а всего у нас выступило около тридцати писателей. Не просто это давалось и нам, и им.

Ефиму Дорошу мы позвонили тогда, когда готовились впервые отпраздновать День крестьянина, только что введенный властями. Спросили, не мог бы он написать для «Правды» публицистический материал, связанный с новым праздником. Дорош холодно ответил, что едва ли это получится, потому что правдисты, кажется, ошиблись адресом: его давно уже нигде не печатают. «Сельские дневники», которые публиковались в «Новом мире», вызвали чье-то неудовольствие. Заказ из «Правды» представляется ему неким нонсенсом. Он намекал, что мы, видимо, просто не осведомлены относительно его проблем и занимаемся самодеятельностью. Я настаивал, чтобы Дорош пришел в редакцию для более подробной беседы: знаем, что вас не печатают, и в этом не ваша вина, но вот сейчас, с этого момента, будет уже ваша, потому что мы предлагаем вам опубликоваться, а вы отказываетесь. Это будет, простите, уже на вашей совести.

Он пришел, но опять заявил, что в публикацию не верит. Тогда я попросил его подождать несколько минут. Пошел к Зародову, начал убеждать: «Если мы хотим, чтобы к «Правде» повернулись лица интеллигентных читателей, мыслящих людей из всех слоев, нужно печатать таких авторов, как Дорош. Либо мы действительно что-то хотим сделать, и тогда надо наплевать на многие «табу», либо не нужно вести речь об интересной проблемной «Правде». (А таких разговоров в то время в руководстве редакции было немало.) Зародов сразу согласился:

— Заказывай!

Вернувшись к Дорошу буквально через 10–15 минут, я сказал, что, конечно, он может по-прежнему не верить мне, но я передаю ему ту же просьбу от первого заместителя главного редактора

Константина Ивановича Зародова. Для солидности и официальности добавил, что он кандидат в члены ЦК КПСС, и его обещание напечатать материал в газете что-нибудь да значит. Дорошу уже просто неудобно было отказываться.

Буквально через два дня (времени до праздника почти не оставалось) Ефим Яковлевич принес очерк. Я немедленно сдал его в набор, ни слова не правя.

И вот настал день, когда очерк стоял в полосе. Приехал Дорош, чтобы его посмотреть, вычитать и, если нужно, — сократить; приехал в два часа дня, как сейчас помню, и я чувствовал, что он все еще не верит в реальность публикации. Прямо скажем, не потому, что там было что-то такое особенное. Просто его долго нигде не печатали, а тут вдруг он видит свой очерк на странице «Правды», главного партийного официоза. Я сообщил, что все в порядке, материал идет, ну, единственное, что его сейчас читает главный редактор, и у него могут быть какие-нибудь предложения.

Раздался телефонный звонок, Зимянин сказал: «Зайди», я отправился к нему, а Дорош провожал меня очень и очень недоверчивым взглядом.

На столе у Михаила Васильевича лежала полоса с очерком Дороша, вся исчерканная синими чернилами, и он сразу раздраженно сказал:

— Ты все время тащишь в газету кого не надо, не можешь заказать даже праздничную статью кому-то надежному…

Я возразил, что как раз таким и считаю Дороша — прекрасно знает село, хорошо пишет, пользуется большой популярностью… Зимянин взорвался:

— Ты знаешь, о чем я говорю! И что это за статья, черт ее побери: тут в каждом абзаце «грязный труд»! Пять раз это сказано!

— Михаил Васильевич, это упрек мне, как редактору. Пять раз «грязный», конечно, неприлично. Где-то заменим.

Зимянин, разумеется, видел меня насквозь, чувствовал все ханжество моих речей, фальшивую покорность. Серьезных аргументов, чтобы снять очерк, кроме раздражающего имени опального автора, не было, но главный мог снять его и без аргументов. Я это прекрасно понимал. Но он не снял, потому, что действительно стремился все-таки изменить газету, сделать ее интереснее, к тому же, я думаю, с ним успел поработать Зародов. Константин Иванович, как я заметил, даже написал на календаре после нашего разговора: «к нам повернется интеллигенция…»

Михаил Васильевич брезгливо бросил мне полосу:

— Ладно, возьми, только сними там эту лишнюю «грязь».

Я очень радостный побежал к Дорошу.

— Ну вот, все в порядке, Ефим Яковлевич!

А он, увидев исчерканный текст, буквально побледнел и сказал:

— Знаете, я не готов настолько править очерк…

Пришлось наврать: мол, не стоит обращать внимание

на то, что здесь наляпано, это связано совсем с другими, соседними материалами. Поправка требуется только одна и, на мой взгляд, замечание главного редактора совершенно справедливо: в очерке пять раз употреблено одно и то же слово — «грязный». Просьба хотя бы в двух случаях заменить его какими-то синонимами.

Он смотрел на меня недоверчиво, потом спросил: это действительно все? Все, — ответил я, — и главный редактор уже подписал полосу.

Дорош молча взял текст, стал смотреть, и уже не помню, какие слова вписал, а я через секретаря отправил очерк в типографию.

Он сидел, сначала даже молча, потом спросил меня:

— Не будете возражать, если я здесь подожду выхода газеты?

Я объяснил, что придется ждать до шести вечера. Дороша это не смутило. Он так и просидел до шести.

Сбегав в типографию, я принес ему целую пачку газет, взяв их с машины. Он как-то очень трогательно рассматривал номер, говорил какие-то хорошие слова, а потом вдруг сказал:

— Вы знаете, мне стыдно.

— Почему же? — спросил я, думая, что он стыдится своего упрямства до публикации.

— Я вас обманул.

— В чем же, Ефим Яковлевич?

— В том, что я ведь не писал для вас специально новый очерк, просто взял кусок из очередного своего сельского дневника. Продолжение его было набрано в «Новом мире», а цензура сняла его именно из-за этого куска, именно из-за того, как я оцениваю крестьянский труд — грязный и тяжелый. И вот теперь чувствую себя неловко, может быть, как-то вас подвел.

Пришлось успокаивать: не вижу, мол, в этом ничего дурного. Но я уже понимал, почему ему стыдно: он устроил нам, да простят мне вульгарность, «проверку на вшивость», как говорят лагерники. Зовете сотрудничать — вот вам в порядке экзамена то, что, скорее всего, вы не напечатаете, что уже другими было отвергнуто. Будете выкручиваться, извиняться… Не верил, что напечатаем!

История эта имела анекдотическое продолжение. Дорош

однажды позвонил мне — мы довольно часто общались после того случая — позвонил и сказал:

— Знаете, какая забавная вещь: ведь цензура снова сняла из «Нового мира» мой дневник и снова из-за того куска. Тогда я заключил его в кавычки и предпослал ему одну фразу: «Я писал об этом в “Правде” так», дал ссылку на газету. Подействовало, дневник опубликован.

Так же однажды кто-то из нас, думаю, Виталий Степанов, позвонил Александру Яшину и пригласил его в редакцию. Он пришел, тоже, правда, не очень доверчиво восприняв поначалу это приглашение. Но человек он был мягкий, и пришел, я бы сказал, не сопротивляясь. Мы устроили чай с сушками, сидели и разговаривали о том, о сем. Александр Яковлевич как-то расслабился, растрогался, говорит, пригрели вы меня, ребята, хорошо это все, но командировку, которую вы мне предлагаете, я, конечно, принял бы, но у меня нет уверенности, что напишу чего-нибудь.

Мы стали убеждать, давайте, мол, попробуем. Надо сказать, что в «Правде» был такой порядок: в командировку мог послать не только редактор отдела, но и заместитель редактора, то есть я в данном случае, без всяких там бюрократических проволочек. Просто я шел и подписывал у ответственного секретаря или у одного из замов главного бланк командировки, на этом вся процедура оформления поездки и заканчивалась. Отчет потом требовался только чисто бухгалтерский, а то, что человек написал, зря посылали или не зря, это было как бы на нашей совести.

Мы знали о крайне трудном материальном положении Яшина в это время. У него была большая семья, а после знаменитых «Рычагов» и «Вологодской свадьбы» его нигде не публиковали. Не буду пересказывать эту историю, она довольно хорошо известна, и у нас было желание вроде бы реабилитировать его, напечатав в «Правде». Мы понимали и то, что для него имеют значение даже скромные наши суточные, аванс под командировку.

Сначала он поехал в родную Вологду, но там приболел, очень переживал, что для газеты ничего не удалось сделать. Потом мы его командировали в Харьков. Срок был довольно длительный, и через некоторое время мы стали получать от него письма, примерно, такого содержания: езжу по колхозам, знаменитым, богатым, смотрю, но что- то ничего не пишется. Нехорошо мне, стыдно, сижу тут, а толку никакого, ничего вам не шлю.

Некоторые из писем у меня сохранились, например, это:

«Все еще не написал я. А каждый день кажется, что вот-вот найду то самое нужное, что щелкнет вдруг что-то и писать мне

будет легко-легко. Понимаю, что это не по-газетному, но что делать, потерпите еще, не считайте меня творческим импотентом. Сам измучился».

Мы ему звонили, успокаивали, говорили, что напишет что-нибудь в конечном итоге, но надо сказать, что он опять вернулся из командировки, не написав ни строчки. Он просто был требователен к себе, а потом признался еще, что председатель знаменитого колхоза, о котором хотел писать, ему по-человечески не нравился, и это мешало, не мог себя преодолеть, хоть и убеждал, что колхоз хороший, другие люди тут не при чем… Может, думаю теперь, просто не хотел писать банальное или врать о сельских делах, которые понимал глубоко.

Через некоторое время мы все же снова послали его в Вологду. Он этому отчаянно сопротивлялся, но у нас было убеждение, что отдача непременно будет, надо просто преодолеть инерцию длительного вынужденного молчания. Не может такой талантливый поэт и писатель не зажечься чем-то от жизни, не вылить, в конце концов, свои впечатления в той или иной форме на газетную полосу. Так, собственно, и произошло. Сначала он, правда, тоже, вернувшись из Вологды, вошел ко мне в кабинет и вместо «здравствуй» сказал:

— Какой же изобретательный народ! Ты посмотри, какую великолепную изобрели машину, чтобы гнать самогон. Никаких там трубок, никаких сложных систем. Внутри одной кастрюли стоит другая, накрыта она, эта внутренняя кастрюля, тарелкой, там кипит варево, из которого гонят самогон, и с тарелки он стекает в большую кастрюлю. Вот вся система.

Он это все нарисовал, я попросил его поставить на «чертеже» подпись и передал Виталию Степанову: храни, мол, это народное творчество, оформленное Александром Яшиным, может быть, пригодится для музея.

Потом он стал рассказывать о своих впечатлениях от поездки, что там меняется в деревне. Смотрю, говорит, бегают мальчишки, такие же сопливые, как и я был, в таких же длинных рубашках, без штанов, но бегает и сосет кусок сахара, огромный кусок колотого сахара! Мы же об этом мечтать не могли!

Он снова разводил руками и извинялся:

— Вы меня простите, но ведь я опять ничего не привез.

Честно говоря, что-то дрогнуло во мне, вроде как перед редакцией даже неловко, но я опять его успокаивал. А вскоре он дал прекрасные стихи. Они пошли, правда, не по сельхозотделу, а по отделу литературы, где редактором в то время был Георгий Куницын, с которым мы сотрудничали. Считаю, что все эти поездки, все эти командировки были оправданы не только

потому, что способствовали рождению новых стихов, может быть, из числа лучших яшинских, но и просто потому, что удалось поддержать человека в трудный момент.

О Яшине я мог бы рассказать еще много любопытного. О том, как он, уже будучи известным поэтом, в целинные годы на Алтае поступил в училище механизации. Его там звали Сашка Рыжий. Учился инкогнито и на уроках общественных дисциплин забавлялся тем, что бойко нес какую- то очень правильную околесицу, получая за это пятерки. О том, как я встретил его перед последней поездкой в Вологду, и он восторженно сообщил: медведя обложили, ждут меня, предстоит прекрасная охота. Как он вернулся оттуда больной и уже не встал. Но все это, думаю, напишут другие, те, кто лучше знал его…

Однако расскажу еще один примечательный эпизод.

В журнале «Журналист» появилась статья Георгия Радова, где он рассказывал историю с «Вологодской свадьбой». О том, как приехал в Вологду некий журналист и организовал письмо в газету от молодежи, возмущенной якобы клеветой писателя на вологодскую действительность — расхожий прием. Радов хорошо написал и с намерениями, конечно, самыми добрыми. Как раз вскоре после этого Яшин зашел ко мне. Сидел в кабинете, развалившись в креслице, и что-то рассказывал. В это время входит Георгий Радов. Торсистый такой он был, с крупным лицом, грубо вырубленным, жизнелюб — и выпить любил, и женщин любил, прожил жизнь полнокровно, писал так, как думал. У нас были очень добрые отношения еще со времен алтайской целины, когда он пришел в редакцию, в наш сельхозотдел, довольно известный уже писатель, а прежде хорошо нам известный и даже знаменитый редактор «Курской правды». Пришел так запросто, как коллега, заговорил так располагающе, что все мы у него стали близкими друзьями. Это получалось естественно, не нарочито, умел он, надо сказать, вообще разговаривать с людьми, и с коллегами и, как я потом убедился, с председателями колхозов, с трактористами.

Входит он в кабинет, немного такой торжественный, сияющий. Зашел, наверное, чтобы немножко похвастаться что ли перед товарищем своим выступлением в «Журналисте». А увидел еще вдруг и Яшина, и, похоже, совсем уж обрадовался: вот сейчас поднимется ему навстречу Саша Яшин и скажет какие-то теплые слова, похвалит его публикацию в свою защиту. Яшин молчит. Георгий покрутился немного, что-то поспрашивал, как вы тут, мол, как дела, а потом все-таки не выдержал:

— Саш, как я все же приложил этого подонка, а?

А Яшин спокойно так, склонив голову набок, посмотрел на

него немножко даже вроде с укоризной, и говорит:

— Слукавил ты, Жора.

Это оказалось совсем уж неожиданным. Георгий просто растерялся.

— Как слукавил? Что ты такое говоришь? Я же прямо все написал!

— Да, нет, — говорит Яшин, — слукавил ты. Это нехорошо.

— Да в чем слукавил-то?

— Но ты же написал, что журналист организовал письмо, а ведь это был работник ЦК комсомола.

— Да какая разница! Теперь-то он журналист, я же о человеке писал, о типе!

— Но ведь не журналист он, — снова тихо так и с упреком возразил Яшин, — причем тут журналисты-то, если цековский?

Эта сцена говорила нечто о Яшине последних лет его жизни. Как-то вдруг, особенно после смерти Вероники Тушновой, потрясшей его, он стал вроде бы просветленным, до конца, до дна, до невозможности честным, не терпящим даже малейшей лжи, малейшей неточности или лукавства, как он говорил. Он уже чувствовал, наверное, что смертельно болен. Поговаривали о его религиозности в тот момент, но об этом не знаю, и дело в любом случае не только в этом — в осмыслении и самое себя, и окружающих с позиций человека уже, в общем-то, прожившего жизнь, подбивающего итоги и не позволяющего себе врать даже в малости. Было в этом что-то очень серьезное, грустное и очень привлекательное.

Расскажу еще одну «писательскую» историю — с Сергеем Крутилиным.

Мы получили письмо из одного рязанского села о том, как там заготавливали картошку. Письмо, которое было криком души человека, натерпевшегося от администрирования. Автор вспоминал историю с секретарем Рязанского обкома партии Ларионовым, который в свое время стал символом администрирования: область выполнила два плана по молоку, он добивался третьего, на чем и сорвался…

Понимаю, что многие уже ничего не помнят или не знают даже о Ларионове. Фигура эта столь сложная и крупная, что не надеюсь охарактеризовать ее коротко, между прочим. И все же: послал Ларионова в Рязань, как рассказывают, Сталин — вытянуть область на такой уровень, чтобы стала образцом для своей зоны. Сделал Ларионов много. Когда я был в Рязани с алтайской делегацией, нам показывали результаты его усилий, начиная с ярких уличных фонарей на асфальтированных дорогах и площадях. А в деревне о нем отзывались просто с восторгом. Он

знал по имени-отчеству чуть не всех доярок, устраивал им праздники с чаем и танцами, сам с ними танцевал, и многие, очень многие женщины рассказывали об этом с гордостью. Но в то время, когда я уже работал в Москве, здесь стали ходить слухи, что в ЦК КПСС накопились письма о перегибах в работе рязанского первого секретаря, о том, что заставлял колхозы скупать молоко у населения и даже масло в магазинах для сдачи государству в счет повышенных обязательств… Когда выполнение их сорвалось, а Москва начала расследования, Ларионов застрелился… Конечно, в жизни все это было сложнее, трагичнее…

Теперь, писал наш автор, старые методы принуждения возрождаются. Мы решили предложить это письмо Сергею Крутилину, автору книги, героем которой был партийный руководитель Парамонов. Созвучие не случайное, Ларионов был прототипом этого героя.

Мы пригласили Крутилина, предложили ему съездить в командировку и написать о возрождении административного стиля руководства, его противоречии новым методам хозяйствования, связанным с экономической реформой. И снова состоялся разговор, почти буквально повторявший беседу с Дорошем. Крутилин просто не верил, что из поездки выйдет толк, тем более что мы предлагали написать материал в острой форме, не скрывая, что речь идет именно о возрождении тех самых дурных традиций, о новых побегах от тех корней, которые проросли в свое время на рязанской почве. Он сказал, что в такую командировку не поедет, зря время тратить не будет: никто же не напечатает!

— Вы не верите, что напечатаем? А какое у вас основание подозревать нас в трусости? — разозлился я. — Не скрываете ли вы за этим свое нежелание ввязываться в историю, которая, как вам кажется, чем-то вам грозит? Если вы не поедете и не напишете — это будет на вашей совести…

Он уходил и возвращался, два раза уходил. Потом все- таки вернулся и взял письмо. Потом звонил и снова высказывал свои сомнения. Наконец, поехал и написал очерк, который назывался «Парамоновский корень», то есть уже заголовок содержал прямой намек на Ларионова. Автор не называл его имени, но ссылался на своего литературного героя. Очерк получился по тем временам чрезвычайно острым, но расчет был правилен, в редакции желание опубликовать его было велико, и хотя все немножко ежились, материал поставили на газетную полосу. И снова повторилось нечто подобное тому, что было с Дорошем.

В день публикации Крутилин приехал в редакцию, увидел,

что очерк стоит в полосе, но висит огромный «хвост» — целая колонка, чуть ли не четверть текста не влезает на отведенное место, «Ну, конечно, — сказал он, — вы специально так поставили. Думаю, что это лучше не печатать». Я попросил его подождать, спустился к Юре Воронову, тогда ответственному секретарю редакции, и объяснил ему всю ситуацию.

— Ну, ты-то понимаешь, — возразил он, — что это никакие не козни, видишь, что иначе материал не поставить…

— Я-то понимаю, а вот Крутилин нет. Может и очерк снять, и как автора мы его потеряем.

А сверху, над крутилинским материалом, стоял снимок: какой-то там пароход, и волны от него идут.

— Юр, — говорю, — я понимаю, что картинка нужна, и пароход этот, наверное, хороший, но зачем тут четыре волны, черт подери? Оставьте вон те маленькие волны на горизонте и одну большую, а эти три огромные срежьте.

— Ты ж понимаешь, что фотографы скандалить будут! Вся красота в этих волнах.

— Красота красотой, а выступление-то у нас принципиальное, жалко резать. Все-таки в газетных снимках главное информативность, а в этом пароходе никакой информации нет, и волны эти — чистое украшательство…

С Юрием Петровичем мы вместе учились в одной группе в Ленинградском университете, жизнь много раз сводила нас и потом. Судьба у него была сложная, заслуживающая не мимолетного разговора, но все же… Блокадник. Мальчишкой написал те стихотворные строки, что сейчас высечены на граните мемориала в Санкт-Петербурге: «О камни, будьте стойкими, как люди…» Был главным редактором «Смены», потом «Комсомолки» — по рекомендации Аджубея. Снят был из-за статьи о преступлениях капитана знаменитой китобойной флотилии «Слава», которому покровительствовал украинский партийный босс и член Политбюро ЦК КПСС Шелест. Потом вот — «Правда», потом — ссылка в Берлин, собкором, и 14 лет «невъездной». В годы перестройки — новый взлет, о котором совсем уж трудно рассказать коротко из-за противоречивости ситуации, которая, по-моему, и привела его к гибели. Но сейчас о другом…

Юра позвал заведующего отделом иллюстраций и сказал:

— Давай-ка все-таки срежем три волны.

Тот, естественно, шумел, однако дело именно тем и кончилось — срезали волны, и Крутилину пришлось сокращать совсем немного. Но любопытный эффект: он, подозревая, что проблема вовсе не в технике верстки, взял и сократил самые острые и интересные места. Я страшно разозлился и, потеряв, как

говорится, дипломатический тон, высказал ему все, что про него думал. Сам все важное восстановил, сам и сократил то, что поплоше. Он подписал верстку, и статья вышла.

Конечно, уже на другой день мы ожидали серьезного нагоняя. Но его не было, и однажды, когда мы сидели у Зародова, он вдруг сказал:

— А ты знаешь, почему нас из-за Крутилина никто не трогает? Потому, что думают: не может быть, чтобы они напечатали такой материал без согласования. А вот с кем — никто не знает, думают, может, о самых первых лицах.

Как ни смешно, но в его шутливо высказанной догадке содержалась, возможно, большая доля истины, потому что в то время нам это выступление просто так уже не могли простить.

Наверное, важно сказать и о тех писателях, с которыми мы пытались сотрудничать, однако не удалось. По разным совершенно причинам.

Не получилось с Василием Беловым, уже выпустившим к тому времени свою талантливую книжку «Привычное дело». Она, естественно, вызвала наш интерес к нему, желание заполучить в авторы газеты. Познакомились, когда он вместе с группой других писателей возвращался из паломничества на Дон к Шолохову. Рассказывал о нем восторженно. В связи с шолоховским затворничеством и возникла в разговоре такая тема: Белов сказал, что его зовут в Москву, не знаю, кто звал, но речь шла не о визите, а о переезде. Я высказал свое мнение (поскольку он спрашивал), что это стоит размышления. Мне казалось, что в «деревенской» литературе, начинавшей в то время привлекать внимание всего общества своей критичностью, выходившей даже на передовые позиции в осмыслении системы, ее социальных проблем, все же недостает глубины, философичности. А ведь русская литература всегда славилась мудростью, тем, что восполняла если не отсутствие, то неразвитость философии в России. Все же не было у нас таких же крупных и всемирно известных философов, как, например, в Германии. Конечно, сейчас мне скажут о Бердяеве, Соловьеве, Флоренском, Блаватской и других, кого мы теперь узнали и даже как бы собрали за одним столом, но тогда-то, в шестидесятых, мало что знали об этих мыслителях, или почти ничего не знали, да ведь и то надо признать, что они в свое время не оказали столь значительного влияния на общественную мысль России, а тем более — зарубежья, как те же немецкие философы. Между тем, писатели, о чем и шла у нас с Беловым речь, Толстой, Достоевский, Герцен и другие были действительно властителями умов. Мне казалось, что «деревенщикам» для того, чтобы

подняться на такой уровень, не хватает эрудиции и широты мышления. И в этом смысле Москва, просто даже общение с московской интеллигенцией, могли бы помочь таким талантам, как Белов. Представьте, говорил я ему, что Ломоносов не пришел бы в столицу… Василий возражал: не знаю, что здесь приобрету, но знаю, что потеряю — оторвусь от живой жизни, побудившей к письму, от источника своего творчества, от земли и ее людей… (Конечно, я своими словами излагаю его аргументы, вспоминаю только схему разговора.) А вот Шолохов, говорил он, доказал, что можно жить в деревне и быть крупным писателем, да и философом. Я же напоминал собеседнику, что «Тихий Дон» Шолохов написал не в станице Вешенской или не совсем в Вешенской, работал он и в Москве, и в Ростове, а вот когда стал затворником, не отличался уже ни плодовитостью, ни прогрессивностью взглядов, а даже совсем наоборот. И он, и возглавляемая им писательская «донская рота», с которой я близко познакомился в Ростове, играли в российской жизни довольно неприглядную роль. Не знаю, кто из нас оказался прав: с одной стороны, Белов еще написал прекрасные вещи о своей деревне, с другой — по взглядам на общественную жизнь в каких-то трудах приблизился к худшим волонтерам донской роты, может, и заразился вот тогда от них…

Совсем другой во всех отношениях, оставившей светлый, теплый след в душе, была короткая, к сожалению, встреча с Василием Шукшиным. Это был человек, способный обаять буквально за минуты, что и случилось со мной. Он-то, по-моему, более других приблизился в то время к философскому уровню художественного осмысления действительности. Приблизился и стал бы еще более значительным явлением в нашей литературе и общественной жизни, если бы не ушел из жизни так рано. Уже один его роман «Я пришел дать вам волю» убеждает в этом. Вспомните, как атаман на пути к Москве размышляет о темной и страшной силе, которая противостоит ему. Он не понимает, что это такое, что именно страшит его впереди, только чувствует над собой нечто нависшее, словно черная туча, и готовое его уничтожить. Бояре? Да нет, не боится он их, десятками в речку «сажал» (то есть топил с грузом). Что же так тяжело на душе? И писатель объясняет то, что было доступно чувству, но не доступно мужицкому уму: эта страшная сила ГОСУДАРСТВО. Так же выделено это слово и в тексте романа. Вспомните и то, почему атаман убивает Ваню Солнцева: тот рассказал, как зверствуют посаженные Разиным на власть казаки — хуже бояр, потому что меры не знают. И Разин стреляет в Ваню: правде в глаза, как солнцу, он смотреть не может, той правде, что ставит под

сомнение сам смысл его движения, его смертной борьбы. А мы уже задумываемся, и писатель ведет нас далее к той мысли, что было бы, если бы атаман дошел до Москвы и воцарился в ней. Я очень люблю этого писателя, потому и не удержался от вольного, просто по памяти пересказа кусочков из его романа…

Мы очень хорошо тогда побеседовали, но он ничего нам в газету не написал и по очень простой причине: был слишком занят и как актер, и как режиссер, и как писатель, работал, словно вол, сверх человеческих сил, потому, наверное, и ушел из жизни рано. И потому, что работе той тяжкой еще и мешали…

Совсем опять-таки иное впечатление оставила встреча с Владимиром Солоухиным, тоже к тому времени заявившем о себе талантливыми публикациями. Его тоже привел ко мне, как и Шукшина, Виталий Степанов. Не возьмусь пересказать ту беседу, просто она не получилась. Не хочется говорить плохое о самобытном писателе, но и лукавить не хочу: он разговаривал высокомерно, по-барски, как-то еще при этом то ли чистя языком зубы, то ли что-то пережевывая — это усиливало впечатление пренебрежения к собеседнику. На мое предложение дать в «Правду» очерк на любую избранную им тему ответил, что есть у него дела и поважнее. Ну, уж не совсем так прямо, но дал понять. Что ж, может, он и был прав, ведь и другие не сразу брались нам писать, может быть, он чувствовал предубеждение по отношению к органу ЦК КПСС, для чего тоже были основания, только зачем тогда вообще нужна была та встреча? И ведь многие люди из интеллигенции демократического настроя, так же плохо относившиеся ко всему коммунистическому, партийному, умели понять и стремились поддержать наше желание использовать высокую официальную трибуну в благих целях.

А Федор Абрамов написал нам очерк, но мы его, к сожалению, не напечатали. Он сам зашел в «Правду», кажется, просто поздороваться с земляками-ленинградцами — учились вместе, он лишь на курс старше меня и Воронова. Тогда он только что сдал в «Новый мир» часть своего большого литературного труда о северной деревне. Показал мне письмо Твардовского — отзыв о его рукописи. Показывал как-то странно, из своих рук, только первую страничку. Я протянул руку, чтобы взять письмо, но он отодвинулся: «там дальше не важное». Забрал у него текст чуть ли не силой. Оказалось, что на первой страничке восторженный отзыв: давно не читал такого! — писал Твардовский. Уже на второй, кажется, тон резко менялся: где вы взяли такие слова… — и шел длинный перечень неудобоваримых, а порой и не понятных большинству людей диалектизмов. Федор не хотел показывать эту критику, чтобы не портить впечатления

от оценки Твардовского, которой по праву очень гордился. Но какая там критика! Обычные замечания требовательного редактора, а рукопись-то была оценена по высшей шкале и принята к печати. Просто я замечал не раз у Абрамова, этого даровитого писателя и прекрасного человека, черты какой-то трогательной наивности, может быть, и ранимости, а вместе с тем чувство достоинства, гордости. Он, возможно, был чувствителен к оценкам своего труда потому, что вышел с его результатами на люди в довольно зрелом возрасте… Нам он написал очень сильный очерк — о беспробудном, черном, безнадежном, убивающим пьянстве на селе. Очерк натуралистический, с картинами, вызывающими аж спазм в груди. Потому, что он был таким правдивым и талантливым, мы его и не могли напечатать, да и тема в то время была «непроходной». Мне не удалось доказать Федору, что напечатать это невозможно, а может быть, он не хотел признать такое «невозможно», не мог смириться с ним. Ведь то, что он написал для «Нового мира», тоже невозможно было вроде бы опубликовать, как и все, что писал потом и что все же публиковалось. Но «Правда» таки оставалась «Правдой», как бы мы ни гордились своими усилиями по ее преобразованию. Результаты, если особенно смотреть на них с нынешних позиций, были более чем скромными.

Хороший, по-моему, телеведущий Парфенов в своем цикле передач исторического характера, рассказывая о 1966 годе, назвал писателями «деревенщиками», чье творчество стало серьезной критикой колхозной системы, Абрамова, Белова, Астафьева, Распутина, даже как бы свел их в один отряд. Это было ошибкой, по меньшей мере, неточностью. Да, уже был известен Белов. Астафьев и Распутин начали тогда печататься, однако только еще в провинциальных изданиях, и их мало кто знал. Абрамов лишь в 1969 году опубликовал свою «Пелагею». Объединять их по взглядам в одну группу тем более неправомерно. «Деревенщиками», которые действительно в то время взбудоражили общественность своими правдивыми рассказами о селе, называли в основном других. Прежде всего, это Овечкин, Дорош, Крутилин, Радов, Можаев, Яшин и с 1966 года Белов (не пытаюсь расставить их в каком-то осмысленном порядке, по какому-либо иерархическому принципу, каждый был самобытен). Абрамов вошел в эту плеяду, мощно заявив о себе, но все же, как я сказал уже, это было много позднее… Теперь я причислю к этой «могучей кучке» и нашего друга Юру Черниченко, совсем недавно, ушедшего из жизни.

После мартовского пленума ЦК КПСС, положившего начало реформам, прошло еще совсем немного времени, но откат от его

решений, от сути реформаторских идей развивался стремительно. Показательно в этом смысле «дело Баракова», начальника Георгиевского производственного управления сельского хозяйства в Ставропольском крае. Выступления с рассказом о его экспериментах, а потом в его защиту были еще в «Советской России», когда мы и познакомились со Стреляным, в «Комсомолке», а теперь и в «Правде» — очерк Ю.Черниченко «Посеяно. Беречь!» (В первоначальном варианте — «Посеяно. Не топтать!», но кому-то это показалось слишком острым). У меня до сих пор хранится досье по этому делу. Любопытные, по-моему, документы.

«Справка. Дана тов. Баракову Иннокентию Ивановичу в том, что он, будучи начальником Георгиевского производственного управления, правлению колхоза «Коммунистический маяк» указаний продавать муку на рынке не давал. Правление колхоза вынуждено было самостоятельно частично реализовать пшеницу мукой для восстановления приходной части сметы, которая не выполнялась в связи с трехлетним неурожаем зерновых.

Что и удостоверяет

Председатель колхоза Чухно А.В.

Гл. бухгалтер Охват М.А.»

А внизу на документе приписка, адресованная мною Зимянину: «М.В.! Такие справки прислали все руководители хозяйств».

Нелепая, казалось бы, справка, но за нею стояло нечто серьезное и даже драматичное. Суть дела верно, по-моему, изложил в своих мемуарах «Жизнь и реформа» Михаил Сергеевич Горбачев, работавший в то время на Ставрополье и хорошо знавший Баракова. Он замечает, прежде всего, что в решениях мартовского пленума ЦК КПСС 1965 года была выражена объективная потребность в переменах. Однако этим решениям не было дано осуществиться на практике. Дело уже в том, что сам Брежнев, произнесший доклад, лавировал между различными группами в Политбюро, но по сути тщательно маскировал свою приверженность консервативным идеям. «Странная складывалась ситуация, — пишет Горбачев. — В газетах и журналах бурно дебатировались различные проекты, публиковались статьи экономистов и публицистов, а в то же время в возрожденных (после ликвидации совнархозов — А.В.) министерствах «тихо делали свое дело», все туже завязывая узел бюрократической централизации… и местные власти относились ко всем новациям очень скептически: «Они там в Москве болтают, а нам надо план

выполнять». В Ставрополье все это наглядно проявилось на так называемом «деле Баракова»… (Кн. 1, стр. 117)

Горбачев, называя Иннокентия Баракова «ярым поклонником» Лисичкина, пишет, что он выступал с предложениями расширить права колхозов в распоряжении произведенным продуктом, разрешить его свободную продажу, «смягчить» государственный план. Пока дело ограничивалось разговорами, пишет Горбачев, это мало кого волновало, когда же Бараков в своем Георгиевском районе попытался осуществить эти идеи на практике, все всполошились, восприняли это «чуть ли не как открытую атаку против всей «системы».

Мне очень интересны эти свидетельства и оценки, осмысленные Горбачевым уже в контексте собственного опыта реформ. Они в основном совпадают с нашими оценками того времени. Об этом свидетельствуют напечатанные в «Правде» статьи и публикуемый ниже (с сокращениями) любопытный документ, тоже хранящийся в моем архиве.

По телефону из Ставрополья за 12 января 1967 г.

тов. ВОЛКОВУ А.И.

29 декабря минувшего года бюро Георгиевского райкома партии приняло решение, в котором просит Ставропольский краевой комитет КПСС освободить от работы начальника Георгиевского производственного управления И. И. Баракова.

В решении бюро записано следующее: «Ввиду неправильного отношения к государственным планам, постоянного и грубого нарушения партийной и государственной дисциплины Бараковым И.И. считать невозможным дальнейшее его пребывание в должности начальника производственного управления, просить крайком КПСС от занимаемой должности Баракова освободить». В пояснительной части решения бюро начальник производственного управления обвиняется в поощрении колхозной торговли на рынке, в неправильном понимании решений партии и правительства, высокомерии, в том, что противопоставил себя бюро райкома партии, и других тяжких грехах… (были там просто политические обвинения вроде того, что его высказывания «объективно наносили вред делу воспитания кадров» — А.В.)

Председатели колхозов и директора совхозов, с которыми я беседовал, конфликт этот понимают и расценивают иначе. Они считают, что в Георгиевске сшиблись и борются две тенденции, два стиля управления колхозами и совхозами — тенденция мартовского пленума ЦК КПСС и тенденция старого административного стиля руководства, административного

нажима и мелкой опеки хозяйств. Видимо, работники райкома, не поняв директив и революционного значения решений мартовского пленума ЦК КПСС, не находят себе места и шаг за шагом скатываются к администрированию, по делу и без дела дергая руководителей хозяйств. Такое администрирование наблюдается не только в Георгиевском районе. Вот почему руководители колхозов и совхозов Георгиевского района так озабочены случившимся и простят, чтобы «Правда» вмешалась в конфликт.

Передал И. Бессонов, корр. «Известий».

Примечание: может быть, действительно нам стоит объединиться. Если будет сказано добро, я с удовольствием вольюсь в вашу мощную бригаду, поговорите с нашими товарищами. Ведь дело-то общее…

Это, как я уже говорил, был не единственный случай взаимодействия газет. Но чем дальше, тем меньшего нам удавалось добиться. И в данном случае, хотя «Правда» выступила в защиту Баракова вторично, ему это не помогло.

Горбачев в своей книге делает вывод, с которым трудно не согласиться: преобразования в сельском хозяйстве того времени, так же и в промышленности, «проводились заранее в четко очерченных рамках», выходить за них не дозволялось. Поэтому «дело Баракова» стало “свидетельством, с одной стороны, назревших перемен, а с другой — жесткой реакции системы на саму возможность подобного рода изменений” (стр. 118).

Избиение экспериментаторов, новаторов постепенно становилось нормой. Они, как правило, были незаурядными людьми, которым свойственно чувство собственного достоинства. Те же, кто претендует на максимум власти, как известно, этого более всего и не терпят. А к тому же настоящие новаторы, в отличие от искусственно созданных «маяков», неизбежно обнажают противоречия действующей системы, ее несостоятельность, подрывают и авторитет ее носителей.

Наверное, наиболее показательна в этом смысле история Ивана Никифоровича Худенко. О ней много писали в разное время, но я просто не могу не сказать своего слова. Несколько нарушая, правда, хронологию событий.

В конце шестидесятых — начале семидесятых годов об эксперименте в казахстанском совхозе «Акчи» можно было прочесть чуть ли не во всех газетах. Это опытное хозяйство, занимавшееся производством травяной муки, было создано на основе необычной организации труда, предполагавшей очень высокую самостоятельность и ответственность его звеньев за

результаты деятельности, а вместе с тем — упрощение и удешевление всей системы управления хозяйством. Оно и состояло именно из звеньев — механизаторских, строительного, управленческого, каждое из которых имело строго очерченные функции и фонд затрат на их исполнение. Обо всех тонкостях организации дела рассказывать сейчас просто не интересно. Пожалуй, наиболее показательна и занимательна даже теперь организация работы управленческого звена. Оно состояло всего из двух человек: директора Ли и экономиста Худенко, который и придумал систему. Каждому их них выдавалось по 1000 рублей, которые они расходовали на нужды управления. Надо ездить по механизаторским звеньям, поскольку трактористы требуют каких-то консультаций и помощи? Решай сам, как ездить: содержать машину с шофером или вызывать такси. Такси оказалось дешевле, на них и ездили, если требовалось. Не можешь дать полеводам ответ на трудный агрономический вопрос — вызывай консультанта из научного института, но плати ему сам из той же тысячи. А вот уж что останется — твое. Механизаторы и строители тоже заранее знают, что должны делать, имеют технологические карты, уже ни в чем не нужно их подгонять: сами решат, когда и как лучше выполнить работы, чтобы получить хороший результат. Дела шли хорошо, получали прибыль, заработки у всех были достаточно высокими. Но к несчастью умер зам. министра сельского хозяйства республики, подписавший документ об эксперименте, после этого и начались все беды. Приехали ревизоры, стали все и вся оспаривать.

Да, новаторы добились высокой производительности труда, стали хорошо зарабатывать, но первое мешало инертным людям, даже из соседних совхозов, спокойно существовать, второе вызывало раздражение и зависть районных руководителей: как же, тракторист, не говоря уже о Худенко и Ли, получает больше секретаря райкома партии! К людям, работавшим на особых условиях эксперимента, применили общие инструкции, и новаторы сразу оказались преступниками… Эксперимент был прекращен, на его участников, Худенко, прежде всего, заведено уголовное дело. В защиту Худенко и его товарищей выступали известные в стране экономисты Татьяна Заславская, Виктор Белкин, другие спецы, ездившие в Казахстан для общественного расследования, которое организовали журналисты. Однако все было тщетно. Кто-то, не помню теперь, привел ко мне Худенко, когда я уже ушел из «Правды» и работал в Институте социологии. Потом ко мне явилась большая группа членов его коллектива. Я мог помочь только через друзей, работавших в газетах, созванивался с ними, потому что болел, но они действовали и без

того сами. Казалось даже в какой-то момент, что добились своего. Здесь тоже интересно привести хотя бы два документа. Первый — письмо в адрес Худенко из Прокуратуры СССР.

7 мая 1972 г.
N 3/779-72
Гр. ХУДЕНКО Ивану Никифоровичу
г. Алма-Ата 64, ул. Чайковского, 149, кв. 12.

Сообщаю, что в связи с Вашей, а также гр. Ли М. В. жалобой было истребовано и проверено уголовное дело о злоупотреблениях в опытном хозяйстве Министерства сельского хозяйства Казахской ССР.

Прокуратурой СССР постановление прокуратуры Казахской ССР от 29 сентября 1971 г. о прекращении дела изменено — дело производством прекращено за отсутствием события преступления.

Прокурор следственного управления
старший советник юстиции Е. Онегин.

Я получил этот документ в сопровождении письма, которое приведу в сокращении:

Александр Иванович!

Рад переслать Вам ответ Прокуратуры СССР в фотокопии, из которого явствует, что участники эксперимента в «Акчи» официально признаны невиновными в злоупотреблениях, убытках и пр. смертных грехах, в которых их обвинил Минсельхоз республики и в которые поверили многие вышестоящие органы и их официальные лица.

Думается, что «Литгазета» имеет теперь все права и возможности выступить с обстоятельным материалом, направленным на восстановление эксперимента в Акчи, на публичное признание заслуг его организаторов и участников, а также полного восстановления репутации и авторитета тех, кто поддерживал экспериментаторов в тот момент, когда на них был наклеен ярлык воров и мошенников, и тем самым поставил под сомнение недальновидных, но находящихся «при исполнении»…

Воздействуйте своим непосредственным влиянием и через посредство своих знакомых на Кокашинского — для придания ему решимости и твердости духа — с тем, чтобы в ближайшее время появился в печати достойный самого события материал, который несомненно будет способствовать процветанию нашего социалистического отечества.

Желаем с Иваном Никифоровичем крепкого Вам здоровья, а также всяческих успехов в личной жизни и общественной

деятельности.

С глубоким уважением, Ваш В. Филатов

13 июня 1972 Алма-Ата.

P.S. Вероятно, в Академгородке (в СО АН) скоро будет заложен эксперимент, о чем Вы будете информированы.

Это писал член строительного звена, инженер. Не надо было ни на кого воздействовать, у журналистов хватило «твердости духа», тем более у Володи Кокашинского, который, по-моему, первым или одним из первых писал об «Акчи». Но… жарким августовским днем того же года ко мне вдруг ввалился Худенко и — с порога:

— Я, считай, сбежал из тюрьмы, меня приходили арестовывать…

Звоню по телефону Ивану Степановичу Густову, заместителю Председателя Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Мы с ним были хорошо знакомы с тех времен, когда он работал в Пскове первым секретарем обкома партии и сотрудничал с «Правдой». Рассказываю суть дела и прошу срочно принять Худенко.

Из КПК Иван Никифорович пришел не просто спокойный, а какой-то умиротворенный, расслабленный даже. Он был полный, 120 килограммов веса, сердце, видно, уже пошаливало, а в то лето в Москве стояла страшная жара. И еще висел дым, потому что во всей округе горели леса и торфяники. Помню, он снял пиджак, расстегнул рубаху, ремень, как говорят, рассупонился, снял ботинки и носки, развалился в кресле, положил ноги на стул и только тогда начал рассказ о своем визите:

— Отличный мужик Густов! Сразу все понял. Обещал помочь. Я просто, ну, совсем успокоился.

Через несколько дней я уехал в Прагу. Там и узнал, что Худенко умер в тюрьме. А к Густову я потом пытался попасть на прием, но принят не был, не знаю — почему. Уже в преклонном возрасте он покончил жизнь самоубийством, тоже не знаю — почему.

Когда мы работали в «Правде», и в голову еще не приходило, что могли творить Кунаев (на его совести Худенко!), Рашидов и другие. Замечали нечто, что нам не нравилось, но все это в нашем сознании укладывалось в рамки таких понятий, как «администрирование», «волюнтаризм», еще не появилось даже в широком обиходе «бюрократизм», которое, кстати, совершенно не отражает сути происходивших у нас процессов, как и понятие «командно-административная система», тем более не шла речь о коррупции, о мафии. Еще не были так очевидны для

общественности преступный характер деятельности многих высших руководителей, сращивание преступного мира и партийного аппарата, теневого бизнеса и чиновничества.

Выше я говорил, что газета «атаковала», но уже очень скоро пришлось обороняться. Силы противников, надо сказать, были куда больше наших. Особенно ретроградскую, я бы сказал, роль играла в то время газета «Сельская жизнь», за спиной которой стояла активная группа людей, сопротивлявшихся всему новому, и чрезвычайно влиятельная. В нее входили помощник Брежнева Голиков, помощник Кулакова Заколупин, который потом стал редактором «Сельской жизни», прежний ее редактор Алексеев, заместитель заведующего сельхозотделом ЦК Панников. Такая вот была «группа торможения». Не знаю, кто из них был там главой, не знаю, кто кого направлял. Известно, что и те, кто считался теоретиками партии, ее идеологами, тормозили прогресс, вмешивались в экономику с цитатами наперевес. Просто ненавидели того же Лисичкина в отделе науки ЦК КПСС, который возглавлял злобный ретроград Трапезников.

Для нас трудность заключалась и в том, что главный редактор «Правды», испытывая все большее давление со стороны противников экономической реформы, а также высокопоставленных хранителей «в чистоте» марксистской якобы теории, по сути же сталинско-сусловских догм, постепенно начал реагировать на каждый предлагаемый нами серьезный материал все более раздраженно. Однажды, когда я зашел к нему во время беседы его с работниками из аппарата ЦК, он в шутку, но, я бы сказал, не без злости, представил меня: «Вот наш главный хунвэйбин». В то время много писали о китайских хунвэйбинах, «опричниках» культурной революции, о том, что они «не работают, а только борются», и я сказал, что если смотреть на дело с этой точки зрения, так и верно хунвэйбин: после каждой статьи «борюсь» — пишу оправдательных записок по объему в десять раз больше самих статей …

Надо сказать, мне очень помогали в этом деле заведующий сельхозотделом, а потом первый заместитель начальника ЦСУ РСФСР Павел Гужвин и начальник вычислительного центра ЦСУ Шафик Камалетдинов, позднее и Клара Ивановна Панкова из ЦСУ СССР. Когда ортодоксы и ретрограды «наезжали» на нас, я звонил нашим друзьям-статистикам и говорил: «Ребята, помогите-ка нам как следует все посчитать». Такую основательность очень любил Зародов, да и других солидные таблицы впечатляли и убеждали.

С главным редактором мы все чаще спорили вокруг статей. Сначала, надо сказать, спор носил, как правило, довольно добродушный характер. Зимянин смотрел на меня поверх очков,

съехавших на нос, взгляд получался хороший, немного задорный и лукавый. Он возражал по статье, но я что-то доказывал, он внимательно слушал и чаще соглашался. Потом споры становились все более затяжными. Во время дискуссии он вскакивал и начинал ходить по одну сторону длинного стола для заседаний, что-то мне доказывая, а я бежал за ним по другую сторону и втолковывал что-то свое. Все быстрее и быстрее, все возбужденнее и шумливее, так и бегали иногда часа по три. Когда я выходил из кабинета, помощник главного подшучивал: «Сколько сегодня набегали?» Но потом дискуссии становились все более острыми, а он все более нетерпимым — по мере того, как усиливался нажим на редакцию. Настал момент, когда он однажды взял меня за шиворот и в шутку вроде бы вытолкал в коридор — не через главную дверь, а в боковой выход, к столовой: «Иди-ка там вот, в коридоре, подискутируй». Да, это была шутка, но уже стало ясно, что и не совсем, что это уже уклонение от дискуссии, даже неприятие ее.

Помню такой примечательный момент. Мы сидели над какой-то статьей, и он настаивал на сокращении острых мест. Мы «торговались», можно сказать, отыскивая более- менее приемлемую формулировку, но вот дошли до абзаца, который Зимянин непременно хотел вычеркнуть. Я же решительно возражал. Спор зашел в тупик, и я сказал, что статья без этого будет если не бессмысленной, то потеряет значительную часть своего смысла. А он давил на меня: «Вычеркивай, вычеркивай, убирай!» Меня это вдруг завело, я схватил карандаш, сунул ему в руки и заявил:

— Вычеркивайте тогда сами! Портите статью не моими, а своими руками!

Любопытный был эффект. Он схватил карандаш и минуту-другую, занеся его над тем злополучным абзацем, сердито молчал. Потом взял этот карандаш в кулак, как кинжал, и, водя вверх-вниз по газетному листу, разрывая его даже, весь абзац исчеркал и сердито бросил мне: «Возьми и иди». Этот эпизод запомнился именно потому, что потом не только его, но и других людей я заставлял так же вот задумываться над своей ответственностью за поступок, не позволяя вершить подобные редакторские казни чужими, во всяком случае, моими руками.

Передо мной сейчас целая пачка документов, записок того времени, отражающих и нашу борьбу с ретроградами, и постепенное отступление Зимянина со своих позиций. В рукописи книги я раньше писал о них, но сократил теперь, когда они уже стали совсем не актуальными, а главное — во многом современному читателю не понятными по реалиям. Однако они

показывают, что отступление от реформ шло тогда уже по всему фронту. «Новый класс» укреплялся, и ему представлялось, что править прежними методами феодального типа проще и приятнее, чем маяться с непривычными и непослушными «экономическими рычагами».

Как я превратил поэта в узника

В годы освоения целины к нам, на Алтай, приезжали многие поэты и писатели. Они непременно приходили в Алтайскую правду, очень влиятельную в то время газету, и часто предлагали те или иные свои услуги. Мы охотно публиковали стихи, прославлявшие крестьянский труд, героев уборки урожая, печатали в качестве подписей к карикатурам в наших листовках, а особенно — звонкие лозунги в виде «шапок» на всю газетную полосу и врезок в основной текст. Обычно мы тратили на такие броские строчки огромное время, сочиняя их, в основном, вдвоем с редактором газеты Абрамовым. Сидели у него в кабинете, и каждый закрывал от другого ладонью результаты своих творческих мук до тех пор, пока нужные строчки не складывались. Потому помощь московских поэтов имела для нас большую цену. Так мы познакомились со Светловым, Яшиным, Радовым, Куреневым, Бауковым и многими другими.

Приехал и Сергей Смирнов. Я попросил его тоже что-то написать специально для нас. Он охотно согласился, но выдвинул неожиданное для меня условие:

— Вы меня посадите в отдельную комнату и заприте на ключ. Если буду просить вас выпустить меня, лучше этого не делать. Что бы я вам ни говорил, как бы ни просил. Иначе работа у меня сорвется.

Я догадался, в чем дело, тем более что вспомнил слухи о пристрастии поэта к алкоголю. Комната, конечно, нашлась, дали гостю бумагу, ручку и прочее, что, по нашему мнению, требовалось для успешной творческой работы, но не мешало ей. Ключ, сотворивший затворника, удобно устроился в моем кармане.

Прошло часа полтора, и у меня в кабинете раздался звонок:

— Александр Иванович, мне надо перекусить немножко, откройте меня!

— А как стихи? — спросил я.

— Будут, но на это еще нужно некоторое время.

— Простите, Сергей Васильевич, но вы сами просили не выпускать вас, пока не напишете стихи.

— Да, но я сейчас хочу кушать!

— Понимаю. И тут же отопру вас, как только вы подсунете под дверь вашей комнаты готовое стихотворение.

Что-то еще пробурчав, поэт положил трубку. Но буквально через полчаса позвонил снова.

— Я хочу писать! (Не писать, а именно писать имелось в

виду)

— Да, это серьезно. Но на всякий случай у вас там есть мусорная корзина, можете воспользоваться!

Короче говоря, я был вежлив, но совершенно непреклонен. Понимал, что это граничит уже с издевательством, но ведь он сам определил условие — ни при каких обстоятельствах не открывать дверь, если не будет готов стих. «Что бы я вам ни говорил».

Стихотворение было нужно в номер, я уже отвел для него место на газетной странице и отступать не мог. Переговоры продолжались время от времени, но безрезультатно. Помнится, что длилось это, примерно, часов пять. Я нервничал еще потому, что не знал, каков будет результат, что он напишет. Несмотря на весь драматизм событий, убей — не помню, что же за стишок получил в конечном итоге. Но совершенно отчетливо вспоминаю и теперь, как поэт просунул мне под дверь пару листов бумаги с текстом, и, как, прочитав стихи, я отпер дверь, сказал спасибо. А он вышел, улыбаясь, ничуть не обиженный и даже довольный собой. Я также уверен, что стихи эти были напечатаны.

А потом Смирнов уехал в Кулунду и оттуда телеграммами слал новые стихотворные строчки, одну из таких телеграмм и теперь помню. Она была реакцией на то, что крайком КПСС объявил ударную пятидневку по завершению уборки богатейшего целинного урожая. Строчки были такие:

В пятидневке ударной работать ударно,
Чтоб Родина-мать нам была благодарна!

Пирровы победы

Однажды, только придя в редакцию, я был вызван к Зародову. Он ходил по кабинету взволнованный, красный, как всегда при неприятностях, и сразу быстрыми шагами подошел к двери, навстречу мне:

— Читал?

— Что?

— Ну, в «Сельской жизни»?

Честно говоря, я не представлял, о чем речь, но почему-то не захотел в этом признаться. Потому, наверное, что догадался — о чем, и просто спросил:

— Ну и что?

— Как что?! — возмутился Зародов моему равнодушию. — Раньше его критиковали за какие-то теоретические положения, план и рынок, товар-деньги, а тут опровергают каждый факт! Тут же цифры, а не рассуждения. «Фактам вопреки»!..

Я понял, что речь идет об очередной статье против Лисичкина, но, чувствуя взволнованность Зародова, почему-то решил и дальше врать, будто мне все известно, сохранить невозмутимость и продемонстрировать свою уверенность:

— Я абсолютно убежден, что Лисичкин ничего не мог напутать, он очень серьезно работает со статистикой. Очередная брехня!

Зародов уже спокойнее спросил:

— Считаешь, что можно ответить?

— Не сомневаюсь. Когда надо?

— Ну, как? Надо быстро, как можно быстрее.

Я демонстративно посмотрел на часы:

— Сейчас десять… Часам к двенадцати?

Тут он уже разозлился, поняв, что я немного играю:

— Не ерничай, Александр Иванович! Если за неделю-полторы сделаете хороший ответ, так слава Богу. Только чтобы было так: не рассуждения, а по каждому факту, который они считают неправильным, — конкретный ответ, на каждую цифру — цифра, а потом уже можете рассуждать, как хотите, о своих взглядах…

Речь шла о статье, которую написала группа специалистов из Ставрополья. Не знаю, кто сочинял это произведение, но подписали первый секретарь крайкома партии Ефремов (бывший заместитель председателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР), начальник краевого управления статистики Цогоев, один секретарь райкома партии, один начальник районного производственного

управления и довольно известный председатель колхоза. Горбачев пишет в своих воспоминаниях, что эта статья была прямо связана с «делом Баракова», успех его вдохновил ставропольских ретроградов. «Ефремов, тонко чувствовавший конъюнктуру, видимо, решил, что с этим запасом идей «наша организация должна выступить» и на общественной арене». (Кн. 1, стр. 118)

Не успел я дочитать это, надо сказать, чрезвычайно мерзкое сочинение, как пришел Лисичкин. Бросил на стол широким жестом очередную свою статью и сказал, как всегда:

— По-моему, получилось!

Это было постоянно повторявшейся шуткой. После его заявления я должен был прочесть статью и начать с изуверством садиста ее препарировать, доказывая, что пока еще не получилось. На этот раз я просто ошарашил Геннадия сообщением о том, что его снова критикуют. Он сразу посерьезнел, погрустнел, и мы начали читать ту самую статью, которая сейчас у меня в руках.

Она была опубликована 13 сентября 1967 года. Критиковали, конечно, не выступления Лисичкина в «Правде», потому что это им было не по зубам, а те, что он печатал в «Новом мире», на сей раз — статью «Спустя два года», опубликованную во втором номере журнала за 1967 год. Говорю, что ставропольская статья была мерзкая с полным основанием, и хотел бы подтвердить эту оценку хотя бы некоторыми цитатами.

«Пример… совершенно неправильного подхода к трактовке важнейших экономических проблем статья Г. Лисичкина… Судя по заголовку, она претендует на то, чтобы показать те большие изменения, которые произошли в деревне после мартовского 1965 года пленума ЦК КПСС. Однако автор видит свою цель в другом. На словах ратуя за претворение в жизнь решений пленума, на деле он искажает их по ряду конкретных принципиальных вопросов, … стремясь обосновать свои домыслы, автор статьи передергивает и искажает факты, относящиеся к жизни и деятельности колхозов и совхозов Ставропольского края»

«Под видом заботы о совершенствовании планирования на основе укрепления товарно-денежных отношений он, как и некоторые другие экономисты, доходит до абсурдных, оторванных от жизни предложений: о свободной реализации колхозной и совхозной продукции, об отмене планирования государственных закупок продуктов в натуральном выражении. По существу дело дошло до фетишизации товарно-денежных отношений, до непомерного преувеличения роли закона

стоимости как якобы регулятора социалистического производства».

Сознаюсь, что и у меня слегка дрогнуло сердце, когда я увидел множество цифр, которые якобы переврал Лисичкин, да еще в статье, подписанной в числе авторов начальником краевого статистического управления. Понятнее стала тревога Зародова. Но Геннадий сразу заверил, что не может быть у него никаких ошибок.

Как всегда в подобных случаях, я сразу же позвонил в ЦСУ РСФСР Павлу Гужвину и, рассказав ему, в чем дело, попросил дать материалы, которые помогли бы нам разобраться во всей этой цифири. И в тот же день мы получили великолепный двухтомник, две отпечатанных на ротапринте книжечки, составлявшие отчет Ставропольского статистического управления за подписью того самого Цогоева, который подписал и статью! И в тот день, и на следующий, внимательно в него вчитываясь, мы с удивлением, а уж скажу откровенно, и с радостью, обнаружили, что в статье Цогоев пишет одно, а в закрытом отчете — совсем другое, даже противоположное. На этом в значительной мере и был построен наш ответ.

Мы готовили его вдвоем, подписывал, естественно, Лисичкин. Когда текст был готов, его еще несколько раз смотрел и возвращал нам Зародов, требуя доработок, уточнений, скрупулезности. Потом сам с карандашом в руках «вылизывал» его, потом то же проделал Зимянин, и ответ был направлен в «Сельскую жизнь».

Довольно долго редакция этой газеты молчала, а потом пришло издевательское сообщение: письмо Лисичкина переслано авторам статьи.

Тогда мы предложили тот же текст «Новому миру», хотя Зародов просил не публиковать его сразу. Он был направлен и в ЦК КПСС, официально. Оттуда мы не получили никакой реакции, да и не могли получить, потому что, конечно же, статья «Фактам вопреки» изготавливалась под руководством той самой «группы торможения», о которой я говорил, а к ней же, вероятно, и попало наше опровержение. Но в то время статьи в «Новом мире» проходили медленно, потому что долго мариновались в цензуре. Журнал все время опаздывал, и тогда, когда ответная статья Лисичкина была на выходе, мы получили благословение на сию публикацию от руководства нашей редакции. Этому, правда, предшествовал еще один примечательный эпизод.

Когда статья в «Новом мире» была уже набрана, цензура потребовала визы ЦСУ — хотели подтверждения всех цифр.

Может, думали и о том, что мы не получим такой визы. Через Гужвина мы обратились к начальнику ЦСУ РСФСР Борису Тимофеевичу Колпакову. Знали, что кто- либо из сотрудников рангом ниже дать «добро» не сможет, к тому же такая подпись и не будет признана. Понимали, что Колпакову это одобрение статьи может выйти «боком», на отказ даже и не обиделись бы. Старый партийный работник, тертый, как говорят, калач, человек битый уже не раз и крепко, сохранил и принципиальность и смелость. Позвонил нам, сказал только: «Не надо ко мне, сам к вам приеду». На несколько минут заскочил в «Правду» и поставил нужную подпись. Повторяю: он рисковал. Да, и в эти времена многое держалось на личном мужестве людей, на поступке отдельного человека. Часто думаю об этом: важны законы, важны институты демократии, но они ничто без человеческой принципиальности, нравственности, готовности совершить поступок в соответствии со своими убеждениями.

Конечно же, после новомировской публикации (1968 г., № 12) сразу разразился скандал. Не знаю, кто звонил Зародову и Зимянину, но звонки, по их словам, раздавались часто, нам же сообщали только о самом факте этих атак. Но оба, надо сказать, были подготовлены к схватке и вели себя достойно. Оба не отрицали своей прямой причастности к публикации Лисичкина и солидарности с ней. Им говорили: почему же это Лисичкин, ваш обозреватель, выступил не в «Сельской жизни», а в беспартийном журнале сомнительного толка? Этим товарищам отвечали, что газете «Сельская жизнь» публикация была предложена, но из редакции получен издевательский ответ (и зачитывали). А почему в «Правде» не напечатали? Не считаем это удобным — отвечать в «вышестоящей» газете. Тогда, говорили товарищи, почему же вы не прислали текст к нам, в Центральный комитет, мы бы разобрались и приняли меры. В Центральный комитет, отвечали наши руководители- правдисты, статья тоже была послана, но за три месяца редакция не дождалась ответа. Так все атаки были отбиты. Но это была победа из тех, которых победителям не прощают. В этом мы довольно скоро смогли убедиться.

Как я налаживал отношения с ЦК КПСС

Однажды меня пригласил Зародов и сообщил, что его вызывают в сельхозотдел ЦК, чтобы объясниться по каким-то правдинским статьям.

— Я не поеду, — сказал он, — а ты поезжай. Ты все только ссоришься с сельхозотделом, а давай вот налаживай отношения. Надо учиться, в конце концов, работать в контакте с отделами Центрального комитета. Поезжай и завоевывай себе союзников.

Руководитель сектора экономики начал разговор со мной мягко, с вопроса: как, мол, вы расцениваете выступления в вашей газете Лисичкина, Кассирова, других авторов? Я сказал, что хорошо расцениваю, и это естественно, поскольку сам готовил их к печати. По-моему, говорю, это выступления в духе мартовского и сентябрьского пленумов ЦК КПСС, съезда партии.

— А есть и другое мнение, — сказал он. Встал, достал из кармана ключ, прикрепленный цепочкой к поясу, чтобы не дай Бог не потерять, открыл здоровенный железный сейф, извлек оттуда довольно толстую папку с машинописным текстом и положил передо мной. Не помню, какой там был заголовок, но с первых строк речь шла о статьях в газете «Правда».

В глаза мне сразу бросился характерный для партдоносов стиль этой записки, такой же, примерно, как в «Сельской жизни», сплошь политические обвинения и ярлыки. То называли фамилии, то говорили о «некоторых экономистах», но подразумевались все те же люди. По мере того, как читал, эта бумага все больше раздражала меня, и я начал по ходу чтения комментировать ее, примерно, так: «Ну, вот это нелепость, ничего такого мы не писали», «а это уже совсем глупо». Потом заметил, что автор-то, конечно, Ленина никогда не читал и разделал под орех его раскавыченную цитату будто бы с «марксистско-ленинских позиций». Я читал дальше, листая страницу за страницей, там было их примерно тридцать и, распаляясь все больше, ехидничал, конечно, на их же партийном языке:

— Ну ладно, не добрались до Ленина, до Маркса, но уж решения-то партии могли бы прочитать. Вот нас критикуют за то, что мы выступаем за «всемерное развитие товарных отношений» — так это издевательски ставят эти слова в кавычки. А ведь они — прямо из документов мартовского пленума ЦК!

Издевался я над автором как мог, а когда перелистнул последнюю страницу, увидел подпись… человека, который сидел передо мной.

Разве могло мне прийти в голову, что он даст мне читать

свою записку со словами «есть другое мнение»? Я думал, что это сочинил кто-то из той же «Сельской жизни» или из ее авторов. А во время чтения и комментирования он сидел молча и как-то тупо на меня глядя ничего не выражающими, холодными рыбьими глазами. По-моему, нормальный человек должен был бы где-то уже при чтении первых страниц тем или иным способом дать понять, кто автор, предостеречь, чего, мол, лезешь в бутылку, хоть как-то отреагировать. А он сидел тихо, сдержанный, невозмутимый, может быть, только чуть-чуть наливалось краской его лицо, но тоже не очень заметно, не настолько, чтобы я насторожился…

Прочитав подпись, мне ничего не оставалось делать, кроме того, что я и сделал: сложил аккуратно странички, встал, протянул ему руку, сказал: «до свидания». Он пожал мою руку и тоже сказал: «до свидания».

Уже на лестнице, по дороге к выходу меня начал сотрясать неодолимый смех…

Вернувшись в редакцию, сразу зашел к Зародову.

— Ну, как там — наладил отношения? — спросил Зародов, широко улыбаясь, добродушно, как бы немного подшучивая.

— Наладил, — говорю, — по-моему, теперь никаких уже придирок ко мне, во всяком случае, не будет.

Подробно отчитался о беседе, и когда дошел до конца, до подписи, хохотать начал Зародов.

— Значит, это его ты разнес за то, что ни Ленина, ни съезда не читал?..

Пирровы победы-2

Наверное, где-то я смещаю порядок событий, но это, собственно, не столь и важно. Они развертывались на очень коротком отрезке времени, примерно, с весны 1966 года, когда мы начали активно работать с Лисичкиным и Черниченко, вместе с группой экономистов, и до 1968 года, когда в связи с событиями в Чехословакии был напрочь прерван процесс развития той экономической реформы. Еще год- другой мы пытались что-то делать, на что-то надеялись, однако нажим на нас непрерывно возрастал.

Оговорюсь сразу: нам с Лисичкиным и Черниченко наши противники представлялись порою несколько безлико, о них знал Зародов, потому что кто-то звонил именно ему, нападал на него, ругал того же Лисичкина, а нам он это старался не передавать, может быть, немного жалея нас, а может быть, даже и предотвращая наши возможные атаки на этих конкретных людей, потому что знал, насколько мы беспечны, а они злопамятны, бесцеремонны и жестоки. Эта анонимность порою даже создавала у нас ложное представление, будто опасность публикации тех или иных предлагаемых нами материалов преувеличивается, они отвергаются руководством редакции из-за перестраховки. Случилось однажды даже такое: на пути каких-то наших дерзких замыслов встал Зародов, и мы с Геннадием написали на него… жалобу. Кому? Зимянину! Она, правда, была выдержана в приличных тонах, но все же там говорилось, что первый зам. что-то «недооценивает», а что-то «преувеличивает»… Короче, просили «вмешаться» и «воздействовать».

В тот же день, когда отдали записку помощнику главного редактора, нас пригласил к себе Зародов. Ну, думаем, неужели уже получил втык от главного? Наверное, думаем, сидит обиженный или сердитый, сами настраиваемся внутренне на горячий спор. А он встретил нас откровенным и каким-то вызывающим смехом. Предложил сесть и с тем же смешком, но уже и с издевкой начал:

— Ну, хороши! Объехать, значит, решили Зародова! Консерватора, который «недооценивает» и «недопонимает»! Ну, и что вышло? Вот вам ваша жалоба!

Он достал из кучи бумаг наше послание Зимянину и показал его резолюцию из одного слова: «Зародову». Точка. Подпись.

— На что вы еще рассчитывали? Неужели не додумались, что другого и быть не могло? Ну, и чего добились? И как теперь передо мной будете оправдываться, что кляузу написали? Это

после того, как я вас каждый день от кого-нибудь должен защищать?

Говорил он это совсем не зло, но все же с ехидством и с каким-то сожалением, только что не произнес: ну, и дураки! Однако в «музыке» это слышалось. Мы сидели, насупившись.

— Ну, и что? — продолжал Зародов. — Будете выше жаловаться?

Тут кто-то из нас с досады среагировал: будем! Напишем письмо в ЦК КПСС, Демичеву (он был секретарем по идеологии и, кстати, одно время слыл чуть ли не демократом — *А.В.*). Надо, наконец, потребовать объяснений, почему нам не дают высказаться по экономическим проблемам, актуальным с точки зрения XXIII съезда партии. Лис, как я его обычно называл, стал говорить, что надо же объясниться, почему к нему так не объективно относятся, кто и какие грехи за ним числит, почему никто не позовет нормально побеседовать и разобраться, а все делается за спиной, и чуть ли не каждый день появляются статьи про «некоторых экономистов».

— И на что рассчитываешь? — спросил Зародов. — Давай вот я буду Демичевым, а ты сам собой, Лисичкиным. Ты у меня на приеме по твоей жалобе.

И, как бы уже работая под Демичева, чуть склонившись к посетителю, очень вежливо, со всем внимания к человеку:

— Слушаю вас, Геннадий Степанович!

Лисичкин принял игру. Помолчал, собрался и четко изложил свои претензии — в том духе, как я уже сказал выше. Выслушав все, Зародов слегка откинулся на спинку кресла, будто отдаляясь от жалобщика, заговорил даже еще вежливее, но холоднее, без того радушия, которое звучало в первых словах:

— Почему, Геннадий Степанович, вы предполагаете, что в Центральном комитете нашей партии к вам относятся предубежденно? Почему вдруг вам представилось, что у вас за спиной что-то делается, да еще непорядочное? Откуда это?

Нет, не берусь передать ни слова, ни, главное, интонацию этой замечательной речи, полной ханжества, ложной объективности, игры в демократичность, характерной для партийного чиновника… Помню только еще последние слова: «Идите и спокойно работайте». Лис, как ни пытался спорить, не мог хоть чуть-чуть сбить Зародова с того отработанного партийного стиля разговора со строптивыми интеллигентами, который ему, конечно, был хорошо знаком.

— Ну, и что? — в который уже раз спросил Зародов своим обычным тоном. — Не понятно, что получится, если пожалуешься на свою судьбу в ЦК? Я еще тебе представил лучший вариант. Но

ты еще не знаешь, какие слова я в качестве Демичева скажу после твоего ухода там, в отделе, и тому же Зимянину с Зародовым!

Мы не знали, как себя вести после такого ушата холодной воды, который обрушил на нас Константин Иванович. Но уже понимали, что он прав. И что, как ни удивительно, совсем на нас не обижен. Ушли от него еще огорошенные, а, дойдя до моего кабинета, уже сами смеялись и издевались над собой.

Немного прошло времени, и мы узнали, что в ЦК КПСС сложилось мнение об организованном характере наших действий. Особенно после того, как в «Комсомольской правде» была опубликована статья группы экономистов, входивших в нашу правдинскую компанию, — Морозова, Лемешева, Буздалова, которая называлась «Мартовские всходы», естественно, с теми же, что и в «Правде», идеями. А потом вышла критическая рецензия на книгу, выпущенную под редакцией помощника Брежнева Голикова. Довольно злая рецензия. Тогда как раз и стали говорить, что вокруг «Правды» формируется группа экономистов и публицистов из разных изданий, в которой якобы идеологом был Лисичкин, а организатором Волков. Такое мнение я слышал и позднее от тех сотрудников ЦК, которые общались, в частности, с Голиковым, хотя никакой организации не существовало, была, как говорил уже, просто солидарность близких по взглядам людей. С тех пор, видимо, и возникла ненависть брежневского помощника к нашей компании и ко мне лично, хотя мы не были знакомы, ни разу не встречались, и я о нем конкретного представления, надо сказать, не имею. Только от других слышал, что он мой ярый противник, и знал о его резолюции на упоминавшемся в начале книги документе, том самом, в котором предлагалось назначить меня зав. отделом журнала «Проблемы мира и социализма».

Однажды приехал из ЦК зам. главного редактора «Правды» Борис Иванович Стукалин и сказал, что существует большая записка, в которой некоторые органы печати, прежде всего наша газета и «Комсомольская правда», обвиняются в отступлении от линии XXIII съезда партии. Записку предлагается вынести на обсуждение Секретариата ЦК. Сама она никем не подписана, но сопроводительную бумагу завизировал Федор Давыдович Кулаков, Секретарь ЦК КПСС, ведавший сельским хозяйством. Стало ясно, что нас ожидают серьезные неприятности.

Записку скоро раздобыли. Теперь она, кстати, опубликована в разделе «Документы» в нашей книге «Пресса в обществе (1959-200)», поэтому не буду излагать ее подробно. Приведу только то, что характеризует главное содержание текста и дает представление о манере его изложения, чрезвычайно много

говорящей о том времени, о борьбе в обществе, о расстановке сил, о том, почему была загублена хозяйственная реформа, сулившая, при всех издержках начального этапа, немалое, если бы она была развита.

«В последнее время, — говорилось в той записке, — в печати появились выступления отдельных экономистов, которые дают путаные и нередко ошибочные рекомендации по важнейшим вопросам дальнейшего развития сельского хозяйства.

Экономисты В. Венжер, Л. Леонтьев, Л. Кассиров, М. Лемешев и некоторые другие выступают с критикой существующего порядка управления и планирования в сельскохозяйственном производстве и «радикальными» предложениями по его совершенствованию. Суть выдвинутых ими рекомендаций сводится к тому, чтобы дать широкий простор закону стоимости, которому отводится по существу роль основного регулятора производства, экономической жизни общества, чтобы обмен продуктами сельского хозяйства и промышленности осуществлялся исключительно на основе свободного спроса и предложения через «свободный» рынок…

Вызывает недоумение характер ряда выступлений «Правды», затрагивающих проблемные вопросы развития экономики колхозного и совхозного производства. В материалах «Правды» нередко весьма вольно истолковывается смысл экономических мероприятий, осуществляемых в настоящее время на селе. Делается та же попытка-эффективность этих мероприятий оценивать, прежде всего, по тому, насколько широко они опираются на «всемерное развитие товарно-денежных отношений», на принцип «купли-продажи». Иными словами, речь идет о том, чтобы дать полный простор действию закона стоимости. С этих позиций в ряде материалов ведется разговор о причинах отставания сельского хозяйства, о путях его подъема, оценивается практика планирования сельскохозяйственного производства, в частности, закупок продукции, действенность хозрасчета, эффективность использования капиталовложений и даже основного средства производства — земли».

Дальше идут многочисленные примеры, призванные доказать следующее: «в выступлениях «Правды» не учитывается, что в условиях социализма регулятором развития производства выступает система экономических законов, а не какой-либо один из них. Дело в правильном использовании не только закона стоимости, а всего комплекса экономических факторов, и, прежде всего, экономических законов планомерного и пропорционального развития, расширенного социалистического

воспроизводства, а также принципов сочетания общественных и личных интересов, материальной заинтересованности работников в результатах труда и других.

В материале «Проблемы сельской экономики» («Правда», 24 апреля 1966 г.) единственный закон, о более полном использовании которого идет речь — тот же закон стоимости. В этом материале, рассказывающем о встрече группы экономистов-аграрников «За столом деловых встреч» (тот самый мой «круглый стол», о котором шла речь выше — А. В.) с призывом совершенствовать существующую практику планирования заготовок сельскохозяйственной продукции выступает Л. Кассиров. Смысл его предложений сводится к тому же — доводить колхозам и совхозам «задания по реализации продукции в стоимостной форме». Предоставив слово тов. Кассирову и не оговорив неприемлемость его точки зрения, «Правда» тем самым как бы подтвердила «актуальность» и «жизненность» его рекомендаций, с которыми он широко выступает в различных органах печати и на совещаниях перед учеными и практиками.

Идея всемерного расширения товарно-денежных отношений настолько укоренилась у некоторых работников «Правды», что они стали активно поддерживать предложения отдельных экономистов об установлении платы за основное средство производства — землю. В статье зав. кафедрой политэкономии Тартуского университета, доктора экономических наук М. Бронштейна «Земля и экономические рычаги» утверждается, что «введение в экономический оборот платы за землю, которая взималась бы в зависимости от доходности ее различных участков», будет способствовать лучшему использованию земель…

Несколько позднее идея установления платы за землю была подкреплена статьей Л.Леонтьева «О товарном производстве при социализме», опубликованной под рубрикой «Вопросы теории».

Далее в записке следовало разъяснение, что «более совершенной формой изъятия дифференциальной ренты, мерой, способствующей выравниванию экономических условий различных хозяйств, является дифференциация цен и подоходного налога» Надо заметить, что эти концепции доводились «экономистами» из ЦК до полного идиотизма: до «индивидуальных цен», то есть устанавливаемых для каждого хозяйства отдельно.

«Публикация подобных статей в «Правде», — говорилось далее, — является косвенной поддержкой тех экономистов, которые выступают не только за установление платы за землю, но и за сдачу ее в аренду и продажу. Они утверждают, что если

отдельным хозяйствам земля будет в тягость, то часть ее можно продать другим хозяйствам, сдать в аренду… Земля, таким образом, превращается в объект купли-продажи, а часть хозяйств, не выдержавших «мирной конкуренции», должна свертывать производство. К этому неизбежно ведет автоматизм свободного действия закона стоимости.

Тот же подход — полная свобода товарно-денежных отношений — обнаруживается и в материалах, посвященных анализу развития хозрасчетных отношений на селе. Именно так оценивает эффективность хозрасчета сотрудник редакции Г. Лисичкин во многих своих публикациях и, в частности, в статье «Два подхода к хозрасчету»… Если принцип «купля-продажа» не получает широкого простора, то такой хозрасчет, по мнению тов. Лисичкина, всего-навсего учетная категория, которую в современных условиях надо всемерно преодолевать».

Дальше еще множество обвинений в том же духе, со множеством примеров.

«Все эти факты говорят о том, что установившийся в «Правде» подход к освещению экономической жизни села — не случайность, а линия газеты. Эта линия основывается на чрезмерном преувеличении роли товарно-денежных отношений в подъеме сельскохозяйственного производства.

Позиция, занятая «Правдой» в постановке и решении важнейших экономических проблем развития сельскохозяйственного производства, не способствует мобилизации экономической науки на правильное их решение. Экономическая литература, выходящая в издательстве «Экономика» и пропагандирующая несостоятельные установки отдельных экономистов, газетой не рецензируется.

Такой подход становится понятным, если учесть взгляды некоторых работников редакции, ведущих вопросы аграрной теории, в частности, ее экономического обозревателя Г.С. Лисичкина. В своей статье «Жизнь вносит поправки» («Известия», 27 февраля 1966 г.) и в брошюре «План и рынок» (изд-во «Экономика», 1966 г.) он стремится доказать, что именно закон стоимости (а не комплекс законов) выступает регулятором социалистического производства, называет «догматиками» тех, кто не согласен с этим.

Увлечение товарно-денежными отношениями приводит Г.С. Лисичкина к тому, что в первую очередь по этому признаку он оценивает две формы собственности, сложившиеся в нашем сельском хозяйстве. Вольно или невольно он допускает попытки третировать совхозную форму как сковывающую законы товарного производства и менее совершенную…

Ошибочность позиций таких экономистов, как В. Венжер, Л. Кассиров, М. Лемешев, Г. Лисичкин и некоторых других, обстоятельно раскрывалась в свете марксистско-ленинской политэкономии в ряде выступлений «Сельской жизни», «Экономической газеты», в журнале «Партийная жизнь»… (Вот они, органы «группы торможения», о которой я говорил выше! — А.В.) «Правда», между тем, заняла позицию стороннего наблюдателя, никак не поддержала выступления этих печатных органов.

Невмешательство «Правды» и даже известное содействие распространению несостоятельных экономических предложений способствует тому, что в периодической печати сложилось явно ненормальное положение с освещением ленинской аграрной теории. В некоторых органах печати считают чуть ли не зазорным публиковать статьи, пропагандирующие проверенные жизнью положения марксистско-ленинской политэкономической науки и, наоборот, модным «ниспровергать» их. Публикация непроверенных, явно сомнительных предложений отвлекает усилия ученых от решения действительно актуальных и назревших проблем. Все это наносит серьезный ущерб науке, практике.

В редакциях газет «Известия» и «Комсомольская правда» проводятся беседы за круглым столом, где подвергается бичеванию новый порядок планирования сельскохозяйственного производства, установленный мартовским пленумом ЦК КПСС… Семинар, преследовавший ту же цель, состоялся в конце 1966 года в Доме литераторов. Там поднимались на щит очерки Г. Радова, ратующие за развитие коммерческих отношений на принципах «не хотите — не берите». Кстати, защищая эти принципы, в очерках «В селах и около» («Литературная газета», 1 ноября 1966 г.),

Г.Радов неоднократно прибегает к помощи «Правды», цитируя ее статьи. Этим же приемом воспользовалась «Комсомольская правда» в материале «Журавли», опубликованном 12 января 1967 г.

Журнал «Проблемы мира и социализма» опубликовал статью М. Лемешева «В новых условиях», где выдвигается идея — установить плату за землю; хвалебную рецензию В. Тюмлера на брошюру Г. Лисичкина «План и рынок»…

Даже журнал «РТ», призванный заниматься вопросами радио и телевидения, — и тот внес свою лепту в «развитие» экономической теории. В статье А. Стреляного «Что такое колхоз?» огульно охаиваются демократические принципы сельхозартели и поднимаются на щит надуманные концепции В.Г.

Венжера, выражается сожаление, что его книги выходят «возмутительно малым тиражом».

Как видим, наша журналистская солидарность была замечена и по достоинству оценена. Так же, как и международная солидарность: «…выступления в защиту закона стоимости, естественно, приходятся по душе некоторым зарубежным экономистам, придерживающимся тех же взглядов. (Вот уж где настоящий криминал! — *А.В.)* Большое одобрение у них вызвала, в частности, брошюра Г. Лисичкина «План и рынок». Так, газета «Борба» (орган ЦК КП Югославии) полностью опубликовала ее, а затем поместила статью своего корреспондента в Москве «Деньги

— не «Золушка». (Смотрите, мол, кто поддерживает правдистов! — *А.В.)*. В этом материале, излагающем рецензию кандидатов экономических наук т.т. Петракова и Гофмана на брошюру «План и рынок», опубликованную в журнале «Новый мир», дается оценка этой работе, как выдающемуся экономическому исследованию, воздается хвала ее автору. «Без всякого сомнения, — говорится в статье, — Г. Лисичкин получил сегодня право авторитетом современного экономиста-марксиста, блестящего журналиста и публициста, комментировать партийную и экономическую политику». При этом подчеркивается, что в настоящее время он работает сотрудником «Правды». По словам автора статьи, Лисичкин на марксистской основе и широко используя исторический материал, великолепно защищает закон стоимости: он по-новому и оригинально осветил ленинскую политику НЭПа и т. д. и т. п.; аргументировал то, что Сталин сделал шаг назад, возвращая советскую экономику в период «военного коммунизма». В статье подчеркивается, что предложения молодых экономистов направлены против старой гвардии экономистов-теоретиков, которые- де не уважают объективных законов социализма…

Освещение в печати коренных вопросов экономики сельскохозяйственного производства, — говорилось в заключение записки, — нуждается в серьезном улучшении. Путаные, оторванные от жизни рекомендации отдельных специалистов, поддерживаемые на страницах периодической печати, неправильно ориентируют практических работников сельского хозяйства и могут нанести определенный ущерб».

Едва ли надо подробно комментировать этот документ. Замечу только, что он содержал более 20 страниц. Нам с Лисичкиным поручили подготовить ответ, и мы разразились текстом в 25 страниц. Мы написали, конечно, проект, потом он перерабатывался, надо сказать — то смягчался, то обострялся. У меня хранится несколько вариантов нашей ответной записки, в

том числе вариант, который был вынесен на рассмотрение редколлегии. Я изложу здесь главное из того текста.

Ответ редакции с порога отметал обвинение в какой-то особой линии «Правды», в нем содержались доказательства, что газета действует в соответствии с решениями XXIII съезда и пленумов ЦК КПСС, посвященных экономической реформе, тогда как авторы записки, напротив, отступают от этих решений или произвольно их трактуют. Думаю понятно, что иной позиции, опорной точки в ответе критикам и быть не могло.

«В записке содержатся упреки «Правде» и некоторым другим органам печати в том, что они допускают «чрезмерное преувеличение» роли закона стоимости и товарно-денежных отношений… Особое возражение у авторов записки вызывает формула «всемерное расширение товарно-денежных отношений». Но ведь известно, что это один из важнейших тезисов программных документов партии…

В докладе тов. Л. И. Брежнева на мартовском пленуме ЦК КПСС также было указано, что «свободным закупкам сельскохозяйственной продукции государство будет покровительствовать и стимулировать их устойчивыми ценами, способствовать всемерному развитию товарных отношений». Почему же пропаганду этих положений авторы записки ставят в упрек “Правде”?»

Естественно, что эта линия защиты — доказательство соответствия газетных публикаций реформаторской линии партии, от которой на деле давно отказались в ЦК, была для нас наиболее выигрышной. К тому же мы как бы пытались поддержать, утвердить в жизни эту линию, показать, кто действительно стал отступником от жизненно необходимых экономических реформ.

Далее следовала довольно большая теоретическая часть, где рассматривался тот самый закон стоимости, вокруг которого так долго ломались копья. Здесь обе стороны по-своему лукавили. Одни, выступая за рынок, скрывали это за рассуждениями о том, как понимали и трактовали действие закона стоимости Маркс, Энгельс, Ленин, а они давали немало оснований для различных трактовок. Другие отстаивали свободу собственного администрирования, опираясь на тех же классиков, которые будто бы были против «свободного» действия того же закона, доказывали, будто нельзя допустить его регулирующее воздействие на экономику, ибо регулировать ее при социализме должен план, сознательная организация общественных, прежде всего, экономических отношений государством. Характерная для того времени борьба за трактовку позиций «основоположников»

отражала очень многое, разные подходы к пониманию причин неудач и поиску рецептов спасения, по сути — противостояние демократии и тоталитаризма. Этим объяснялось и обильное цитирование классиков в наших статьях, да и не только в наших. Кто-то заметил, что, стремясь сказать и утвердить нечто новое, тот, кто более радикален, более нуждается и в опоре на традиционное, на привычное, общепризнанное. Мы были именно в таком положении.

Что касается замечаний авторов записки по отдельным статьям, опубликованным в «Правде», то, говорилось в ответе редакции, в большинстве своем они «не аргументированы, содержат неточности, а в ряде случаев искажения». Далее со всей скрупулезностью это доказывалось. Один за другим, последовательно разбирались и отметались лихие наскоки критиков, была довольно убедительно показана, во-первых, консервативность их позиций, во-вторых, — безграмотность.

Продолжая анализ в таком же примерно духе, редакция подводила к следующему выводу:

«Таким образом, авторы записки, предъявляющие ряд неосновательных претензий «Правде», на наш взгляд, допускают неправильное толкование некоторых важнейших положений экономической политики партии в сельском хозяйстве, дают органам печати теоретически необоснованные рекомендации, ориентируют на свертывание творческих поисков в области экономики, утверждая монопольное положение в печати определенных, порой явно устаревших взглядов на экономические процессы… Тот, кто хотел бы вернуться назад, к административным методам руководства, к отрицанию научных принципов в планировании и, прежде всего, необходимости опираться в централизованном плановом руководстве на инициативу масс, тот неизбежно стал бы тормозить развитие сельского хозяйства, исторически важную работу, начатую партией».

Говоря, что партия этого «хочет», а этого «не хочет», при этом говоря совершенно противоположное, обе стороны по-своему были правы. Они невольно демонстрировали то, что с началом «перестройки» стало совершенно очевидным: уже к тому времени КПСС не была идейно единой организацией. Она состояла, по меньшей мере, из трех или четырех «партий». Горбачева многие упрекали, что он в свое время, в частности на последнем съезде КПСС, напрасно не пошел на сознательный раскол. Он в частных беседах сознавался, что само слово «раскол» вызывало в нем неприятие. Понятно: нас всех учили, что «раскол» — это не хорошо…

После того, как наша записка была отправлена в ЦК, ответ был получен очень быстро. Зимянину позвонил Кулаков и в резкой форме потребовал, чтобы «Правда» забрала свою записку обратно. Зимянин, судя по его рассказу, возражал достаточно упрямо, заметив, что не мы были инициаторами полемики и согласился забрать свою записку лишь при условии, если заберет свою и Кулаков. Надо сказать, Федор Давыдович обратил внимание Зимянина на то, что документ написал не он. Ему принадлежала только «сопроводиловка». Сам он, дескать, занимал объективистскую позицию. Может быть, в этом была даже доля правды. Мне кажется, что его впутали в историю те же люди, Панников, Голиков, Заколупин, а может быть и другие, в том числе «ученые», которые гуртовались вокруг этой компании.

Нам говорили, что Кулакова «достали» довольно убедительные и обидные наши обвинения руководимого им сельхозотдела в экономической безграмотности. А это нам, и правда, удалось показать.

Обе записки были отозваны. Мы, можно сказать, праздновали победу. Но и это была пиррова победа. Для начала Лисичкина перестали печатать в «Правде». Просто откровенно было сказано, что любая его публикация вызовет большие неприятности, и Лисичкин либо писал передовые статьи, либо организовывал авторские материалы. Но и тут не всегда везло.

Помнится, он был в Узбекистане, в знаменитом колхозе «Политотдел», что славился своим богатством, футбольной командой класса «А» и симфоническим оркестром. Геннадий подготовил статью председателя колхоза Ман Гым Хвана, содержавшую критику, не очень уж и забористую, даже не в адрес конкретных лиц, а скорее критику некоторых общих порядков, некоторых отступлений от принципов экономической реформы. Мы набрали эту статью и послали на согласование Хвану, однако, прежде она попала к местному корреспонденту «Правды», а от него, человека, видимо, зависевшего от рашидовской компании — к руководящим деятелям ЦК Компартии Узбекистана. Оттуда последовал грозный окрик, грозный протест. На Лисичкина посыпались обвинения черт-те в чем. Но что самое примечательное — на имя главного редактора «Правды» пришло письмо самого Хвана, в котором он обвинял Лисичкина в том, что тот якобы сам «состряпал» статью и переврал все, что говорил Хван. Надо сказать, что Геннадию Степановичу пришлось бы совсем туго, если бы, во-первых, в блокноте под записанным текстом не стояла подпись Хвана, а во- вторых, если бы через некоторое время не пришло письмо от него же самому Лисичкину! Хван извинялся (!) за свое опровержение и писал, что

иначе он поступить не мог, так как ему пришлось бы плохо. Нас это просто потрясло. Это Хван, который в кругу журналистов на вопрос, что нужно сделать для подъема сельского хозяйства, ответил ставшей крылатой фразой: «три года не руководить»! Герой социалистического труда, знаменит, казалось, больше, чем сам товарищ Рашидов, и чего-то боится! Сейчас-то уже очень легко понять, почему он так поступил. Мог и погибнуть в тюрьме, как Иван Никифорович Худенко. А в то время это казалось удивительным, и защищаться Лисичкину, надо сказать, было нелегко.

Потом почувствовал все большее давление и Зародов. Счастье, что подвернулась возможность поехать в Прагу шеф-редактором журнала «Проблемы мира и социализма». В тот же день, когда его освобождали от должности первого заместителя главного редактора «Правды», на редколлегии рассматривалось и мое заявление с просьбой освободить меня от должности заместителя заведующего сельхозотделом и перевести в спецкоры в связи с состоянием здоровья. Какая-то доля истины в этом на сей раз была, но главное заключалось в том, что я понимал: дальше работать будет невозможно, тем более без Зародова.

Лисичкин ушел из «Правды» вскоре после этого. Тогда на внутреннюю борьбу вокруг товарно-денежных отношений прямо наложились события в Чехословакии. Чуть что — нам говорили: видите, куда завели дело «рыночники» в ЧССР? Скажем слово о кооперации — вспоминают Оту Шика, говорим о структуре общественной собственности — упрекают, что находимся под его влиянием, вспоминают, что мы с ним дважды встречались…

Надо сказать, что мы в ту пору в самом деле очень внимательно следили за развитием экономических реформ в Чехословакии, Венгрии, еще более длительно — Югославии. Прочтя книгу Е. Гайдара «Дни поражений и побед», где он упоминает те же страны и перечисляет многих своих, в каком-то смысле, учителей, авторов экономических бестселлеров, я подумал, что наши возможности познакомиться с их работами были гораздо более ограничены. Но все-таки что-то издавалось «для служебного пользования», что-то случайно попадало к нам от зарубежных коллег, и конечно же, мы тоже читали и осмысливали Милля и Кейнса, Фридмана и Самуэльсона, Джиласа и Гароди. Практический опыт реформ в соцстранах привлекал, однако, наше особое внимание.

О событиях в Чехословакии мы знали довольно много. Не только из открытых и «закрытых» официальных источников. Еще работая в «Советской России», я познакомился со Зденеком

Горжени, в то время корреспондентом «Руде право» в Москве. Он сам пришел к нам в отдел и сказал, что его заинтересовали наши передовые статьи, необычные и по содержанию в том, что касалось товарно-денежных отношений, и по форме — в смысле их публицистичности, а не традиционной казенности. С тех пор мы много общались, от него я знал об их внутренней борьбе, о выступлении того же Шика на пленуме ЦК против первого секретаря ЦК Новотного. Накануне ввода наших войск в ЧССР, буквально за несколько дней, Горжени был назначен заместителем главного редактора «Руде право». И был вытурен из своего кабинета в буквальном смысле коленом под зад советским офицером, кажется, лейтенантом. Зденек спорил с ним по поводу захвата редакции нашими солдатами, убеждая, что это партийная, коммунистическая газета, а не какая-нибудь ревизионистская, но оппонент использовал более убедительный аргумент — колено. Сам же Горжени и рассказал мне об этом впоследствии. И о том, как они переселились в соседний дом и начали выпускать уже нелегальную газету.

Позднее, когда я работал в «Проблемах мира…», мы тоже встречались, и я наблюдал на его примере, как ломались судьбы, характеры, если хотите — страдали души таких вот людей, которые изначально верили в социализм, затем в возможность его реформирования, в «социализм с человеческим лицом». Потом они разрывались от противоречий: не желали рвать с Советским Союзом, к которому были искренне привязаны, и вместе с тем понимали всю мерзость свершенного над своей страной насилия. Они, эти люди, метались с одной стороны на другую, приспосабливались, не корыстно даже, а просто под давлением обстоятельств, из-за того, что сознавали неплодотворность, даже гибельность крайних мер, резких движений… Им трудно было сохранить целостность взглядов, даже своей натуры… Мы с ними схожи в этой противоречивости мыслей и поведения, только им было еще труднее, чем нам.

О собственных переживаниях на сей счет не хочу писать, потому что это будет банально, похоже на многое уже написанное. Скажу лишь, что оккупацию Чехословакии считал преступлением, но не видел для себя возможности, реальных средств противостоять этому, а в значимость акций типа той, что совершила Лариса Богораз со своими друзьями (выход с лозунгами протеста на Красную площадь), при моем большом уважении к этим людям, не верил и не верю. Даже в новых совершенно условиях, в постперестроечной России, когда протесты становились массовыми, организованными, и то в остановке чеченской бойни главную роль сыграли не они.

Политика таки в обычной жизни (то есть не в созревшей или созревающей революционной ситуации) на самом деле не вершится на улицах.

Но я слишком отдалился с этими мимоходными, но болезненными размышлениями от того времени, о котором наш основной разговор…

У меня до сих пор сохранился изданный для служебного пользования доклад Ленарта на пленуме ЦК КПЧ 1967 года, в котором обосновывались меры экономической реформы в стране. Он весь пестрит не просто пометками для запоминания, но и восторженными восклицательными знаками — такой эмоциональной была на него реакция. Это ведь не далекий американец из другой экономики, а тот, кто долго варился в таком же, как у нас, социализме. Хранятся какие-то переводы венгерских текстов, которые мы получали разными путями, в частности от Иштвана Фриша, у которого возник хороший контакт с Лисичкиным. Материалы по Югославии, конечно же, были у нас особенно богатыми, поскольку Лисичкин сохранил многие связи со времени своей работы в этой стране. К тому же в течение многих лет, в том числе уже и в период работы в Праге, я имел возможность регулярно читать югославский журнал «Социализм: теория и практика», печатавший очень привлекательные для нас статьи о путях реформирования социализма. Я тоже долго увлекался идеями самоуправления. Надо сказать, что югославские экономисты очень глубоко разработали теорию рыночного социализма, где были связаны воедино проблемы рыночных взаимоотношений производителей, оценки производства на основе валового дохода, самоуправления в масштабе страны и на местах… Однако все больше огорчало расхождение между блестящими теоретическими разработками и реальной практикой, ее неудачами.

Однажды в зимний день 1968 года, кажется, это было в январе-феврале, нам позвонили из Института экономики и сказали, что приезжающий в Москву Ота Шик выразил желание встретиться с экономистами «Правды» — так, во всяком случае, нам было сказано. Я пошел к Зимянину и предложил организовать коллективную встречу в редакции. Он буквально взъярился:

— Ты что, хочешь, чтобы «Правда» приняла человека, который только что на пленуме ЦК КПЧ выступил против Новотного? Не понимаешь, что это будет расценено как его поддержка с нашей стороны? Принимай у себя дома!

Он сказал это со злостью, как бы имея в виду, что последнее

и невозможно, просто абсурд. Но мы именно так и поступили. Сначала встретились у Лисичкина втроем и очень интересно поговорили, а на другой день, пригласив Отто

Лациса и других молодых экономистов, всего нас было 12 человек, хорошо посидели в отдельном зальчике в «Арагви». Шик очень много рассказывал интересного и о реформе, и о настроениях в обществе, и о борьбе в партии… Вот это нам и начали припоминать после августа 1968.

Итак, Лисичкин пришел к Зимянину и сказал, что все понимает и сам подаст заявление об уходе. Просит лишь об одном: дать ему квартиру, которую давно ждет. Квартиру он, к счастью, получил и ушел в Институт конкретных социальных исследований. Через некоторое время, примерно через два года, там же оказался и я.

Перед серьезным выбором был поставлен Зимянин. Не знаю точно кто, но кто-то из секретарей, по рассказам Зародова, вызвал Михаила Васильевича в ЦК КПСС. Ему с издевкой заявили: мы собираемся создать министерство кинематографии, не хочешь ли стать министром? Он понял это, естественно, как серьезную угрозу. И вскоре ему представилась возможность повернуть ход событий себе на пользу. Судя по его словам, он был направлен Брежневым в Прагу для того, чтобы лучше оценить обстановку. Но мне представляется, что это было им же и организовано благодаря добрым отношениям с земляком-белоруссом Мазуровым, который тогда под псевдонимом генерал Трофимов действовал в Чехословакии от имени Политбюро ЦК КПСС. Михаил Васильевич поехал туда и привез знаменитые «Две тысячи слов» (заявление видных общественных деятелей страны, их протест против нашего вмешательства в дела суверенной номинально страны). Документ расценивался как антисоветский, антисоциалистический, антикоммунистический. Своими оценками событий Михаил Васильевич заработал значительный политический капитал. В это время он совершил крутой поворот от игры в демократию, в поиск истины, к жестким официальным позициям, потому и стал через некоторое время и Героем социалистического труда, и секретарем ЦК КПСС. Позднее я узнал, что именно он, по крайней мере, дважды воспрепятствовал моему возвращению из Праги в Москву (отклонил предложение о моем переводе в ЦК КПСС, о котором я, кстати, не имел тогда представления, и не одобрил приглашение меня в журнал «Коммунист»). Почему? Могу только гадать…

Подольше других задержался в «Правде» Черниченко. Но в конечном итоге, когда я был уже в Праге, он тоже был вынужден уйти, хлопнув дверью. Позже в связи с его выступлениями в

печати, в частности предрекавшими крах «Ростсельмаша» с его комбайном «Дон», секретарь ЦК КПСС Зимянин обвинит его в «очернительстве» и скажет, что у него вот и фамилия такая — Черниченко, от слова чернить. Хорошо, что Михаил Васильевич острил таким образом еще до того, как Генеральным секретарем стал Черненко.

Так приканчивали реформу, чинили своего рода гражданские казни над людьми, которые были ее сторонниками, ее носителями, и конечно, не только в среде журналистов и ученых. Я рассказываю лишь о близких мне людях.

Как-то, уже в начале перестройки, я прочел статью, автор которой — новый главный редактор «Правды» Афанасьев наступил нам на больную мозоль. Он писал примерно так: «Мы, как зачарованные, смотрели тогда на систему централизованного управления, сложившуюся в 30-х годах, но уже не отвечавшую реальным условиям деятельности». Читая это, я думал: при нас все же была другая «Правда». Вы то смотрели, как зачарованные, а другие писали о пороках системы и искали возможности ее изменения. Имею в виду не только правдистов — многие экономисты и журналисты ничем не были зачарованы, уже видели все прекрасно, говорили и писали об этом. Но как же «зачарованные» преследовали нас тогда за это! А сейчас вот «мы», мол, все вместе ответственны за прошлое. Нет, мы были разные — и журналисты, и коммунисты. В КПСС состояли и в «Правде» работали не одноликие оловянные солдатики, отлитые по единой форме. Жаль, что и теперь это не всем ясно.

Сейчас мы уже знаем о рынке много больше, чем тогда — о всех сложностях его организации, трудностях перехода к нему, особенно в стране, прозевавшей технологическую революцию, что сделало ее продукцию неконкурентоспособной на мировом рынке, о социальных проблемах… Но тогда нам все виделось в несколько идеальном свете: стоит только дать коллективам производителей — заводам, колхозам, любым артелям — большую самостоятельность в организации дела, выборе, что производить, в отношениях с партнерами, и рынок сам начнет отлаживать производство нужной продукции, в нужном количестве и нужного качества. Мы были недальновидны? Нас предостерегали правильно? Не думаю.

Уже в перестроечные времена, встречаясь на международных симпозиумах с учеными из числа левых, с теоретиками компартий и соцпартий, мы неизменно вовлекались в дискуссию на одну и ту же тему: мы говорили о необходимости рынка для своей страны, а они упрекали нас в преувеличении его пользы и недооценке регулирующей роли государства. И однажды, кажется,

в беседе с французами, я попытался разобраться в причине такого повторяющегося взаимонепонимания. Причина, говорил я, проста: у вас уже есть рынок, а у нас его нет. Позвольте использовать такой образ: у вас есть бассейн, он заполнен водой, вы заботитесь о том, как регулировать ее обновление, намереваетесь построить вышку для прыжков, чтобы поглубже нырять, стремитесь создать прочие удобства для пловцов. У нас же вышка построена, разложены вокруг бассейна спасательные средства, запасены на случай даже капли от насморка, но… в бассейне нет воды. И мы кричим, убеждаем всех: нальем же скорее воду! Ведь мы уже прыгаем и вот-вот сломаем себе шею!

Мне кажется, что при всей наивности наших представлений о рынке, мы были правы, агитируя за него, потому что говорили о главном для успешного развития экономики. Ведь страна уже ходила в синяках от упражнений в прыжках без воды, и никакие капли от насморка не помогали. Идеология, прежде всего, мешала развитию экономики, и борьба шла по законам идеологии, а не экономической дискуссии.

Нас выбросили из печати, из общественной жизни на много лет. Пятнадцать потерянных лет, о которых говорил в свое время Михаил Сергеевич Горбачев, это очень много для страны, но 15 лет — еще больше для конкретных людей, для тех, кто вынужден был в самом расцвете сил и способностей уйти в сторону от главных направлений своей деятельности, от своей тематики, отказаться даже от своей профессии.

Лисичкин после нескольких лет работы в институте, где мы оба при внешнем благополучии не могли найти себя, поехал в Молдавию, три года изучал там опыт специализации и кооперации, писал докторскую диссертацию. Ему трижды «рубили» диссертационные работы, причем дважды уже после рассылки реферата — конечно, без каких-либо серьезных оснований, просто по звонку из отдела науки ЦК КПСС, от товарища Трапезникова и других подобных деятелей. Потом с трудом взяли в один московский институт на одну из низших должностей.

Черниченко ушел на телевидение, и хотя он там выдавал прекрасные передачи, сам как-то, иронизируя над собой, рассказал, что получил письмо от одного своего почитателя. Тот собирал много лет все его статьи и прислал их теперь с упреком: на телевидении у тебя и труба пониже, и дым пожиже. Да, для него ведь это тоже было сменой профессии.

Оба они, и Лисичкин, и Черниченко, как-то оправились во время перестройки, стали депутатами парламента, выступали на разных митингах, Черниченко возглавил крестьянскую партию,

оба много печатались. Но ведь годы уже брали свое. Зародов до этого возрождения даже не дожил. Непросто сложилась и моя судьба…

Как я бальное платье жены от генералов спасал

В Праге мы довольно регулярно бывали на приемах у Президента Чехословакии Густава Гусака. По большим праздникам, а также и на специальных приемах по случаю Совещаний, обсуждавших работу журнала, на которые съезжались генеральные и просто секретари ЦК компартий из многих стран мира (в последний раз из 99). Женщины, как правило, готовили к такому приему новое бальное платье. Мая, конечно, тоже.

Как-то алтайская еще приятельница Лида Ершова прислала ей в подарок из Алжира роскошную алую крайку. Так называли эту ткань чехи, а по-нашему или по-французски, кажется, шифон. Короче — этакие роскошные шелковые кружева, которые при изготовлении платья нашивались на подкладку из непрозрачной ткани. Наряд получился впечатляющий, его Мая и надела на очередной прием.

На этих приемах ничего особенного не происходило. Вспомнилось, как внук Стася, тогда еще маленький, построил игрушечный домик и рассадил в нем какие-то фигурки. Я спросил, кто это такие. Он ответил: гости. А что они делают? Едят еду! — ответил Стася тоном удивленного нелепым вопросом. Что, мол, еще могут делать гости! Так вот, и на приемах приглашенные именно этим только и занимались. Наши бегали по разным залами, и, встречаясь, на ходу сообщали друг другу: вот в том-то зале есть угорь!

Еда начиналась тогда, когда в главный зал входил президент. Ему, кажется, аплодировали, и тут же все бросались к столам. На этот раз мы оказались как-то далековато от стола. Мая шагнула ближе, чтобы дотянуться до какого-то яства, но не сумела это сделать. Что-то ее сильно тормознуло. Я глянул, в чем дело, и увидел, что на подоле ее роскошного шифона стоит чья-то нога. Оказалось, что на нем устроился древний суховатый старичок в военном мундире. Он стоял, согнувшись ровно под прямым углом, как бывает у очень пожилых людей, когда их позвоночник ослабевает и не может уже держать корпус прямо. Многочисленные ордена и медали свисали с груди тоже под прямым углом к ней, то есть как бы стали дыбом по отношению к телу. Звезды на погонах свидетельствовали, если я не ошибся, что он генерал армии.

Я легонько постучал его по спине и сказал:

— Пардон, соудругу! (Извините, товарищ).

Генерал на это никак не реагировал, потому что был очень увлечен чем-то на столе и тянулся к вожделенному блюду, раздвигая тех, кто, стоял ближе к соблазнительным вкусностям, мешал ему. Повторив обращение, на которое опять не последовало никакой реакции, и поняв, что сейчас платье жены может потерпеть непоправимый ущерб, а она сама остаться в неглиже, я просто надавил на генерала плечом, то есть скорее боком, и столкнул его с подола. Он удивленно оглянулся, а когда я показал вниз и пояснил, в чем дело, страшно заволновался, начал извиняться перед Маей. И видимо, чтобы замять неловкость, как-то компенсировать нанесенный ущерб, он вдруг представил другого генерала, стоявшего рядом:

— Мадам, это мой друг, Мартин Дзур, Министр обороны… Все пожали друг другу ручки, о чем-то еще перемолвились, и, уже запасшись снедью со стола, продолжали беседу.

Так вот мы познакомились со знаменитым Дзуром, а чудесное платье из крайки было спасено. Оно потом досталось внучке, только она его ни разу не надевала: не та уже была мода.

«Невъездные»

После ухода из «Правды» я два года работал в Институте конкретных социальных исследований. Это нелепое «конкретных» появилось оттого, что ортодоксы от марксизма терпеть не могли какую-то еще социологию, кроме «марксистско-ленинского учения». То есть «научный коммунизм» — вот это и есть социология, а все те анкеты, опросы, анализы статистики — нечто от лукавого. Уж это никак нельзя ставить в один ряд с великим учением, надо как-то отделить от него, хотя бы таким словом, как «прикладная» или «конкретная». Объясняю упрощенно, потому что строго и всерьез говорить об этом просто не хочется.

В институте тогда собралась очень приличная компания, даже шуточки были такие: собрали, мол, всех диссидентов в одно место, чтобы потом просто обнести его колючей проволокой. На самом деле, коллектив, как и почти всякий другой в то время, состоял из двух идеологически разнящихся структур — тех самых «диссидентов», которые в более строгом смысле, конечно, таковыми не были, просто нормальные, не одержимые идеологической шизофренией люди, и ортодоксов — ярых защитников непогрешимости и чистоты «учения», конечно, не марксизма вовсе, а созданного в основном в сталинские времена набора догм. Слово «структуры» я употребил совсем не случайно: эти идейные группировки примерно соответствовали двум подразделениям института, управлявшимся двумя разными замами директора. Не буду углубляться в эту тему, потому что мое хождение в социологию было кратковременным, а о ее трудном становлении в нашем государстве уже написаны книги, теми, кто ей посвятил жизнь. Скажу лишь, что общение со многими людьми в том коллективе — Грушиным, Левадой, Шубкиным, Ядовым, многими другими, с тем же Лисичкиным, который и привел меня в институт, и которого в свою очередь привел туда Федор Бурлацкий, было и полезным и приятным.

Защитив, однако, кандидатскую диссертацию не по социологии, а по политэкономии, я сразу же написал письмо Зародову в Прагу: хочу обратно в журналистику, заберете к себе — буду рад, не захотите или не сможете — не нужно тратить силы и время на объяснения, огорчусь, но не обижусь. Очень скоро раздался звонок из международного отдела ЦК КПСС:

— Константин Иванович просил срочно оформить ваш выезд в Прагу — готовы ли вы поехать через месяц?

Почему, собственно, возникла мысль именно об этом журнале? Прежде всего, потому, что я не видел в стране издания,

где мог бы работать при сложившемся отношении к проблемам, которыми занимался, да и ко мне лично. Даже в институте нам с Лисичкиным часто приходилось нелегко. Я уже говорил, что снимали из номера наши статьи в журналах, написанный нами и изданный всего-то сотенным тиражом доклад подвергся такой критике, что я взмолился: ну хоть в «Правде» нас лупили за миллионные тиражи, а тут вокруг ста экземпляров, тоненькой брошюрочки, шуму как в пивной к ночи, а синяков даже больше! Вторая причина — в том, что именно там, в журнале, работали Константин Иванович Зародов, а еще Егор Яковлев и Отто Лацис. Верилось, что хоть общение будет нормальным, с полным взаимопониманием. Но, возразят мне, это же был журнал коммунистических и рабочих партий, да еще и теоретический и пропагандистский по сути. Замечу, прежде всего, что некоммунистических изданий в то время у нас не было, а этот журнал выделялся из них в лучшую сторону.

«Проблемы мира и социализма» в ту пору, в годы моей работы в нем, в Москве, да и в стране читали. Интеллигенция прежде всего. Журнал курировался, как говорили тогда, международным отделом ЦК КПСС и формально не подчинялся отделу пропаганды. На его содержание все большее влияние оказывали крупные партии, такие, как итальянская, французская, испанская и ряд других, обретавших самостоятельный голос. Они стали наиболее активно искать свое особое место в коммунистическом движении, свое понимание марксистской теории, свой взгляд на мир и события в нем после нашего вторжения в Чехословакию в 1968 году. На совещаниях по работе журнала, собиравшихся раз в два-три года, а также на заседаниях редсовета практически все партии отстаивали свое право иметь собственную позицию по любому вопросу и излагать ее на страницах журнала. Они выступали против «коллективного мнения», коллективных документов, коллективного осуждения позиций той или иной партии. И они все более резко возражали против какой-либо правки своих статей. Мы, советский аппарат редакции, конечно, обязаны были «проводить линию» своей партии, и нам часто приходилось непросто в ситуации, когда душа была на стороне наших оппонентов, а международный отдел требовал проведения той самой линии. Но мы и пользовались этой ситуацией: когда проходила статья, вызывавшая неудовольствие отдела, мы говорили, что, мол, настаивали на своей точке зрения, но партия, представившая статью, не дала согласия на редактирование. Так появлялись статьи, которые в Союзе читали и даже удивлялись смелости журнала. Внимательнейшим образом многие вчитывались в

отчеты со знаменитых «круглых столов», потому что в них говорилось то, что совсем не могло пройти во внутренней прессе. И хотя, как от нас требовали, это оспаривалось, опровергалось вроде бы «здоровыми силами» комдвижения, все же многое оседало в умах, будило мысли. Не привожу примеров, просто скажу, что во множестве выступлений по самым разным вопросам, скажем, понимания демократии, прав человека, гуманизма просматривались позиции, сильно отличавшиеся от официальных советских.

Виталий Дымарский, с которым в «Проблемах…» довелось работать вместе, в одном отделе, рассказал мне недавно, уже в постсоветскую пору, два любопытных эпизода. В беседе с известным французским обозревателем Мишелем Татю он, как бы стесняясь своей работы в коммунистическом издании, сказал об этом эпизоде своей биографии осторожно: «Не знаю, известен ли вам такой журнал»… Татю удивленно возразил: «Как же! Это было гнездо диссидентства!» Конечно, мы сами не дали бы такого определения, но характерно, что так это воспринималось многими. Столь же примечательно в этом смысле и высказывание известного правозащитника Александра Гинзбурга: Мы, рассказывал он тому же Дымарскому, читали этот журнал в тюрьме, мы его выделяли из других. И сейчас я думаю, что неизвестно, кто больше влиял на ход событий: тот, кто отстаивал свои убеждения и попадал в лагеря, отбывал срок с чувством исполненного долга, или тот, кто находил возможность воздействовать на умы, работая легально, как вы в журнале. Конечно, я не хочу выдавать эти слова за достоверную цитату, тут уже двойной пересказ, но смысл сказанного в обоих случаях очевиден и достоверен: журнал уважали.

Надо сказать, что даже по некоторым острым вопросам внутренней жизни страны нам удавалось порой публиковать то, что не прошло бы в изданиях, выходивших в Союзе.

В самом начале моей работы в отделе теории Зародов поручил мне организовать выступление советского автора против концепции рыночного социализма: требовали сверху. Как это сделать, чтобы не отступить с собственных позиций, но и не подвести шефа? Я позвонил Николаю Петракову, в то время заместителю директора ЦЭМИ, человеку, которого относили к оголтелым рыночникам, сказал:

— Ну, это просто по определению твоя тема, лучшего автора не вижу.

— Пикантно! — засмеялся Петраков. — Тут как раз в трех журналах уже подготовлены статьи, в которых меня критикуют за рыночный социализм!

— Значит, самое время для тебя выступить у нас!

И мы прикинули, как можно решить задачу. По-моему, он написал отлично. Конечно, сейчас это не читается так, как тогда, а в то время прозвучало просто здорово. Ход был избран такой: как только у нас в стране принимаются меры к совершенствованию экономического механизма, разного рода критики пытаются противопоставить этому надуманную модель «рыночного социализма», которого в природе не существует. Это реакция вульгарных экономистов на наши поиски в сфере использования товарно-денежных отношений для совершенствования социалистической экономики.

Демагогия, конечно, страшная, но она позволила выполнить заказ таким образом, что утверждалась необходимость и неизбежность становления рынка в нашей стране.

После опубликования статьи я позвонил Петракову: как в Москве реакция? Он веселился от души:

— Один результат — верх эффективности печатного выступления: все три статьи против меня сняты из номеров — неудобно же критиковать авторитетного автора от КПСС, выступившего в международном журнале с разъяснением «наших» позиций по этому острому вопросу!

Коллектив журнала был интереснейший. В редсовет входили представители партий из 65 стран всех континентов. Мы работали и жили вместе. С удовольствием вспоминаю своих соседей. Надо мной жил индиец Шарада Митра, интереснейший и добрейшей души человек. Вечером порой у двери звенел звонок, и передо мной появлялись сначала кастрюли, какие-то коробочки, баночки, пучки травы, которые с трудом удерживал в руках скрывавшийся за ними Шарада:

— Я пришел к тебе готовить курицу и рыбу по-индийски…

Он готовил нечто необыкновенно вкусное, благоухающее приправами, а потом мы допоздна сидели на кухне за бутылкой водки и обсуждали все, что было актуальным в тот момент, с полнейшей откровенностью.

Молодые ребята-переводчики из Франции жили рядом, дверь к двери, и тоже часто оказывались у нас в гостях. Саша из семьи русских эмигрантов хорошо говорила по-русски, с Рене было сложнее, и порой доходило до смешного. Как-то я вышел из подъезда с авоськой, полной бутылок из-под пива. Навстречу Рене:

— Скажи, где взять фляги?

— Какие фляги, такие что ли? — показываю на свои бутылки.

— Нет, фляги на двери.

После долгого разбирательства выясняется, что ему нужны

флаги на окна: советский и чешский флаги у нас обычно вывешивали перед каждым большим праздником.

В нашем подъезде жили еще индонезиец Судиман, венесуэлец Каррера с женой немкой, панамец Диксон, а гондурасец Мильтон Рене Паредес из соседнего подъезда приходил к нам с гитарой и пел латиноамериканские песни, я же записывал их на магнитофон. Есть у меня кассета с шутливой надписью: «Поют члены политбюро». Это Паредес и Судиман, оба в свое время выступавшие на сцене профессионально. Паредес организовал в Праге ансамбль, который пел испанские и латиноамериканские песни на улицах и площадях, на концертных площадках города.

Однажды он, кстати, пришел ко мне расстроенный: друзья из латиноамериканских стран говорят, что не солидно члену политбюро бренчать на гитаре перед публикой. Спрашивает: как, мол, ты, советский коммунист, к этому относишься, что посоветуешь?

— Скажи им, что ты не «бренчишь», а занимаешься пропагандой латиноамериканской народной песни, вашей культуры!

Он очень обрадовался: «пропаганда», «народной», «культуры» — это уже на их языке, совсем по-другому выглядит!

Самым интересным временем был для нас период борьбы нашей партии с «еврокоммунизмом». На заседаниях редсовета, встречах за «круглым столом» шла острейшая полемика, страсти накалялись до высочайших градусов, до того, что кто-то хлопал дверью и заявлял о выходе партии из журнала. Потом чаще всего возвращался. В смягчении таких конфликтов немалую роль играли как раз личные отношения. Парадокс состоял в том, что во время острейшей официальной полемики КПСС, открытой и закулисной, с итальянской, французской, испанской компартиями, с компартией Великобритании у нас, у многих, по крайней мере, у моих друзей Левы Степанова, Володи Рыбакова, Виталия Дымарского, были добрые отношения с их представителями. Тепло вспоминаю и сейчас Микеле Росси и Лючано Антонетти, которые прекрасно показали мне Италию. Доброе слово часто звучит в нашем доме в адрес англичан Идриса Кокса и Берта Рамелсона, испанца Сапираина… Рамелсон, кстати, бывший профсоюзник, привозил мне интереснейшие материалы по проблеме рабочего контроля и участия рабочих в управлении капиталистическим производством, о чем я к концу пребывания в журнале написал докторскую диссертацию и книгу.

Наши отношения с «еврокоммунистами» строились не просто на личных симпатиях. В ходе дискуссий мы все лучше понимали друг друга. Они стали видеть, что среди нас не одни тупые

ортодоксы, что мы озабочены проблемами нашего убогого социализма, а вовсе не гордимся им. Мы же стали уважать их поиск, их стремление отойти от догм и осмыслить по-новому реальности современного мира, своих стран. Наши домашние дискуссии были куда интереснее официальных. В них проявлялась, однако, и наша ограниченность: они верили в возможность построить лучший социализм в своих странах, если КПСС не будет им мешать, а нам казалось возможным обновить, усовершенствовать свой «социализм», если использовать инструменты рынка и опыт развитых демократий. Мы чувствовали эту ограниченность, понимали, что ни те, ни другие не нашли еще ответов на реальные вызовы жизни, не представляли, как же реально могут произойти позитивные сдвиги, если в нашей стране все зажато, партия закоснела, вожди одряхлели и не способны и вовсе не стремятся к каким-либо преобразованиям. Никто не уходил в этих неофициальных дискуссиях от острых вопросов, но и ответов, повторяю, мы не знали. И замечу уж, что очень не люблю читать воспоминания тех людей, которые пишут сейчас: тогда-то и тогда-то я уже видел и понимал… Требовалось еще пройти ту самую «перестройку» только для того, чтобы понять всю сложность проблем и всю трудность необходимых реформ. Не уверен и сейчас, что мы уже осознали все до конца.

Тогда, когда наша страна готовилась ко вторым выборам в Думу и президентским выборам, «демократическая» критика в адрес наступавших коммунистов сводилась главным образом к тому, что они плохие люди, что их биографии ограничиваются партийно-комсомольским, райкомовско-обкомовским опытом и т. д. Ну, а сами разве не писали раньше, что всем в стране, всем хозяйством заправляли обкомы и райкомы? Разве у «демократических кандидатов», у Ельцина того же, были не такие же биографии? «Завлабов» и профессоров к тому времени уже тоже ругали и сильно потеснили от власти. И разве только в человеческих качествах проблема выдвижения руководителей? Я написал тогда статью «Голосовать ли за коммунистов?», ссылаясь как раз на опыт работы в журнале «Проблемы мира и социализма». Я рассказал о том, каких хороших коммунистов знал. Знал многих в руководстве партий и считаю, что они не очень- то отличаются по своим человеческим, нравственным качествам от других политиков. «Но должен сказать, — писал я, — когда эти хорошие люди приходили к власти в своих странах, народ начинал терпеть бедствия».

На наших глазах свершилась революция в Португалии. Коммунистический лидер Альваро Куньял, «человек с глазами

медиума» обаял страну. Я встречался с ним и тоже испытал на себе его притягательную силу. Но уже очень скоро португальцы разочаровались в коммунистах. А в Чили коммунисты были опорой Альенде и его партии. После победы на выборах они рисовали народу заманчивые перспективы, но танки Пиночета (всего-то четыре) шли к президентскому дворцу беспрепятственно, под звон пустых кастрюль: власть к тому времени лишилась народной поддержки.

Надо ли вспоминать грустную, трагичную историю стран «социалистического лагеря», сравнивать ГДР и ФРГ, напоминать о берлинской стене, через которую, несмотря на смертельную опасность, страх, бежали только в одну сторону? В чем же дело? Разве в плохих или хороших людях?

Опыт чем дальше, тем больше убеждал, что коммунистическая доктрина утопична, попытки втиснуть утопию в жизненную реальность ведут неизбежно к насилию…

В той статье я пытался показать, что весь опыт нашей страны, как и других социалистических государств, особенно опыт последних лет, только подтвердил утопичность коммунизма, побудил развести его с социализмом, потребовал более глубокого осмысления и этой, социалистической тенденции в развитии общества. Скажу сразу, что статью мне не удалось напечатать в центральных изданиях, только в кузбасской газете. Уверен, что ее как-то просто не поняли или, лучше сказать, не восприняли и продолжали толочь воду в ступе, доказывая, что коммунисты просто плохие люди. Генетически что ли?

Как я был разведчиком

Микеле Росси слыл в редакции журнала «Проблемы мира и социализма строптивым и скандальным человеком. Не без оснований. К тому же он представлял в редсовете и редколлегии Итальянскую коммунистическую партию, в то время самую крупную из коммунистических организаций капиталистических стран. И она, по сути, возглавляла течение еврокоммунистов, противостоявшее ортодоксам во главе с КПСС. Любые дискуссии с ним всегда были не простыми. И в этот раз мы, обсуждая какую-то статью, не просто беседовали, а по-настоящему ругались.

— Вы ничего не знаете о работе партийных организаций в наших странах и пишете полную чепуху, — горячился Росси. Я отвечал:

— Не знаем и будем дальше писать чепуху, потому что вы построили железный занавес между своей партией и журналом. Пятнадцать лет ни один журналист из нашей редакции не бывал в Италии. Вы нас не пускаете в эти ваши организации, так что мы о них можем знать?

Росси вдруг как-то резко изменился: напряженное красное лицо стало нормальным, а голос совершенно спокойным.

— Ты не был в Италии?

— Нет.

— И хотел бы побывать?

— Конечно!

— У меня есть интересная тема. На последних муниципальных выборах мы вместе с социалистами добились большого успеха и сформировали левые джунты в 8 из 10 крупнейших городов, в десятках больших и малых населенных пунктов. По- моему, интересно было бы взять интервью у новых мэров, как они там начали работать.

— По-моему, тоже — интересно.

— Но тебе тогда придется проехать всю Италию, от Милана и Турина до Неаполя.

— Сибиряка пугаете расстоянием? Да у нас в Барнауле считают омичей соседями, а это 600 километров! В Новосибирск я в субботу со всей семьей на оперный спектакль ездил.

— Ну, я завтра как раз в Рим лечу, и через неделю ты получишь приглашение.

Вышел из его кабинета, спрашиваю Наташу Наставину, секретаря Росси, которая и переводила нашу беседу. Мол, дурака что ли валяет, уж очень неожиданный поворот в дискуссии. Да, нет, говорит она, похоже, что и впрямь получишь приглашение,

он зря не скажет.

По-моему, и недели не прошло, как приглашение пришло — на двух человек. Зародов, шеф-редактор журнала, которому я, конечно, рассказал все заранее, заволновался:

— Так ты здорово подставляешься. Представь, как в международном отделе ЦК будут говорить: что это они вдруг именно Волкова приглашают? Пятнадцать лет никого к себе не пускали, а этого вдруг позвали. Значит, завел какие-то шашни с еврокоммунистами.

— Ну, и черт с ними, пусть говорят.

— Нет, это тебе дорого может обойтись, да и мне тоже.

— И что, по-вашему, не ехать из-за этого?

— Придумать чего-нибудь надо. Поговори с финским представителем, он вроде как за главного приглашенного будет, а ты при нем сопровождающим, уже другое дело.

— Да я согласен, только ведь Росси прислал приглашение на меня и переводчика, финн тоже итальянского не знает.

— Найдут они переводчика у себя, я поговорю с Росси.

— Не знаю, не знаю.

Приехал Микеле, Зародов тут же позвал его и высказал свое предложение. Микеле взвился.

— На что мне финн? Волков журналист, напишет про наши левые джунты. А что финн будет делать? Если получится целая делегация от двух партий, мне их с оркестром встречать? План пребывания составлять надо. Главное — на это нужно специальное решение Руководства партии, я должен тогда писать обоснование. А журналиста я сам могу пригласить, без всяких согласований и решений. Нет, я пригласил только журналиста и переводчика, и никаких делегаций…

Зародов знал, что спорить с Росси бессмысленно. Но он искренне беспокоился за меня: и отозвать ведь в Москву могут. Сорвать поездку тоже, конечно, не хотел.

На следующий день шеф пригласил меня к себе.

— Есть одна идея. Ты же знаешь, что скоро будет Совещание по работе журнала. В ЦК говорят, что итальянцы могут учинить на нем скандал и выйти не только из редколлегии, но отказаться от журнала вообще. Сам понимаешь, какой это пример будет для всех еврокоммунистов, да и вообще журнал повиснет в воздухе. Вот я и скажу в ЦК, что специально посылаю тебя на разведку настроений в руководстве ИКП. Что, мол, они там задумали. Ну, а уж тебе придется и в самом деле пощупать там почву.

— Да я бы пощупал, если бы удалось, только мне ведь предстоит беседовать с мэрами, а не с секретарями ЦК, да еще некоторые мэры не коммунисты, а социалисты.

— Ну, по итогам поездки, может, встретишься с кем-то из руководства, намекни Росси.

Короче говоря, так я и стал разведчиком. Пред поездкой Зародов сказал мне:

— Ты, кстати, там увидишь совсем другого Росси. Здесь мы с ним все ссорились, а когда я ездил в Италию, он был ну просто ангелом, таким заботливым, внимательным.

Это подтвердилось. Микеле делал все, чтобы хорошо показать мне Рим, под ручку переводил через сумасшедшие римские улицы, где до светофора нужно пройти чуть не километры, приглашал в роскошные рестораны.

В поездке, которая началась с Милана, меня сопровождал Лючано Антонетти. Беседы с мэрами были очень интересными, но это особый разговор. Запомнились встречи с Туринским мэром Диего Новелли, крупным специалистом по урбанистике (с докладом о ней выступал в ООН), и мэром Неаполя Валенци, художником, человеком трудной судьбы, побывавшим и в эмиграции, и в тюрьме во времена фашизма. Я спрашивал, что мне хотелось знать, они рассказывали откровенно о достижениях и проблемах, особенно о последних. Я все записывал на магнитофон, но Лючано тоже что-то постоянно писал в своем блокноте. Каждый вечер он шел к телефону, звонил в Рим и долго разговаривал. Я спросил, почему он так часто звонит, и он сказал, что у него больна жена, приходится ее проведывать. Но оказалось, что за этим стояло нечто иное.

Когда весь маршрут был завершен (Милан, Турин, Болонья, Флоренция, Рим, Неаполь, и опять Рим), нас, меня и переводчицу Нину Бондареву, пригласила в ресторан Бианка, бывшая сотрудница журнала, теперь работавшая в их ЦК. Там она и сказала мне, что завтра меня примет Член Руководства Армандо Коссута, ведавший в частности работой в муниципальных органах. Добавила:

— Можешь не волноваться, примет хорошо. Ты хорошо все встречи прошел.

— Откуда это известно?

— Так Антонетти каждый вечер докладыал, какие вопросы ты задавал, как реагировал на ответы.

Вот какой «жене» он звонил!

Встреча с Коссутой и впрямь прошла наилучшим образом. Я тоже записал его интервью, и в журнале было опубликовано 15 страниц общего текста — небывалый объем! В Руководстве ИКП текст предварительно просматривали, и поправок практически не было, так, мелочь.

Перед отъездом, накануне вечером, Росси пригласил меня в

ресторан. За столик с нами сел незнакомый мне человек. Я думал, конечно, как же мне выполнить свою разведывательную миссию — спросить, как поведет себя представитель партии на большом совещании по работе журнала. Оно должно было начаться буквально через день. Но Микеле сам тут же решил мою проблему, с того и начал застольную беседу:

— Ты, конечно, хочешь знать, с чем мы выступим на Совещании?

— Конечно, хочу! — не стал я скрывать своей заинтересованности. Да это было и естественно.

— Вот видишь — человек напротив тебя сидит? Сицилиец, конечно, глазищи, видишь, какие черные, мафиози, разумеется, типичный. Вот он и поедет на совещание.

Росси, как всегда, хулиганил, но «мафиози» действительно был впечатляющ — глаза как огромные черные сливы, лицо крупное, грубо вырубленное, но улыбающееся. К шуточкам Микеле в ИКП все привыкли. В партшколе, где он в свое время, будучи уже секретарем крупной провинции, вроде как секретарем обкома по-нашему, вдруг вздумал учиться, про него просто легенды рассказывали. Предложил, например, на полном серьезе во время занятий регулярно прерываться на физзарядку, и ему не смогли отказать.

— Вот специально такого посылаем. Но выходить из журнала мы не будем, ничего особого не замышляем. Его выступление ты можешь получить сразу же, как прилетит, прямо у самолета. Но там ничего такого, что Зародова волновало бы, нет.

В полдень следующего дня я уже был в редакции и сразу позвонил Константину Ивановичу. Сейчас, говорю, съезжу домой, побреюсь, помоюсь и приду доложить. В общем-то все нормально, ничего не должно случиться.

— Какое «побриться — помыться»! — взвился Зародов. — Иди ко мне сейчас же, подумаешь — небритый! Я тут тебя с утра жду!

Как только я доложился, шеф тут же позвонил в Москву.

Последние аккорды

Теперь как раз подходящее время и место, чтобы вернуться к вопросу о том, почему же я и многие мои друзья так долго оставались на позициях приверженности социализму и критики капитализма.

Я смотрел на эту проблему главным образом с точки зрения экономики. С некоторых пор, со времени работы в «Правде», меня все более занимали два аспекта этой проблемы. Один — характер труда при социализме. Правы ли те теоретики, которые утверждали, что он стал «непосредственно общественным в его конкретной форме», то есть мы все как бы работаем на единой фабрике, где все идет по плану, зарплата — часть нашего общего дохода и так далее. Поэтому уже нет потребности в том, чтобы связи производителей опосредовались товарно-денежными отношениями, нет нужды в рынке. Я приходил к выводу, что они не правы. Другой — он тесно связан с первым — является ли наш труд наемным или же мы действительно стали свободными ассоциированными производителями, объединенными общественной собственностью. Стали как бы коллективными хозяевами, как это предрекал Маркс. Как видно уже из этих размышлений, предмет здесь достаточно сложный, не поддающийся краткому и популярному изложению. Я писал обо всем этом именно в популярных изданиях, но здесь не смогу коротко изложить весь ход своих раздумий. Поэтому скажу лишь, что в книгах и брошюрах, начиная с «Работы на себя», вышедшей в 1970 году, а также в многочисленных статьях я пытался обосновать два основных направления совершенствования социализма: развитие его в рамках рыночных отношений и реализация идеи «работы на себя», то есть коллективных форм собственности, единства труда и собственности, самоуправления. Что-то представлялось как реализация идей кооперации, включая разработки известных теоретиков, в частности и нашего Чаянова, использовалась, разумеется, как фундаментальная опора ленинская работа «О кооперации». Докторскую диссертацию и книгу «Конфронтация или компромисс?», вышедшую на русском и английском языках, я написал, как говорил уже, на материалах дискуссий в профсоюзном и левых политических движениях об очень актуальной одно время проблеме — об участии рабочих в управлении капиталистическом производством.

Таким образом, хочу я сказать, прежде всего, что речь шла не о приверженности тому убожеству, которое именовалось у нас реальным, да еще и развитым социализмом, а идеалу социализма,

реализация которого в определенной степени представлялась возможной. Вот именно: не реальности, а идеалу. Хотя и здесь приходится сделать оговорку: в статьях и книгах такое противопоставление приходилось скорее скрывать, чем подчеркивать. Эзоповским языком нашему поколению пришлось говорить практически всю жизнь.

Позднее, уже в пору горбачевской перестройки, возникало все больше сомнений в возможности и эффективности ассоциированного труда. Много было фактов, питавших это сомнение. Одним из самых важных, может, переломных моментов стала встреча и беседа с Вилли Брандтом, в свое время — лидером немецких социал-демократов. Он приезжал в наш Фонд социально-экономических и политических исследований, который мы создали на базе Института общественных наук еще до прихода к нам Горбачева. Я задал ему несколько вопросов на эту тему, в частности такой: как социал-демократы ФРГ развивают и видят в будущем свою любимую идею «Митбештиммунг» (Mitbestimmung), то есть участия рабочих в управлении производством. Брандт с интонацией сожаления ответил: «Что-то с этим не получается…» Он говорил, конечно, подробнее, сказал, что даже в горно-металлургической промышленности, где гордость социал-демократов — система «Монтанмитбештиммунг» действовала с 1951 года и давала интересные результаты, сейчас царит разочарование. Этому «не получается» впоследствии я находил все больше подтверждений, в том числе и на нашей почве, в России. Хотя остается в уме и другая мысль: у нас идея «работы на себя», участия производителей в управлении производством и не была хоть в малейшей степени реализована, как и идея кооперации. Колхозы, которые должны были жить как кооперативы, таковыми не стали. Они изначально были подмяты государством, сама собственность их вместе с бесправными крестьянами была огосударствлена.

Менялось и понимание проблемы «социализм и рынок». Если раньше мы ставили вопрос: «возможен ли рынок при социализме?», то теперь задумывались над другим: «возможен ли социализм при рынке», то есть в условиях естественных для современной экономики рыночных отношений? Да и что такое социализм?

Потом пришло время, когда многие из нас увлеклись простой, как казалось, мыслью: а надо ли мудрить с устройством экономики, когда есть система, успешно функционирующая, по крайней мере, в сравнении с нашей, в Европе и Америке? Не стоит ли просто заглянуть в огород к соседу и разобраться, почему у него все хорошо растет, и сам он сыт. Кто-то совсем

отказался от социализма, от самой идеи, кто-то переосмысливал это понятие: оно характеризует не строй, а систему ценностей, тенденцию к солидарности, это феномен культуры в широком смысле… Но уже почти одновременно — новый этап в развитии представлений об идейной революции — появляются мысли о том, что кризис претерпевает не только социалистическая идея, но и либеральная, что у соседа-то тоже не все так уж хорошо, как виделось из-за забора, а его приемы, перенесенные на нашу почву, в наш огород, рождают пока каких- то мутантов, уродцев…

Я немало писал на эти темы, но сейчас хочу сказать лишь главное: представления об устройстве общества, его желаемом будущем менялись и меняются, наш болезненный поиск лучшего шел годы и продолжается теперь. И, говоря о прошлом, нельзя судить о своих же и чужих взглядах с позиций застывшего времени, сегодняшнего последнего часа. Это будет ошибкой. Не склонен думать и так, что все прошлое было бессмысленным, что «жизнь прожита зря». Нет, мы все-таки двигали общественную мысль, подготовили преобразования в обществе, пусть еще и не давшие результатов, о которых мечталось, мы спровоцировали ту встряску, без которой общество окостенело бы окончательно и выходило бы из этого состояния с еще большим трудом.

Тогда, когда мы работали в журнале «Проблемы мира и социализма», еще очень трудно происходило осознание причин уже назревавшего, ощущавшегося нами провала коммунистического движения, упадка стран социализма, все больше отставaвших от развитых капиталистических стран. Мне довелось наблюдать, как шло, скажем, в ФРГ обновление всего производственного потенциала, свершался переход, прыжок к новым технологиям и новой технике, как менялись сами производители и системы управления производством. У нас же тем временем окостеневали все производственные и общественные структуры. Работа в Праге, поездки по многим странам, дискуссии с интересными людьми в ходе этих поездок помогали лучше и лучше понимать происходящее, только писать об этом было трудно.

В связи с этим расскажу историю с Отто Лацисом. Она многим уже известна, но мне важно рассказать об одном ее аспекте.

Лацис, в то время заведующий отделом соцстран в журнале, собрался в Москву. Его вызвали, как он мне сказал сам, для того, чтобы предложить работу, поскольку в Праге он находился уже не один год. Однако накануне его отъезда меня вдруг пригласил Зародов. Он был явно чем-то сильно расстроен и не скрывал

этого. Сразу же сказал, что оказался в очень трудном положении и хочет посоветоваться со мной, вернее спросить, могу ли я ему помочь. Суть дела такова: КГБ изъял у машинистки рукопись Лациса, которую Лен Карпинский собирался нелегально напечатать. Рукопись называлась «Год великого перелома» и раскрывала суть и причины резкого поворота Сталина на путь репрессий. В ней рассматривалась история сталинских пятилеток, ни одна из которых, как было показано в цифрах, не только досрочно, но и вообще не была выполнена. Рапорты о досрочном выполнении как раз и требовались для того, чтобы скрыть назревавшие провалы…

Не помню уже в деталях, как всю эту историю представил мне Зародов, но суть рассказа сводилась к следующему: Лациса вызывают вовсе не на новую работу, а именно в связи с попыткой опубликовать рукопись, которая оценивалась как клеветническая, искажающая историю партии и государства, короче — как антипартийная, антисоветская и вообще анти… Зародов считал тогда, что Лациса ждет допрос и, возможно, арест и суд…

Помню, — говорил Зародов, — как мне рассказывали об одном человеке, которого также вот вызвали из-за границы, в аэропорту сразу же заломили руки за спину и — в «воронок». Представляю, что также вот будет и с Лацисом… А я его даже не предупредил. Но как предупредить, чтобы самому не подставить шею под топор? Он просто так, конечно, не расскажет обо мне, но сделают какой-нибудь укол — знаешь же, что есть такие средства — расскажешь все за милую душу! И кто мог его предупредить, кроме меня? Но и не предупредить не могу. Вот и скажи, что делать. Я подумал, что может быть, ты как-то сможешь ему намекнуть, не ссылаясь на меня. Здесь что важно: чтобы он, если сразу в аэропорту все же не арестуют — времена- то все же другие, и я, наверное, слишком мрачную картину нарисовал, так если не арестуют, то он, прежде, чем идти в ЦК, встретился бы с Карпинским. Чтобы хоть не отрицал того, что Лен уже рассказал, чтобы согласовали все…

Мне были очень понятны опасения Зародова, сам же я не сомневался, что найду какую-то возможность передать Отто самое главное — о встрече с Карпинским. Убедил, что смогу, и Зародова, и что имени его не упомяну.

Когда я уже выходил из кабинета, Зародов спохватился:

— У него же, наверное, есть здесь экземпляр рукописи, и его, может быть, кто-то из наших читал — ты, Егор Яковлев. Там же отпечатки пальцев остались. Представляешь, найдут — целое дело по журналу состряпают. Стереть бы хоть что ли…

Я не стал, как мне помнится, сознаваться, что читал

рукопись, только согласился, что подскажу Лацису нечто и на этот счет.

Не помню уже, как именно строилась беседа с Лацисом, но я, соблюдая условия Зародова, сказал и о необходимости встречи с Карпинским и даже об отпечатках.

Позднее Отто рассказывал мне, посмеиваясь над собой, что ночь перед отлетом из Праги целиком провел над рукописью, тщательно обрабатывая канцелярской резинкой каждую страницу. Рассказал и то, что Зародов помог ему минимум трижды.

Рукопись действительно изъяли у машинистки еще в январе 1975 года, потому что следили за Карпинским и его друзьями Глотовым и Клямкиным, ожидая, когда они начнут издавать подпольный журнал. О такой возможности шла речь в их беседах, хотя от этого потом отказались. А в другой рукописи, самого Лена, найденной задолго до того сотрудниками КГБ при обыске у Роя Медведева, Карпинский излагал пропагандистскую программу в духе ленинской работы «С чего начать?». (С издания общерусской политической газеты, — напомню тем, кто Ленина не помнит или не читал.) В ней содержалась оценка оккупации Чехословакии: как окончательное отступление от марксизма, исчерпанность его советской версии, крест на всех надеждах на обновление социализма. Отсюда — стремление «начать с нуля» или «вернуться к истокам», развернуть, прежде всего, пропаганду во всех органах печати, силами многих журналистов-единомышленников истинного марксистского учения о новом обществе. Впрочем, это очень поверхностная характеристика взглядов и Карпинского, и Лациса. О них лучше судить по собственным публикациям этих авторов, сейчас ведь уже почти все издано. Мне важно другое: стремясь схватить заговорщиков за руку с поличным, а именно с нелегальным журналом, сотрудники КГБ неожиданно для себя вместо журнала получили рукопись Лациса.

Не берусь разгадывать ход их мысли, но Лацис предполагал, что они не хотели заводить уголовное дело, в котором оказались бы замешанными и приемный сын друга Ленина Вячеслава Карпинского, и номенклатурный работник международного коммунистического издания Лацис, тоже, кстати, сын известного большевика, героя войны в Испании, а также два номенклатурных члена редколлегии журнала «Молодой коммунист» Глотов с Клямкиным… Так или иначе, КГБ ограничился тем, что направил официальное письмо в отдел пропаганды ЦК КПСС, причем письмо, как говорил Лацис, даже не очень суровое, поскольку надо же было обосновать свой отказ от уголовного дела.

В отделе пропаганды тоже долго размышляли, что делать с

письмом. Однажды туда зашел Борис Иванович Стукалин, в то время председатель комитета по печати, и письмо ему показали. Он сообщил об этом своему другу Зародову. Зародов рассказал Егору Яковлеву. Яковлев рассказал Лацису. А Лацис и сам знал об аресте его рукописи с того самого января: он был тогда в командировке в Москве…

Отто пришел к Зародову весной, как ему помнится, в апреле, и попросил командировку в Москву, чтобы поискать работу. Константин Иванович отделался шуточками: тебе что — здесь что ли плохо? И не пустил. Сознательно.

Они со Стукалиным рассудили, что дело может тихо заглохнуть: шла подготовка к очередному съезду партии, все были заняты, да и не хотелось вроде бы никому поднимать большой шум, брать это на себя… А если Лацис появится в Москве, кто-то может воспользоваться этим.

Однако в первых числах июля Зародову вдруг позвонили и потребовали, чтобы Лацис был выслан из Праги в 24 часа. Отто в это время отправлял уже в отпуск семью и собирался следом поехать сам. Шеф-редактор сказал московским товарищам, что лучше бы сделать все поспокойнее: Лацис и так вот-вот отправится в Москву. Согласились оттянуть немного отъезд, обойтись без шумной высылки, но назначили крайний срок. Тогда вот Зародов и решил предупредить Лациса через меня.

Как Отто рассказывал сам, оказалось, что ко времени его приезда в Москву дело уже было передано в Комитет партийного контроля — КПК. (Кстати, в КГБ до того побывали-таки и Карпинский и его «подельники», допросы вел высокий чин, в прошлом коллега Карпинского по комсомольской работе, они были хорошо знакомы.) В КПК составили хитроумный сценарий. Воспользовались тем, что, приезжая в Москву, мы прежде всего заходили в международный отдел, а в одном с ним подъезде находился и КПК. Лациса должен был встретить сотрудник, курирующий журнал, и сказать, что с ним хотят побеседовать «наши товарищи» (такая неопределенная форма часто использовалась). У Лациса должна была возникнуть мысль, что как раз — по поводу возможной работы. Они спускаются на третий этаж, где размещается КПК, заходят в комнату, и там Отто неожиданно для себя оказывается перед тремя партийными следователями. Они выкладывают на стол рукопись и спрашивают:

— Ваша?

— Нет, — отвечает, растерявшись, Лацис. Он знает, что на ней нет имени автора. Но на том ему и конец: солгал партии! Доказать, что рукопись его — нет проблемы (дома стоит

машинка, на которой печатал, да и установили уже все), но зато не нужно мучиться с доказательством крамольности текста, того, что в нем есть нечто предосудительное.

Хотел издать книгу нелегально и солгал партии — этого вполне достаточно для исключения из КПСС.

Получилось иначе. Прилетев в Москву вечером, Отто тут же позвонил Карпинскому. Лен работал тогда в издательстве «Прогресс», и у него находилась совсем другая рукопись Лациса, предназначенная для издания в том же «Прогрессе». О ней Отто и спросил.

— Какая рукопись! — возразил Лен. — Меня тут полным ходом исключают из партии!

— Кто?

— КПК.

Когда Лацис пришел в международный отдел и услышал, что с ним хотят побеседовать «наши товарищи», он спросил:

— Из КПК?

— Ты знаешь? Откуда?

— Звонил вчера Карпинскому.

Но все же пошли на третий этаж. Товарищи продолжали действовать по задуманному сценарию: на столе появилась рукопись.

— Ваша?

— Моя, — ответил Лацис.

Это был шок. Теперь ведь надо доказывать, что есть нечто необычное, вредное для партии в том факте, что человек написал некий исследовательский труд… Пришлось бедным следователям повозиться, обосновывая то, что Сталина так критиковать нельзя (это после двадцатого-то съезда!), что не надо было давать рукопись Карпинскому, а прежде отослать ее на рецензию в Институт марксизма- ленинизма… Бред, в общем-то, с нынешней точки зрения.

Но их ожидал еще один шок. По запросу КПК из журнала «Проблемы мира и социализма» пришла подписанная Зародовым, кандидатом в члены ЦК КПСС, характеристика. В ней не было ни одного критического замечания в адрес «партийного отступника». Сдержанная характеристика, но не содержавшая ни единой зацепочки для КПК, оформленная по всем стандартам заграничной характеристики. Мне, подписавшему в качестве партийного секретаря множество таких документов, хорошо известны условные знаки, по которым те, кому надо, узнавали, что следовало, и без подробных описаний. И эта положительная характеристика сыграла свою роль, о ней говорилось на решающем заседании комитета.

Знаю, что в то же время в издательстве «Прогресс» мучились над характеристикой Карпинского: ну, не принято было не найти недостатков у человека, если уже известно, что он совершил какой-то проступок, не может он быть во всем остальном хорошим. Шло это от тех времен, когда коллектив непременно обвиняли в том, что вовремя не разглядел врага в своей среде. И друзья Лена придумывали по возможности безобидные критические замечания, написали нечто вроде того, что в его отделе (он был заведующим) недостаточно высокая дисциплина. Это тоже трудно многим понять сейчас?

Почти вслед за Отто в Москву поехал Егор Яковлев. Зародов передал через него подробные инструкции Лацису, как вести себя в КПК, мол, он еще не очень опытный, вот так с ними говорить ни в коем случае нельзя, а вот так можно…

Вскоре и я поехал в отпуск в Москву, отдыхал в санатории «Пушкино». Отто приезжал ко мне туда. Он проверял на мне аргументы в споре со своими партийными обвинителями, когда мы катались на лодочке по «партийному» пруду. Для тех, кто не знает, все же скажу: Карпинского исключили из КПСС, Лацис получил «строгача с занесением» и, конечно же, был отлучен от прессы.

Лацис оценил мужество Зародова. Множество раз еще до той истории и после мы убеждались в глубочайшей порядочности Константина Ивановича. И мне очень досадно, когда слышу от некоторых: а вот мне он не помог, меня не напечатал и тому подобное. Один человек, когда я попросил его быть оппонентом на защите моей докторской (не столь уж великое одолжение), отказался выступить, объяснив это только тем, что вы, мол, с Зародовым меня в Прагу так и не позвали (на работу имелось в виду) и в журнале не печатали. Получается, дескать, «игра в одни ворота», — так он сам выразился. Я извинился, что побеспокоил, и не захотел рассказать, сколько раз Зародов предлагал его кандидатуру в ЦК КПСС и как всякий раз получал отказ.

Теперь вернусь к тому моменту, когда я сам собрался вернуться в Москву и получил столь резкий от ворот поворот, к тому эпизоду, с которого начал эту книгу.

Конечно же, я с нетерпением ждал возвращения в Прагу Константина Ивановича. Ничего, как он просил, не предпринимал. Две «бедны» с вещами так и стояли не разобранными, масса увязанных книг так и лежала горой. Мы начинали потихоньку раскладывать их по полкам, но делать это как-то не хотелось, пока не стало окончательно ясно, что же все-таки произошло, и что отъезд уж точно откладывается на

неопределенное время. Думалось, быть может, удастся сразу ринуться в какое-нибудь другое место в Москве, на другую работу, но это так, для ослабления стресса, потому что в душе в возможность этого веры не было — знал же порядки в родной стране.

Когда Константин Иванович вернулся, он позвал меня к себе в первые же часы по прилете. Я уселся рядом с ним за большим длинным столом для совещаний — так он любил иногда разговаривать с сотрудниками, если беседа предстояла долгая — и он сразу же спросил:

— Ты вот мне скажи откровенно, есть у тебя на стороне ребенок? Только честно, как на духу…

Ожидал чего угодно, только не этого.

— Странный, — говорю, — вопрос, Константин Иванович. Чего это вы вдруг? Какое это имеет отношение ко всем событиям?

— Нет, ты вот так прямо мне и скажи — есть или нет?

— Ну, если уж вам так нужно, отвечу: нет, не было, да и не собираюсь…

— А вот там написано, что есть! Я еще удивился. Все другое, что про тебя сказано, я знаю, а вот этого не знал.

— Вы не знали потому, что этого нет, — говорю так, а сам размышляю: что за идиотский, в сущности, вопрос, какое он имеет отношение ко всему происходящему? А Зародов поясняет:

— Там так написано: имея двоих детей, связался с женщиной, у которой от него родился ребенок. Потом он бросил и ее.

— Выходит, Константин Иванович, что я сначала первых своих двоих детей бросил вместе с женой, а потом еще одного вместе с этой женщиной, так что ли?

Он смутился, понимая уже всю несуразность обвинения, потому что прекрасно знал и мою жену и детей, и то, что никуда я их не бросал. Ну, а я, естественно, хотел уж поставить точку над i:

— Вы же знаете, что «имея двоих детей», так их и имею, а они уже тоже имеют детей, внуков то бишь моих. С одной женщиной не расходился, так как же получилось, что еще и другую бросил? Уж написали бы просто, что имел, скажем, любовницу или еще как, но, видно, это слабовато показалось, мало ли кто любовницу имел! Сейчас прямо половину аппарата ЦК назову. А тут совсем иначе все выглядит, ужасно нехорошо: одних детей побросал, а потом других побросал… А главное все-таки, где это написано?

— Да я вот тоже удивился, — озадаченно говорит Зародов. — Об остальном-то я знал.

— А чего «знал», чему вы не удивились?

— Знаешь, Александр Иванович, я с тобой буду разговаривать

откровенно при одном условии: ты ничего не станешь расследовать, никому ничего не расскажешь. Сам понимаешь, что сказано все это было не для тебя.

— А почему, собственно, не для меня?

— Ну, такое было условие. Ты знаешь, партбилет у меня один, я его лишаться не хочу, поэтому ты мне для начала дай слово, что никто ничего не узнает, и ты ничего не будешь предпринимать.

— Мне, — говорю, — не нравятся такие игры. Но, с другой стороны, понимаю, что у вас, видимо, нет выхода. Значит, и у меня его нет.

— Нет, — подтвердил он, — нет другого выхода.

— Тогда обещаю.

Сразу замечу: я это обещание выполнил. Ничего не предпринимал, не расследовал, хотя вся душа протестовала против такой анонимности. Да и почему, собственно, не сказать человеку ясно и просто, по каким причинам его не взяли на работу, кто и в чем его обвиняет? Впрочем, что спрашивать, если так долго права доносчика охранялись несравненно ревностнее прав любого другого гражданина? Да и до сих пор охраняются! Анонимность, таинственность, намеки на то, что где-то кто-то хранит высшую истину, даже и про тебя знает больше, чем ты сам — это кому-то выгодно, это атрибуты и инструменты любой авторитарной власти.

Уже только после смерти Зародова я поведал кое-что самым близким друзьям, и то не сразу и не полностью.

Рассказ Константина Ивановича сводился к следующему. После смотрин, которые мне устроили, Зародову было сообщено, что предложенный им кандидат подходит и уже оформляется. Я тогда, кстати, заходил к Зародову в больницу, мы там побеседовали обо всем на свете, а когда я уходил, он, смеясь, сказал:

— Ну, давай, пробивайся тут, укрепляйся, а потом, глядишь, и мне поможешь выбраться из Праги.

Шутка была не случайной. Дело в том, что сидел он в Праге с 1968 года. Приехал туда как раз накануне известных событий и «просидел» в общей сложности около четырнадцати лет. Как-то он позвал меня и прочитал строки из письма близкого ему человека, Александра Николаевича Яковлева, работавшего тогда в Канаде: «Костя! Знаешь, кто мы с тобой? Есть люди «невыездные», которых не выпускают за границу, а мы с тобой «невъездные».

А стал Зародов «невъездным» так: ему предложили должность главного редактора «Коммуниста». Документы о назначении

прошли все инстанции, получили подписи всех членов Политбюро. Друзья уже звонили в Прагу, поздравляли, но Брежнев назначения не подписал. И никто не знал, почему. Сейчас можно предположить, что Генсек просто был болен, но это именно мое предположение, не больше. Тогда же тайна строго охранялась. Эта неизвестность мешала Зародову и дальше. Многие такое испытали: против тебя что-то предпринимают, за спиной у тебя что- то происходит, тебя куда-то, скажем, не пускают, каким-то образом дискриминируют, а ты не только не можешь ничего сделать, но и не имеешь права — как это было и в моем случае, и в случае с Зародовым — даже голос поднять, даже намекнуть на то, что нечто не в порядке, потому что знаешь: состроит кто-то удивленное лицо, мол, что вы, какая дискриминация, к вам все прекрасно относятся. А дальше тебе будет еще хуже. Никто не знал, почему не подписал назначение Брежнев, и потому никто не мог предложить Зародову другую должность, не мог «войти» в Политбюро с какими-то предложениями. Наверное, только Черненко мог, но вот он уже почему-то не хотел, а всякий другой, поменьше, послабее, боялся получить шишки: знаешь, мол, что не продвинули человека, значит есть на то основания, чего же лезешь! И Зародов все свои надежды связывал с Черненко, с которым когда-то работал в одном отделе. Они руководили параллельными секторами, общались, и Зародов верил, что настанет момент, когда Черненко ему поможет. Помог он ему только в одном: когда Зародов умер, Черненко «исхлопотал» ему место на Новодевичьем кладбище.

После моего благополучного, казалось, визита в Москву на «смотрины», буквально через несколько дней состоялось, как я уже говорил, решение Секретариата ЦК об утверждении меня консультантом, а еще через неделю решение было отозвано. Накануне Зародову в больницу позвонили из общего отдела и сказали, что о Волкове собраны сведения, чрезвычайно его порочащие. Зачитали по телефону какой-то документ, в котором, как заметил собеседник Зародова, был «целый букет» таких качеств, которые, конечно, не позволяли работать в столь ответственном и морально чистом отделе, как общий отдел. Скажу уж сразу: звонил высокопоставленный партийный чиновник, которого в самом начале перестройки сняли с работы, поскольку он пытался получить орден «Отечественной войны», хотя и не воевал, представил диссертацию, которой не писал, получил в издательстве деньги, которые не заработал. Не называю потому, что его, конечно, не судили, но отправили на пенсию. Вот он-то и говорил про «букет», но про мой…

Зародов рассказывал неохотно, то ли не все помнил, то ли не

хотел особенно вспоминать, думаю, что-то недоговаривал.

— Ну что, — мялся он, — вот там написано в начале, что ты друг Лисичкина.

Я сразу среагировал на это: что же, что друг? В чем криминал-то? Воровали вместе или врагу секреты продавали? В «Правде» работали, между прочим, вместе с вами и с Зимяниным, а Зимянина взяли в ЦК, да не консультантом, а секретарем, дали ему Героя… Что я сделал такого плохого вместе с Лисичкиным?

— Ну, ты же знаешь, как к нему относились. И чего-то вы с ним и еще с одним каким-то человеком писали…

— Чего писали?

— Ну, то ли рассказ, то ли пьесу.

— Может то, что фильм делали на «Ленфильме» вместе с ним и Марамзиным, который потом уехал за границу? Так Марамзина-то нам предложила студия, тогда и познакомились. Сценарий был принят, даже деньги за него сполна заплатили, а потом уже в Праге я узнал вдруг, что Марамзина судили, а потом предложили убраться за границу. Фильм наш тут же был снят с производства. Вот и вся история. Может быть, это что ли?

— Да нет, не знаю, там так подробно не написано, чего-то вот такое было, над чем вы вместе работали.

— Над передовыми в «Правду» главным образом!

— Чего ты на меня нападаешь?! Главное там, что друг Лисичкина.

Вот так, как клещами, я вытягивал из него слово за словом. Оказывается, вспомнили мне и историю с передовой в «Советской России». Зародов сетовал:

— Убеждал я, что в «Правду» не увольняют, что взяли тебя из «Советской России» сразу в «Правду», не такая уж, значит, вина была, и в трудовой книжке записано «по собственному желанию», чего сейчас, через пятнадцать лет вспоминать?

Константин Иванович все повторял, что в «Правду» не увольняют, ему эти слова казались очень убедительными, но я понимаю, что он не мог тому собеседнику изложить суть дела, ничем не мог доказать, что я изначально был прав. И еще я начинал понимать, что продуманно сочинен документ: наврано вроде не так уж много, но то, что действительно было, преподнесено с усилением, в таком виде, что выглядит чуть ли не криминалом. Каждый факт сам по себе не очень значителен, а вот когда «букет» — другое дело. Ни одного факта нет меньше, чем пятнадцатилетней давности. После этого я работал пять лет в «Правде», в загранпоездку был утвержден, орденом за работу в международном журнале награжден, секретарем парткома такой огромной заграничной парторганизации был. Сейчас страшно

вспомнить, какой партийный праведник! Но о таких вещах — ни слова. И главное-то, конечно — критерии оценок, подход к фактам. Ну, что можно ответить на такое обвинение, что друг Лисичкина, как можно доказать, что сняли в «Советской России» с работы несправедливо, из-за самодурства заболевшего и уже впадавшего в маразм Кириленко… Чего-чего, а способы опорочить человека у нас отработаны…

— Там что-то еще такое было, — говорил Зародов, — я уж и не помню, там много всего написано, но ведь понимаешь, я же в больнице лежал. Если б не в больнице, я бы пошел в ЦК, лучше бы тебя отстаивал, может, к высокому начальству пошел, а тут сам понимаешь — сердце. Не рыпнешься с постели, если приступы идут, волновался я, переживал, спорил, хотя даже спорить-то врач запретил.

Такое понять не трудно, сам я потом испытал схожую ситуацию. Я спросил, а что же все-таки за документ был?

— Не знаю. Из международного отдела звонили в общий, зам., который нас курирует, звонил. Говорил им: мы все проверяли, чистая у него анкета, никаких зацепочек нет. А ему так высокомерно отвечают: «А у нас своя проверка!» Я подумал, что КГБ, наверное, проверяло. Видишь, как здорово работают, все до мелочи, все раскопали, даже про ребенка.

Я уже разозлился:

— Как работают, Константин Иванович? Да безобразно работают! Какой ребенок? Где его откопали, если его нет? Уж вам-то я мог бы сказать откровенно. Я, по совести сказать, не верю, что это КГБ, они все-таки профессионалы! К тому же ведь проверяли-то, наверное, до секретариата, до утверждения…

— А кто же?

— Это вы меня спрашиваете?

— Да, — спохватился Зародов, — я тебе главного не сказал. От имени Черненко нам с тобой официально предали, такая вот прямо формулировка: «Ни к рекомендуемому, ни к рекомендующему претензий нет». И еще он сказал, чтобы тебя здесь по работе не ущемляли, чтобы все было, как прежде.

Я сразу на это среагировал:

— А как с выездами?

— Ничего, никаких запретов, все нормально.

— Знаете, Константин Иванович, я хочу это дело проверить. Вы уж пошлите меня в командировочку.

— Ну, поезжай, о чем речь! Подумай — куда, с чем.

— В Париж, Константин Иванович, в Париж! Давно я очень собирался там побывать, не бывал никогда и очень уж мне туда хочется, голубая мечта.

— Ну, уж сразу так и в Париж!

— Константин Иванович, не ущемляйте! — смеюсь, конечно.

Смех смехом, но действительно так я и попал в Париж. И действительно этому никто не препятствовал. Не препятствовали выездам и позже. Ездил я во многие страны, особенно за те четыре года, которые еще вынужденно пробыл в Праге — компенсация!

Прошло время, и как-то Зародов снова съездил в Москву. Это уже месяца два или три спустя. Вернулся, позвал меня и тут же сказал:

— Прав ты был, никакое не КГБ, просто письмо.

— Какое письмо, чье?

— Не сказали — чье. Начинается так: «Узнав, что такой- то идет на работу в ЦК партии, я, как коммунист, считаю своим долгом», ну и дальше про Лисичкина.

— Все подонки так начинают, — заметил я. — Но кто же все-таки написал, неужели вам, правда, не сказали? Или опять от меня скрываете?

— Да не знаю, не знаю, не сказали!

Выяснилось тут и еще одно довольно странное обстоятельство. Шел я в социологическую группу, как уже говорил, группу по исследованию общественного мнения. Предполагалось, что она будет состоять из пяти консультантов и семи референтов, плюс заведующий. До меня утвердили заведующего и одного консультанта. Я был третьим. После меня не утвердили ни одного человека! Группа так и не была создана! Это позволяло думать, что, может быть, сыграли роль разговоры, которые пошли в то время в аппарате: Черненко создает для себя какие-то новые подразделения — отдел писем, социологическую группу. Референтов своих повысил с младших до старших, проделал целый комплекс таких операций, в результате которых в аппарате стало тесновато: не в смысле кабинетов, а в том, что труднее стало дачу получить или квартиру, возникла дополнительная конкуренция. И пошел ропот. Роптали еще и потому, что, мол, усиливается Черненко, укрепляет свои позиции, куда-то дальше рвануть хочет — как в воду глядели. Может быть, то письмо попало на благодатную почву, воспользовались им, чтобы дискредитировать даже группу. Но что бы там ни случилось, какое бы тут ни было совпадение, все-таки письмо существовало, документ, как говорится, имел место.

В Праге после той истории я просидел еще четыре года.

Как я поступал на работу в Академию при ЦК КПСС

— Саша, выезжай! Место профессора для тебя на кафедре есть. Согласие ректора имеется. — Это звонил Гриша Водолазов, зав. кафедрой Академии общественных наук при ЦК КПСС.

Такого звонка я ждал с нетерпением. После того, как меня 21 мая 1979 года утвердили консультантом ЦК КПСС, а 28 мая решение Секретариата по непонятным мне причинам отозвали, никто не брал меня на работу. При чем не просто не брали, а явно из-за чьей-то негативной опеки.

Звонит, например, Вадим Печенев, в то время — руководитель консультантской группы отдела пропаганды ЦК, советует:

— Позвони завтра в «Советскую Россию» Ненашеву, он предложит тебе должность редактора отдела пропаганды и, конечно, члена редколлегии.

На другой день звоню означенному главному редактору газеты и сразу же, по первым словам его, чувствую, что-либо мой приятель преувеличил готовность редакции взять меня на работу, либо за эти сутки что-то произошло.

— Понимаете ли вы, что это не «Правда»? Вам не теоретические статьи придется писать, а заниматься самой черновой работой…

Почувствовал, что меня запугивают. Ответил, что это меня не смущает. После обмена еще какими-то репликами:

— Ну что ж, будем иметь вас в виду. У нас, правда, несколько кандидатов, будем думать.

Я молчал. И после довольно продолжительного для международного разговора молчания — его новая реплика:

— Разумеется, сначала мы возьмем вас просто редактором отдела, а потом пойдет речь о том, чтобы утвердить членом редколлегии. Поработаете, покажете себя…

И стало мне окончательно ясно, что меня не хотят. Журналисты знают, что это принципиальная вещь — член или не член: другая зарплата, другие привилегии, просто совершенно разный статус. Я спросил:

— Это условие?

— Да!

— Тогда оно меня не устраивает. Простите, но когда мне было 35 лет, меня взяли в эту газету сразу членом редколлегии. Без всяких испытаний. Теперь циферки у меня поменялись

местами, а вы предлагаете испытательный срок…

— Ничего не понимаю, — сказал Вадим, когда я сообщил ему об отказе.

Сразу скажу еще об одном факте, убеждавшем, что все они, подобные факты, — не случайность. Снова мне позвонил Вадим:

— Тебя ждет главный редактор «Коммуниста», предложит работу.

Теоретический журнал, самое близкое «Проблемам…» по роду деятельности издание. После защиты докторской это будет как-то особенно складно: стану писать, стану редактировать, буду заниматься научной работой. Здорово было бы вернуться снова к внутренней тематике, и там, видимо, такая возможность появится. Смущало, правда, что знал редактора как противника рынка. Позднее он начал яростно нападать на сторонников товарно-денежных отношений, у него появилось любимое обвинение всех и вся в «товарном фетишизме» (смысла которого он, кстати, явно не понимал). Но в то время все еще было в приличных формах, и я надеялся, что сумею найти с ним общий язык, в чем-то даже переубедить его.

Встретил он меня хорошо. Говорил, правда, этаким тихим голосом, что для меня, слабого на ухо, всегда проблема. Говорил с подчеркнутой значительностью, с сознанием того, что его непременно должны внимательно слушать, так он и с трибуны обычно выступал: как удачно заметил один наблюдательный человек — будто бы смакуя слова на кончике языка, как смакуют вино. Спросил меня о диссертации, еще о чем-то, потом сказал:

— У нас будут две вакансии: редактора партийного отдела и отдела писем. Я хотел бы предложить вам одну из этих должностей. Пока еще не знаю — какую, здесь я связан некоторыми обязательствами…

Ответил, что согласен на любой вариант. Отдел писем меня привлекает больше, потому что мне всегда казалось интересным изучать эти человеческие документы. Редактор остановил меня и сказал с уверенностью человека, хорошо знающего души людские:

— Но я понимаю, что вам более хотелось бы на партийный отдел. Так или иначе, в июне я вас позову.

Был май. Прошел июнь, июль, август… Никто меня не звал. Но доходили какие-то слухи.

Позвонила хорошо осведомленная приятельница:

— Саш, говорят, что тебя вместе с Лисичкиным уволили из «Правды» с запретом печататься. Что ты мог бы на это ответить?

Понятно было, что вопрос — не из любопытства, это нужно кому-то объяснить.

— Ответь, пусть позвонят в отдел кадров «Правды» и там им

скажут, что Лисичкин ушел на два года раньше меня. Значит, уже не вместе. И ни один из нас не уволен, оба ушли по собственному желанию, Лисичкину даже квартиру на прощание дали. Ну, а насчет запрета печататься могу сказать одно — и я печатаюсь, и Лисичкин.

Потом снова звонок:

— Тебя упрекают в пьянстве.

— Ты же знаешь, что я не пью хотя бы из-за болезни, сколько раз сидели за одним столом…

— Я то знаю…

Короче говоря, я стал «невъездным». И вот поэтому написал и защитил докторскую диссертацию. Кафедра, на которой защищался, приглашала меня теперь на работу.

Радуясь звонку Григория, я тут же взял лист бумаги и написал заявление:

«Шеф-редактору журнала «Проблемы мира и социализма» тов. Склярову Ю. А. Прошу освободить меня от должности заведующего отделом обмена опытом партийной работы в связи с окончанием срока загранкомандировки. Мне предоставляется место профессора Академии общественных наук при ЦК КПСС. (Согласие ректора имеется). А. Волков». Привожу этот текст полностью по памяти, но уверен, что точно, разве что с ошибкой в одном — двух не главных словах. Привожу потому, что он сыграл впоследствии очень важную роль.

Снова, как и в первый раз, когда приглашали на работу в ЦК, собирали и упаковывали свои вещи в «бедны». Мая опытными руками бывшего работника библиотечного коллектора ловко увязывала в стопки книги, заполняла разным шмотьем и тоже обвязывала шпагатом ящики из-под пива и сигарет, я оформлял документы на контейнер, которым отправлял автомобиль… Работы при таком переезде оказывается неимоверно много.

И вот мы уже в Москве, в первый же день по приезде иду в Академию. А там меня встречают сюрпризом: ректор Медведев, сообщил мне Водолазов, отказывается оформлять меня на работу. Он говорит, что согласия на это не давал. Да, разговор обо мне был, Медведев заявил, что у кафедры нет свободной ставки, но, мол, если найдешь ее, то — пожалуйста. Григорий нашел. То есть договорился с проректором по учебной части о некоторой реструктуризации кафедры, и тут же позвонил мне. Но дополнительно к ректору не обращался, считая, что договоренность обо мне уже состоялась при первом разговоре, а условие, поставленное ректором, выполнено. Однако примечательно, что Медведев, мотивируя свой отказ, заметил еще что-то в том духе, что, мол, у Волкова была какая-то

неприятность с отзывом решения секретариата ЦК, что сам Зародов, бывший шеф-редактор журнала, говорил ему о неком материале, поступившем на него в ЦК.

И я, можно сказать, завис в воздухе. Обратно в Прагу уже не вернешься, а тут стена — никаких оснований надеяться, что Медведев изменит свое решение, нет. И никаких вариантов другой работы не просто не существует в данный момент, но и не просматривается, потому что предположение о некой «мохнатой лапе», не той, что подсаживает тебя на хорошее место, а, напротив, той, что перегораживает тебе путь в любом направлении, подтверждается еще раз и очень убедительно.

Это парение в воздухе без каких-либо надежд на благополучное приземление хоть где-то длится ни много, ни мало 17 дней. Водолазов защищал меня самоотверженно и отчаянно, вплоть до того, что написал ректору письмо, в котором не только превозносил мои личные качества, но и выражал готовность подать заявление о своем уходе из Академии, коль дело упирается в отсутствие вакансии, вот, мол, вам и будет вакансия. Но все тщетно.

Однако в одно прекрасное утро я просыпаюсь с мыслью, поистине гениальной, и мчусь в Академию, разыскиваю Гришу, излагаю ему свою идею. Я просто представил, как продолжился путь написанного мною заявления, поскольку хорошо знал всю эту кадрово-канцелярскую механику.

Что делает заведующий кадровым отделом журнала Саша Соколов, когда шеф-редактор визирует мое заявление, то есть дает согласие на освобождение от должности? Готовит соответствующее представление в Международный отдел ЦК КПСС. Что — пишет новую бумагу? Да нет, конечно. Он делает ксерокопию с моего заявления, правит его, перепечатывает текст, в результате чего рождается новая бумага:

«В Международный отдел ЦК КПСС. Просим освободить А. И. Волкова от должности заведующего отделом обмена опытом партийной работы в связи с окончанием срока загранкомандировки. Ему предоставляется место профессора Академии общественных наук при ЦК КПСС. (Согласие ректора имеется). Ю. А. Скляров».

Опять же я могу сейчас ошибиться буквально в одном-двух словах, но не в основе текста.

Что делают в Международном отделе? Готовят представление в Секретариат ЦК КПСС, поскольку моя должность входит в номенклатуру Секретариата. И снова: пишут оригинальный текст? Конечно, нет. Делают ксерокопию с представления Шеф-редактора журнала, правят ее, перепечатывают и направляют в

Секретариат. Теперь документ звучит, примерно, так:

«В Секретариат ЦК КПСС. Международный отдел ЦК КПСС просит освободить А. И. Волкова от должности заведующего отделом обмена опытом партийной работы журнала «Проблемы мира и социализма» в связи с окончанием срока загранкомандировки. Ему предоставляется место профессора Академии общественных наук при ЦК КПСС. (Согласие ректора имеется)». Тут я могу ошибиться не в одном слове, но никак опять же не в основе текста. Однако я уже точно знаю, каким вышло постановление Секретариата:

«Освободить заведующего отделом обмена опытом партийной работы журнала «Проблемы мира и социализма» А. И. Волкова от занимаемой им должности в связи с окончанием срока загранкомандировки. Ему предоставляется место профессора Академии общественных наук при ЦК КПСС. (Согласие ректора имеется)».

Рассказав все это Водолазову, я говорю ему:

— Вот теперь, Гриша, скажи Медведеву: пусть он идет в ЦК и доказывает, что согласия не давал.

Мы оба, конечно, хорошо представляли, что такого быть никак не может. Тогда ректор уверял бы кого-то, не знаю даже — кого, что Международный отдел ЦК КПСС и лично его заведующий, секретарь ЦК КПСС тов. Б. Н. Пономарев слукавил, солгал, в лучшем случае представил в Секретариат непроверенный документ, необоснованно утверждая, что «согласие ректора имеется». И, хуже того, непроверенное решение принял сам Секретариат ЦК.

Короче говоря, на другой же день я был зачислен на работу.

Держись за сердце, Саша!

Умер Зародов. Мне трудно вспоминать эти дни, тем более что испытываю чувство вины, поскольку не смог поехать в Москву и проводить его в последний путь: я как раз уезжал в Люксембург на международный симпозиум, за организацию которого отвечал. Это было в апреле 1982 года. Накануне 1 мая я получил письмо, которое выглядело как обычное праздничное поздравление. Внутри лежала открытка с первомайским плакатом, но на обороте ее было написано: «Держись за сердце, Саша!»

Не сразу даже дошло, что бы это значило. Потом обратил внимание на то, что подписи под текстом нет, обратного адреса — тоже, а написана та странная фраза, как и адрес на конверте, печатными буквами. Прикидывал и так, и этак, но выходило только одно: анонимный автор открытки злорадно предупреждает: теперь-то тебе придется плохо, потому что умер тот, кто тебя защищал, поддерживал, теперь «держись за сердце!»

Раньше я думал, что такое бывает только в книгах, в кино, быть может, с кем-то бывает, но со мной не может быть. И почему бы этому быть? Как же надо ненавидеть адресата, чтобы сесть и писать ему такое изуверское, по сути, «поздравление» со смертью близкого человека! Не знаю того, кому бы я настолько насолил. Или кто-то бы так мне завидовал, был уязвлен, скажем, моим продвижением по служебной лестнице. Но ведь кто-то написал письмо и в ЦК тогда, когда меня должны были взять туда на работу! Я начинал думать, что эти два факта как-то сходятся.

Прошло уже много лет с тех пор, как возникла завязка всей этой истории, но развязки все нет. И уже не будет, наверное. Он, этот ответ, не имеет уже для меня практического значения, и все же не могу сказать, что я полностью потерял к нему интерес. Однако я прекратил поиски автора обоих писем, особенно как раз из-за второго письма: просто считал уже непорядочным для себя хоть кого-то без оснований подозревать в такой подлости.

Зародов как-то сказал мне под настроение: тебе не выбраться отсюда (из Праги), если не напишешь докторскую диссертацию, а вот с ней мог бы постучаться в какой-нибудь научно-исследовательский институт или стать профессором. Так я и сделал в конце концов, что ясно из предыдущего текста, стал доктором и профессором. И в этот момент кончилась жизнь, приносившая радость дела (просилось слово «творчества», так складнее, привычнее для уха и глаза, но «дела» — точнее). Да, журналистика — «вторая древнейшая профессия», столь близкая самой древнейшей во многих случаях, но для меня она оказалась

первой и единственной любовью. Все, что было после, стало просто продолжением существования. Потому мне пока и не хочется писать о перестройке, о бурных и значительных для общества событиях после 1985 года: я был и чувствовал себя как бы в стороне от них, оказался вытолкнутым из стремнины перемен, хотя и пытался писать о них. Сказалось и долгое отсутствие в Москве, разрыв связей, а главное все же то, что уже не смог вернуться в какую-то редакцию.

Редакция и теперь, не конкретная даже, а какая-то неопределенная, обобщенная, снится мне почти каждую ночь. Такой вот парадокс: во сне как бы идет настоящая, привычная журналистская жизнь, а наяву, особенно после тяжелой болезни сердца, ограничившей даже мое физическое передвижение — что-то вроде сна, в котором вроде бы надо куда-то бежать, спешить, но не поймешь, куда и зачем, и все движения затруднены, замедленны… Пробовал создать свою газету, но уже не хватало физических сил взять на себя и содержательную часть дела и финансовую, добывание денег и организацию сбыта продукции. Тут тоже есть над чем поразмыслить. Но это уже совсем другая жизнь, другая эпоха, другая журналистика. Между прошлой жизнью и новой — пропасть или, напротив, стена, и нужен совсем иной настрой, чтобы писать об этой другой жизни. Не думаю, что хватит для этого времени и сил…

Да, журналистика стала иной. Мы многое сказали об этом в книге «Пресса в обществе (1959–2000)», которую создали втроем — со Светланой Ярмолюк и Мариной Пугачевой, собрав интервью журналистов разных поколений и социологов, а также архивные документы. Но здесь замечу только одно. Как-то я смотрел телепередачу, в которой известные журналисты нового, по сравнению с моим, поколения спорили, неизбежна ли для них продажность. Большинство сходилось в том, что неизбежна, потому что каждое издание, равно и телевидение, радио, имеет своего хозяина, частного владельца, который нанимает сотрудников ради реализации своих интересов, за то им и платит. Я до того завидовал молодым коллегам, которые обладают несравнимо большей свободой в творчестве, возможностью открыто выражать свое мнение, критиковать власти. Но вдруг поймал себя на мысли: а ведь мы, те, кто работали в пору одного хозяина прессы — ЦК КПСС, в пору жесткого партийного контроля над ней были внутренне свободнее, чем наши коллеги сейчас. И мы не считали себя продажными, несмотря на то, что сознавали несвободу, в условиях которой приходилось действовать. Дело в том, что мы *противостояли* этой несвободе. Мы видели для себя возможность выбора и делали этот выбор.

Мы, конечно, приспосабливались к условиям, но ради того, чтобы реализовать свои идеи и цели.

Как я стал сотрудником Горбачева

Поздним вечером мы сидели с Юрием Андреевичем в его кабинете ректора и в десятый раз перечитывали распоряжение Президента Советского Союза Михаила Горбачева. В нем говорилось о передаче нам, Международному фонду социальных и политических исследований, всего имущества бывшего Института общественных наук при ЦК КПСС.

Идея образования такого фонда родилась у нас уже давно, фонда, где сотрудничали бы не только коммунистические партии мира, но и социалистические, социал-демократические, центристские и, чем черт не шутит, со временем — любые организации, желающие совместно исследовать самые актуальные и острые проблемы мирового общежития. Проводить научные конференции, симпозиумы, семинары и на их основе издавать книги. Мысль об этом явилась нам, когда мы блаженствовали в какой-то хорошей пражской пивной (впрочем, плохих я там и не знаю). Я рассказывал своему приятелю о мечте Константина Ивановича Зародова, шеф-редактора журнала «Проблемы мира и социализма», создать при журнале международный исследовательский институт. Мечте этой не дано было осуществиться. Но Юрий Андреевич загорелся идеей:

— Только не институт, а Фонд. И не обязательно при журнале.

Когда его, бывшего проректора Академии общественных наук при ЦК КПСС по науке, назначили ректором Института общественных наук, он стал звать меня к себе на должность заведующего научным отделом. КПСС готовила здесь кадры политических деятелей для зарубежных стран, в основном — развивающихся. Я сказал, что согласен, если мы этот институт потихоньку прихлопнем и превратим в тот самый фонд. Дело в том, что здесь бессмысленно тратились огромные деньги на малопонятных часто людей, не дававших впоследствии почти никакой отдачи, а то и становившихся нашими противниками (приезжали к нам с идеальными представлениями о стране социализма, а уезжали разочарованные в нем, убедившись, что живут здесь хуже, чем в их странах). Говорил я, вроде бы смеясь, он тоже отшучивался, но когда настало время крушения нашего «развитого социализма» и его единственной партии, выполнявшей «руководящую роль», идея начала обретать реальность.

Мы создали-таки этот фонд. Я сам сочинял его устав, наняв опытного юриста, в институте нашлись сторонники этой идеи

(хотя и ярые противники тоже), однако развитие событий столкнулось с сопротивлением Международного отдела ЦК КПСС. У его сотрудников возникли свои планы — создать из Института «запасной аэродром» для себя. Понимали же, что им приходит конец, как и всей партии. А Институт — лакомый кусочек: шесть замечательных зданий. Сдавая только одно из них в аренду, можно было бы уже безбедно существовать немалому числу людей, занимаясь любым делом, которое завяжется в связи с переменой ситуации в стране, смотря по обстановке. Тогда Георгий Шахназаров, помощник Горбачева, и предложил нам обратиться к его шефу за помощью. И вот теперь мы радовались, что идея сработала. Мы рассуждали, какие замечательные перспективы нас ждут. У нас ведь уже были налажены хорошие связи не только с компартиями. К нам на симпозиумы собирались все самые известные левые деятели Европы и ученые, завязались обнадеживающие контакты с французскими социалистами, с финскими центристами, а знаменитый Вили Брандт, лидер германских социал-демократов, уже приезжал специально к нам с интересным выступлением, мы с ним прекрасно пообщались, в том числе и за рюмкой водки. Помнится, он рассказал тогда, что заезжал перед нашей встречей к французскому социалисту Моруа, и тот напутствовал его:

— Передай там ребятам, чтобы они не очень уж крушили свой социализм, это ведь и нам создаст трудности.

Короче, сидели с Юрием Андреевичем, мечтали, и вдруг к нам в кабинет вломились крепенькие ребята, из которых многих мы только что видели с автоматами за плечом у Белого Дома, то есть его защитники от путчистов. Они без обиняков сообщили, что пришли опечатать здания института, так же, как это уже сделали со зданиями ЦК КПСС. Основание — распоряжение префекта Центрального округа Москвы Музыкантского, который, как мы знали уже, был из компании Гаврилы Попова, «восходящей звезды демократии», ставшего с благословения Ельцина Мэром Москвы.

Мы ехидно ухмыльнулись и предъявили распоряжение Президента страны Горбачева. Они тоже ухмыльнулись и положили рядом на стол бумагу префекта.

Я пошутил:

— Правильно, ребята, опечатайте нас на пару месяцев, мы, глядишь, отдохнем, даже съездим куда-нибудь — не на Канары, так в лес за грибами.

Но ректору было не до шуток

— Как опечатать? Нам же работать надо! И вот распоряжение Президента страны.

Но президент, побывавший «форосским узником» и проявивший свою беспомощность, слабость, уже никого не интересовал. Путч, организованный набранными им кадрами, провалился, но состоялся уже, по сути, другой, ельцинский переворот. Когда с двумя документами — распоряжением Президента страны и префекта Центрального округа Москвы представители института и защитников Белого дома поехали в Мэрию, там дали ход решению новых хозяев жизни. Институт опечатали. В моем кабинете оказались запертыми, «арестованными» даже мой плащ и мой портфель. Как, впрочем, и имущество других профессоров и работников института в их кабинетах.

Двери института и в самом деле открылись перед нами, примерно, месяца через два. Нас пригласили, уж и не помню кто, чтобы предъявить новую бумагу — распоряжение Ельцина о передаче имущества института фонду Горбачева, который заново спешно создавался, а образованный нами ранее фонд был просто проигнорирован. Получилось как-то так, что мы, сотрудники института, перешли Горбачеву вместе с имуществом или в качестве такового — не помню уже, как это все оформлялось. Ну, чего удивительного: у нас и теперь персонал любого учреждения, предприятия переходит новому собственнику вместе с материальным капиталом, также порой и жители вместе с проданным домом. Новые крепостные, я бы сказал. Только одних потом выселяют, а другие остаются. Так же, примерно, было и с нами.

В Фонде образовались две группы: советники — это люди, пришедшие вместе с бывшим президентом из его администрации, в частности помощники, такие, как Загладин, Черняев, секретарь ЦК КПСС Медведев, и эксперты — это бывшие сотрудники института.

Первое близкое знакомство с Горбачевым состоялось во время международной конференции. Во время перерыва он стоял с группой участников, а я в сторонке, у стенки. Стоял и рассматривал человека, который еще был для меня загадкой. Он, видимо, заметил это разглядывание с пристрастием, и когда прозвенел звонок, приглашающий в зал, вдруг как-то резко раздвинул собеседников и шагнул прямо ко мне. Подошел и поздоровался за руку. Просто пожал руку, ничего не сказав, но удивив меня, конечно. Когда я сел на свое место в зале рядом с Сашей Галкиным, он, сидя на председательском месте, показал Саше жестом: мол, подойди. Саша подошел, через минуту вернулся на место и сказал мне:

— Михаил Сергеевич спросил: это Волков или Бутенко?

Просто нас двоих из числа экспертов он не знал. И теперь вот приветливо, впрочем, скорее по деловому, кивнул мне, мол, теперь знаю, кто ты такой.

Потом было широкое обсуждение результатов всероссийского референдума о доверии президенту Ельцину и его экономической политике, хорошо запомнившегося россиянам благодаря четырем коротким словам: «Да — Да — Нет — Да». На это обсуждение были приглашены не только сотрудники Фонда, но и ученые, политологи из других учреждений. Горбачев выступил со вступительным словом. Я не помню уже сейчас всех тех выступлений и постараюсь передать только их общий смысл. Михаил Сергеевич задал главное направление дискуссии, заявив, что не было никакой победы Ельцина, все результаты сфальсифицированы. И подхалимы, которых тут было немало, сразу же бросились доказывать это, ссылаясь на разную цифирь, какие-то сравнительные таблицы, на данные по разным регионам. Да, было у нас и такое внутреннее деление — не только на советников и экспертов, но еще и на откровенных подхалимов и самостоятельно мысливших людей, которые аккуратно, но отстаивали свою точку зрения и перед Горбачевым. Некоторые зарабатывали у него авторитет и тем, что крутились вокруг Раисы Максимовны, угождая ей при всяком удобном случае, а она в Фонде бывала довольно часто. Как, кстати, и дочь его Ирина.

Но прозвучали, хотя и не сразу, другие выступления. Запомнилось, что первым убедительным опровержением вступительного слова Михаила Сергеевича стало выступление Георгия Сатарова, оперировавшего своими данными. Дошла очередь и до меня (выступали, как бы идя по кругу). Я начал говорить, что думал. Примерно, то, что если мы хотим обмануть себя, а не выяснить истину, то согласимся, что все дело в фальсификации. Если же хотим понять, что произошло, а главное — почему, то должны признать, что Ельцин победил. На него работало понимание многими людьми того факта, что плановая экономика советского типа зашла в тупик, что рынок — реальная и насущная потребность страны, что промедление с реакцией на эту потребность, затягивание перехода к рынку тормозит ее развитие. Тогда мы еще не представляли, каким уродливым может быть наш российский рынок, сколько глупостей будет наделано на пути к нему, но я и теперь убежден, что в принципе говорил тогда правильно.

Горбачев перебил меня. Не помню уже, за что он зацепился, но повело его в сторону того, что нельзя доверяться Западу. Думаете, они нас любят? Думаете, Тэтчер и Рейган искренне хотят нам помочь? Да они. Короче говоря, такие-сякие.

Остановить его было уже трудно, но меня подзадорил Гриша Водолазов, сидевший рядом. Чего, мол, ты дал себя перебить? Он же не дал тебе договорить! И я, воспользовавшись каким-то мгновением, краткой паузой в речи страстного оратора, перебил его тоже. Говорю, мол, Михаил Сергеевич, я же не про Тэтчер и Рейгана хотел сказать, мне тут с вами спорить невозможно. Ваше, как говорят социологи, включенное наблюдение в этой среде не сравнимо с моим. А вот в экономике я, извините, что-то понимаю, занимаюсь ею профессионально. И в этой части согласиться с вами не могу. Но, чтобы не затевать сейчас дискуссию на эту тему, просто напишу вам обстоятельную записку с изложением своей позиции.

Он сильно набычился, покраснел и буркнул:

— Хорошо!

Записку я написал. Он передал ее, похоже, не читая, Медведеву (бывшему моему ректору, потом секретарю ЦК КПСС), и дискуссию со мной вел уже Медведев. Кстати, во время упомянутого ситуационного анализа он выступил почти сразу вслед за мной и, не ссылаясь на меня, просто буквально повторил в значительной части мои слова, начиная с того же: если мы хотим обмануть себя… Но в личной беседе со мной по поводу записки уже спорил, доказывая что-то в духе преимущества плана перед рынком.

Если сказать о Фонде Горбачева коротко, то ничего путного из него не получилось. К научной работе, к теории и аналитике Михаил Сергеевич не был приспособлен, да и не тянуло его к этому. А вот когда к нему приезжал Киссинджер или кто-то еще из этой среды, да еще с толпой журналистов, когда его приглашали выступить перед политической публикой в какой-нибудь стране, он радовался и чувствовал себя в своей тарелке. Поговорить он, как известно, любит.

Здесь, в фонде, и завершилась моя служебная карьера. Далее я числился неработающим пенсионером, хотя порой подписывался под статьями как независимый журналист.